Сочиненія
Ѳ. М. Достоевскаго

UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00008797 3

Presented to the
LIBRARY *of the*
UNIVERSITY OF TORONTO
by
ESTATE OF THE LATE
JOHN B. C. WATKINS

Ѳ. М. Достоевскій

Собраніе сочиненій

Всемірная библіотека.

Собранія сочиненій знаменитыхъ
русскихъ и иностранныхъ писателей.

Въ эту серію входятъ слѣдующія
собранія сочиненій:

I серія.

А. В. Амфитеатрова, подъ наблюденіемъ *автора;*
Л. Н. Андреева, съ вступительной статьей проф. *А. М. Рейснера;*
Ѳ. М. Достоевскаго, съ многочисл. приложеніями;
В. Г. Тана, подъ наблюденіемъ *автора;*
Г. А. Мачтета, подъ редакціей *Д. П. Сильчевскаго;*
В. В. Муижеля, подъ наблюденіемъ *автора;*
Д. Я. Айзмана, подъ наблюденіемъ *автора;*
Б. А. Лазаревскаго, подъ наблюденіемъ *автора;*
Ольги Шапиръ, подъ наблюденіемъ *автора;*
Шолома Аша, подъ наблюденіемъ *автора.*

II серія.

С. Т. Аксакова, подъ редакціей *А. Г. Горнфельда:*
Н. В. Гоголя, подъ редакціей *В. В. Каллаша;*
Н. А. Добролюбова, подъ редакціей *В. П. Кранихфельда;*
А. В. Кольцова, подъ редакціей *Арс. Ив. Введенскаго;*
И. А. Крылова, подъ редакціей *В. В. Каллаша;*
А. И. Левитова, со вступ. статьей *А. А. Измайлова;*
М. Ю. Лермонтова, подъ ред. *Арс. И. Введенскаго;*
С. В. Максимова, со вступ. статьей *П. В. Быкова;*
П. М. Невѣжина, подъ наблюденіемъ *автора;*
И. С. Никитина, подъ ред. *А. Г. Ѳомина* и *Ю. И. Эйхенвальда;*
А. Н. Островскаго, подъ ред. *М. И. Писарева;*
Н. Г. Помяловскаго, съ біограф. очерк. *Н. А. Благовѣщенскаго,*
А. А. Потѣхина, подъ наблюденіемъ *автора;*
А. С. Пушкина, подъ редакціей *П. О. Морозова* и *В. В. Каллаша;*
Н. Я. Соловьева, съ портретомъ *автора.*

III серія.

Чарльза Диккенса, со вступ. статьей *Д. П. Сильчевскаго;*
Элизы Оржешко, подъ ред. *С. С. Зелинскаго;*
Георга Брандеса, съ предисловіемъ *М. В. Лучицкой;*
Гюи де Мопасана, съ критико-біографич. очерк. *З. А. Венгеровой;*
Эдгара По, съ критико-біографич. очеркомъ *М. А. Энгельгардта;*
Эмиля Зола, подъ редакц. и со вступ. статьями *Ѳ. Д. Батюшкова* и *Е. В. Аничкова.*

С.-Петербургъ.
Книгоиздательское Товарищество „Просвѣщеніе",
Забалканскій просп., соб. д. № 75.

Полное собраніе сочиненій

Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО

Съ многочисленными приложеніями

Томъ девятый

Преступленіе и наказаніе

Романъ въ шести частяхъ съ эпилогомъ

Части IV-VI

С.-Петербургъ
Типо-литографія Товарищества „Просвѣщеніе",
Забалканскій проспектъ, с. д. № 75
1911

PG
3325
A1
1911
t.9 1028798

LIBRARY
DEC 8 1965
UNIVERSITY OF TORONTO

Бумага безъ примѣси древесной массы.

Оглавленіе.

	Стр.
Часть четвертая	3
„ пятая	118
„ шестая	229
Эпилогъ	364

Приложеніе.

Могила Ѳ. М. Достоевскаго (до постановки на ней памятника) I

Преступленіе и наказаніе.

(Окончаніе.)

Часть четвертая.

I.

«Неужели это продолженіе сна?» подумалось еще разъ Раскольникову. Осторожно и недовѣрчиво всматривался онъ въ неожиданнаго гостя.

— Свидригайловъ? Какой вздоръ! Быть не можетъ! — проговорилъ онъ, наконецъ, вслухъ, въ недоумѣніи.

Казалось, гость совсѣмъ не удивился этому восклицанію.

— Вслѣдствіе двухъ причинъ къ вамъ зашелъ, во-первыхъ, лично познакомиться пожелалъ, такъ какъ давно ужъ наслышанъ съ весьма любопытной и выгодной для васъ точки; а во-вторыхъ, мечтаю, что не уклонитесь, можетъ быть, мнѣ помочь въ одномъ предпріятіи, прямо касающемся интереса сестрицы вашей, Авдотьи Романовны. Одного-то меня, безъ рекомендаціи, она, можетъ, и на дворъ къ себѣ теперь не пуститъ, вслѣдствіе предубѣжденія, ну, а съ вашей помощью я, напротивъ, расчитываю . . .

— Плохо расчитываете, — перебилъ Раскольниковъ.

— Онѣ вѣдь только вчера прибыли, позвольте спросить?

Раскольниковъ не отвѣтилъ.

— Вчера, я знаю. Я вѣдь самъ прибылъ всего только третьяго дня. Ну-съ, вотъ что я скажу вамъ на этотъ счетъ, Родіонъ Романовичъ; оправдывать себя считаю излишнимъ, но позвольте же и мнѣ заявить: что жъ тутъ, во всемъ этомъ, въ самомъ дѣлѣ, такого особеннаго преступнаго съ моей стороны, то есть безъ предразсудковъ-то, а здраво судя?

Раскольниковъ продолжалъ молча его разсматривать.

— Тò, что въ своемъ домѣ преслѣдовалъ беззащитную дѣвицу и «оскорблялъ ее своими гнусными предложеніями», — такъ ли-съ? (Самъ впередъ забѣгаю!) — Да вѣдь предположите только, что и я человѣкъ есмь, et nihil humanum . . . однимъ словомъ, что и я способенъ прельститься и полюбить (что ужъ, конечно, не по нашему велѣнію творится), тогда все самымъ естественнымъ образомъ объясняется. Тутъ весь вопросъ: извергъ ли я, или самъ жертва? Ну, а какъ жертва? Вѣдь предлагая моему предмету бѣжать со мною въ Америку или въ Швейцарію, я, можетъ, самыя почтительнѣйшія чувства при семъ питалъ, да еще думалъ обоюдное счастіе устроить! Разумъ-то, вѣдь, страсти служитъ; я, пожалуй, себя еще больше губилъ, помилуйте!. .

— Да совсѣмъ не въ томъ дѣло, — съ отвращеніемъ перебилъ Раскольниковъ, — просто-за-просто вы противны, правы ль вы или неправы, ну, вотъ съ вами и не хотятъ знаться, и гонятъ васъ, и ступайте! . . .

Свидригайловъ вдругъ расхохотался.

— Однакожъ вы... однакожъ васъ не собьешь! — проговорилъ онъ, смѣясь откровеннѣйшимъ образомъ, — я было думалъ схитрить, да нѣтъ, вы какъ разъ на самую настоящую точку стали!

— Да вы и въ эту минуту хитрить продолжаете.

— Такъ что жъ? Такъ что жъ? — повторялъ Свидригайловъ, смѣясь нараспашку, — вѣдь это bonne guerre, что называется, и самая позволительная хитрость!.. Но все-таки вы меня перебили. такъ или этакъ подтверждаю опять: никакихъ непріятностей не было бы, если бы не случай въ саду. Марѳа Петровна...

— Марѳу-то Петровну вы тоже, говорятъ, уходили? — грубо перебилъ Раскольниковъ.

— А вы и объ этомъ слышали? Какъ, впрочемъ, не слыхать... Ну, насчетъ этого вашего вопроса, право, не знаю, какъ вамъ сказать, хотя моя собственная совѣсть въ высшей степени спокойна на этотъ счетъ. То есть не подумайте, чтобы я опасался чего-нибудь тамъ этакого: все это произведено было въ совершенномъ порядкѣ и въ полной точности: медицинское слѣдствіе обнаружило апоплексію, происшедшую отъ купанія сейчасъ послѣ плотнаго обѣда, съ выпитою чуть не бутылкой вина, да и ничего другого и обнаружить оно не могло... Нѣтъ-съ, я вотъ что про себя думалъ нѣкоторое время, вотъ особенно въ дорогѣ, въ вагонѣ сидя: не способствовалъ ли я всему этому... несчастью, какъ-нибудь тамъ раздраженіемъ нравственно или чѣмъ-нибудь въ этомъ родѣ? Но заключилъ, что и этого положительно быть не могло.

Раскольниковъ засмѣялся.

— Охота же такъ безпокоиться!

— Да вы чему смѣетесь? Вы сообразите: я ударилъ всего только два раза хлыстикомъ, даже знаковъ не оказалось . . . Не считайте меня, пожалуйста, циникомъ; я вѣдь въ точности знаю, какъ это гнусно съ моей стороны, ну и такъ далѣе; но вѣдь я тоже навѣрно знаю, что Марѳа Петровна, пожалуй, что и рада была этому моему, такъ сказать, увлеченію. Исторія по поводу вашей сестрицы истощилась до ижицы. Марѳа Петровна уже третій день принуждена была дома сидѣть; не съ чѣмъ въ городишко показаться, да и надоѣла она тамъ всѣмъ съ своимъ этимъ письмомъ (про чтеніе письма-то слышали?). И вдругъ эти два хлыста какъ съ неба падаютъ! Первымъ дѣломъ карету велѣла закладывать! . . Я ужъ о томъ и не говорю, что у женщинъ случаи такіе есть, когда очень и очень пріятно быть оскорбленною, несмотря на все видимое негодованіе. Они у всѣхъ есть, эти случаи-то; человѣкъ вообще очень и очень даже любитъ быть оскорбленнымъ, замѣчали вы это? Но у женщинъ это въ особенности. Даже можно сказать, что тѣмъ только и пробавляются.

Одно время Раскольниковъ думалъ было встать и уйти и тѣмъ покончить свиданіе. Но нѣкоторое любопытство и даже какъ бы разсчетъ удержали его на мгновеніе.

— Вы любите драться? — спросилъ онъ разсѣянно.

— Нѣтъ, не весьма, — спокойно отвѣчалъ Свидригайловъ. — А съ Марѳой Петровной почти никогда не дирались. Мы весьма согласно жили, и она мной всегда довольна оставалась. Хлыстъ я употребилъ, во всѣ наши семь лѣтъ, всего только два

раза (если не считать еще одного третьяго случая, весьма, впрочемъ, двусмысленнаго): въ первый разъ — два мѣсяца спустя послѣ нашего брака, тотчасъ же по пріѣздѣ въ деревню, и вотъ теперешній послѣдній случай. — А вы ужъ думали я такой извергъ, ретроградъ, крѣпостникъ? хе-хе... А кстати: не припомните ли вы, Родіонъ Романовичъ, какъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, еще во время благодѣтельной гласности, осрамили у насъ всенародно и вселитературно одного дворянина — забылъ фамилію! — вотъ еще нѣмку-то отхлесталъ въ вагонѣ, помните? Тогда еще, въ тотъ же самый годъ, кажется, и «Безобразный поступокъ *Вѣка*» случился (ну, *Египетскія-то ночи,* чтеніе-то публичное, помните? Черные-то глаза! О, гдѣ ты, золотое время нашей юности!). Ну-съ, такъ вотъ мое мнѣніе: господину, отхлеставшему нѣмку, глубоко не сочувствую, потому что и въ самомъ дѣлѣ оно... что же сочувствовать! Но при семъ не могу не заявить, что случаются иногда такія подстрекательныя «нѣмки», что, мнѣ кажется, нѣтъ ни единаго прогрессиста, который бы совершенно могъ за себя поручиться. Съ этой точки никто не посмотрѣлъ тогда на предметъ, а между тѣмъ эта точка-то и есть настоящая гуманная, право-съ такъ!

Проговоривъ это, Свидригайловъ вдругъ опять разсмѣялся. Раскольникову ясно было, что это на что-то твердо рѣшившійся человѣкъ и себѣ на умѣ.

— Вы должно быть нѣсколько дней сряду ни съ кѣмъ не говорили? — спросилъ онъ.

— Почти такъ. А что: вѣрно дивитесь, что я такой складной человѣкъ?

— Нѣтъ, я тому дивлюсь, что ужъ слишкомъ вы складной человѣкъ.

— Оттого что грубостью вашихъ вопросовъ не обижался? — Такъ, что ли? Да... чего жъ обижаться? Какъ спрашивали, такъ и отвѣчалъ, — прибавилъ онъ съ удивительнымъ выраженіемъ простодушія. — Вѣдь я особенно-то ничѣмъ почти не интересуюсь, ей Богу, — продолжалъ онъ какъ-то вдумчиво. — Особенно теперь, ничѣмъ-таки не занятъ... Впрочемъ, вамъ позволительно думать, что я изъ видовъ заискиваю, тѣмъ болѣе, что имѣю дѣло до вашей сестрицы, самъ объявилъ. Но я вамъ откровенно скажу: очень скучаю! Особенно эти три дня, такъ что я вамъ даже обрадовался... Не разсердитесь, Родіонъ Романовичъ, но вы мнѣ сами почему-то кажетесь ужасно какъ страннымъ. Какъ хотите, а что-то въ васъ есть; и именно теперь, то есть не собственно въ эту минуту, а вообще теперь... Ну, ну, не буду, не буду, не хмурьтесь! Я вѣдь не такой медвѣдь, какъ вы думаете.

Раскольниковъ мрачно посмотрѣлъ на него.

— Вы даже, можетъ быть, и совсѣмъ не медвѣдь, — сказалъ онъ. — Мнѣ даже кажется, что вы очень хорошаго общества, или по крайней мѣрѣ умѣете при случаѣ быть и порядочнымъ человѣкомъ.

— Да вѣдь я ничьимъ мнѣніемъ особенно не интересуюсь, — сухо и какъ бы даже съ оттѣнкомъ высокомѣрія отвѣтилъ Свидригайловъ, — а потому отчего же и не побывать пошлякомъ, когда это платье въ нашемъ климатѣ такъ удобно носить и... и особенно, если къ тому и натуральную склонность имѣешь,—прибавилъ онъ опять засмѣявшись.

— Я слышалъ, однако, что у васъ здѣсь много знакомыхъ. Вы вѣдь то, что̀ называется «не безъ связей». Зачѣмъ же вамъ я-то, въ такомъ случаѣ, какъ не для цѣлей?

— Это вы правду сказали, что у меня есть знакомые, — подхватилъ Свидригайловъ, не отвѣчая на главный пунктъ, — я ужъ встрѣчалъ; третій вѣдь день слоняюсь; и самъ узнаю, и меня, кажется, узнаютъ. Оно, конечно, одѣтъ прилично и числюсь человѣкомъ не бѣднымъ; насъ, вѣдь, и крестьянская реформа обошла: лѣса да луга заливные, доходъ-то и не теряется; но... не пойду я туда; и прежде надоѣло: хожу третій день и не признаюсь никому... А тутъ еще городъ! То есть какъ это онъ сочинился у насъ, скажите пожалуйста! Городъ канцеляристовъ и всевозможныхъ семинаристовъ! Право, я многаго здѣсь прежде не примѣчалъ, лѣтъ восемь-то назадъ, когда тутъ валандался... На одну только анатомію теперь и надѣюсь, ей Богу!

— На какую анатомію?

— А насчетъ этихъ клубовъ, Дюссотовъ, пуантовъ этихъ вашихъ, или, пожалуй, вотъ еще прогрессу, — ну, это пусть будетъ безъ насъ, — продолжалъ онъ, не замѣтивъ опять вопроса. — Да и охота шулеромъ-то быть?

— А вы были и шулеромъ?

— Какъ же безъ этого? Цѣлая компанія насъ была, наиприличнѣйшая, лѣтъ восемь назадъ; проводили время; и всѣ, знаете, люди съ манерами, поэты были, капиталисты были. Да и вообще у насъ, въ русскомъ обществѣ, самыя лучшія манеры у тѣхъ, которые биты бывали, — замѣтили вы это? Это, вѣдь, я въ деревнѣ теперь опустился. А все-таки посадилъ было меня тогда въ тюрьму за долги гречонка одинъ нѣжинскій. Тутъ и подвернулась Марѳа Петровна, поторговалась и выкупила меня за тридцать тысячъ сребренниковъ. (Всего-то я

70,000 былъ долженъ.) Сочетались мы съ ней законнымъ бракомъ, и увезла она меня тотчасъ же къ себѣ въ деревню, какъ какое сокровище. Она вѣдь старше меня пятью годами. Очень любила. Семь лѣтъ изъ деревни не выѣзжалъ. И замѣтьте, всю-то жизнь документъ противъ меня, на чужое имя, въ этихъ тридцати тысячахъ держала, такъ что задумай я въ чемъ-нибудь взбунтоваться, тотчасъ же въ капканъ! И сдѣлала бы! У женщинъ, вѣдь, это все вмѣстѣ уживается.

— А если бы не документъ, дали бы тягу?

— Не знаю, какъ вамъ сказать. Меня этотъ документъ почти не стѣснялъ. Никуда мнѣ не хотѣлось, а за границу Марѳа Петровна и сама меня раза два приглашала, видя что я скучалъ. Да что̀! За границу я прежде ѣздилъ, и всегда мнѣ тамъ тошно бывало. Не то чтобъ, а вотъ заря занимается, заливъ Неаполитанскій, море, смотришь, и какъ-то грустно. Всего противнѣе, что вѣдь, дѣйствительно, о чемъ-то грустишь? Нѣтъ, на родинѣ лучше: тутъ, по крайней мѣрѣ, во всемъ другихъ винишь, а себя оправдываешь. Я бы, можетъ, теперь въ экспедицію на сѣверный полюсъ поѣхалъ, потому j'ai le vin mauvais, и пить мнѣ противно, а кромѣ вина ничего больше не остается. Пробовалъ. А что̀, говорятъ, Бергъ въ воскресенье въ Юсуповомъ саду на огромномъ шарѣ полетитъ, попутчиковъ за извѣстную плату приглашаетъ, правда?

— Что жъ, вы полетѣли бы?

— Я? Нѣтъ... такъ... — пробормоталъ Свидригайловъ, дѣйствительно какъ бы задумавшись.

«Да что онъ, въ самомъ дѣлѣ, что ли?» подумалъ Раскольниковъ.

— Нѣтъ, документъ меня не стѣснялъ, — продолжалъ Свидригайловъ раздумчиво; — это я самъ изъ деревни не выѣзжалъ. Да и ужъ съ годъ будетъ, какъ Марѳа Петровна въ именины мои мнѣ и документъ этотъ возвратила, да еще въ добавокъ примѣчательную сумму подарила. У ней вѣдь былъ капиталъ. «Видите, какъ я вамъ довѣряю, Аркадій Ивановичъ», — право, такъ и выразилась! Вы не вѣрите, что такъ выразилась? А знаете: вѣдь я хозяиномъ порядочнымъ въ деревнѣ сталъ; меня въ околодкѣ знаютъ. Книги тоже выписывалъ. Марѳа Петровна сперва одобряла, а потомъ все боялась, что я заучусь.

— Вы по Марѳѣ Петровнѣ, кажется, очень скучаете?

— Я? Можетъ быть. Право, можетъ быть. А кстати, вѣрите вы въ привидѣнія?

— Въ какія привидѣнія?

— Въ обыкновенныя привидѣнія, въ какія!

— А вы вѣрите?

— Да пожалуй и нѣтъ, pour vous plaire . . . То есть не то что нѣтъ . . .

— Являются, что ли?

Свидригайловъ какъ-то странно посмотрѣлъ на него.

— Марѳа Петровна посѣщать изволитъ, — проговорилъ онъ, скривя ротъ въ какую-то странную улыбку.

— Какъ это посѣщать изволитъ?

— Да ужъ три раза приходила. Впервой я ее увидалъ въ самый день похоронъ, часъ спустя послѣ кладбища. Это было наканунѣ моего отъѣзда сюда. Второй разъ третьяго дня, въ дорогѣ, на разсвѣтѣ, на станціи Малой-Вишерѣ; а въ третій разъ,

два часа тому назадъ, на квартирѣ, гдѣ я стою, въ комнатѣ; я былъ одинъ.

— Наяву?

— Совершенно. Всѣ три раза наяву. Придетъ, поговоритъ съ минуту и уйдетъ въ дверь; всегда въ дверь. Даже, какъ будто, слышно.

— Отчего я такъ и думалъ, что съ вами непремѣнно что-нибудь въ этомъ родѣ случается! — проговорилъ вдругъ Раскольниковъ и въ ту же минуту удивился, что это сказалъ. Онъ былъ въ сильномъ волненіи.

— Во-отъ? Вы это подумали? — съ удивленіемъ спросилъ Свидригайловъ, — да неужели? Ну, не сказалъ ли я, что между нами есть какая-то точка общая, а?

— Никогда вы этого не говорили! — рѣзко и съ азартомъ отвѣтилъ Раскольниковъ.

— Не говорилъ?

— Нѣтъ!

— Мнѣ показалось, что говорилъ. Давеча, какъ я вошелъ и увидѣлъ, что вы съ закрытыми глазами лежите, а сами дѣлаете видъ, — тутъ же и сказалъ себѣ: «это тотъ самый и есть!»

— Что̀ это такое: тотъ самый? Про что̀ вы это? — вскричалъ Раскольниковъ.

— Про что̀? А право, не знаю про что̀ . . . — чистосердечно, и какъ-то запутавшись, пробормоталъ Свидригайловъ.

Съ минуту помолчали. Оба поглядѣли другъ на друга во всѣ глаза.

— Все это вздоръ! — съ досадой вскрикнулъ Раскольниковъ. — Что̀ жъ она вамъ говоритъ, когда приходитъ?

— Она-то? Вообразите себѣ, о самыхъ ни-

чтожныхъ пустякахъ, и подивитесь человѣку: меня, вѣдь, это-то и сердитъ. Въ первый разъ вошла (я, знаете, усталъ: похоронная служба, со святыми упокой, потомъ литія, закуска, — наконецъ-то, въ кабинетѣ одинъ остался, закурилъ сигару, задумался), вошла въ дверь: «А вы, говоритъ, Аркадій Ивановичъ, сегодня за хлопотами и забыли въ столовой часы завести». А часы эти я, дѣйствительно, всѣ семь лѣтъ, каждую недѣлю самъ заводилъ, а забуду — такъ всегда, бывало, напомнитъ. На другой день я ужъ ѣду сюда. Вошелъ, на разсвѣтѣ, на станцію, — за ночь вздремнулъ, изломанъ, глаза заспаны, — взялъ кофею; смотрю — Марѳа Петровна вдругъ садится подлѣ меня, въ рукахъ колода картъ: «Не загадать ли вамъ, Аркадій Ивановичъ, на дорогу-то?» А она мастерица гадать была. Ну, и не прощу же себѣ, что не загадалъ. Убѣжалъ, испугавшись, а тутъ, правда, и колокольчикъ. Сижу сегодня подлѣ дряннѣйшаго обѣда изъ кухмистерской, съ тяжелымъ желудкомъ, — сижу, курю — вдругъ опять Марѳа Петровна входитъ, вся разодѣтая, въ новомъ шелковомъ зеленомъ платьѣ, съ длиннѣйшимъ хвостомъ: «Здравствуйте, Аркадій Ивановичъ! Какъ на вашъ вкусъ мое платье? Аниська такъ не сошьетъ». (Аниська — это мастерица у насъ въ деревнѣ, изъ прежнихъ крѣпостныхъ, въ ученьи въ Москвѣ была — хорошенькая дѣвочка.) Стоитъ, вертится передо мной. Я осмотрѣлъ платье, потомъ внимательно ей въ лицо посмотрѣлъ: «Охота вамъ, говорю, Марѳа Петровна, изъ такихъ пустяковъ ко мнѣ ходить, безпокоиться». — «Ахъ, Богъ мой, батюшка, ужъ и потревожить тебя нельзя!» Я ей говорю, чтобы подразнить ее: «Я, Марѳа Петровна, жениться хо-

чу». — «Отъ васъ это станется, Аркадій Ивановичъ; не много чести вамъ, что вы, не успѣвъ жену схоронить, тотчасъ и жениться поѣхали. И хоть бы выбрали-то хорошо, а то вѣдь, я знаю, — ни ей, ни себѣ, только добрыхъ людей насмѣшите». Взяла да и вышла, и хвостомъ точно какъ будто шумитъ. Экой вѣдь вздоръ, а?

— Да вы, впрочемъ, можетъ быть, все лжете? — отозвался Раскольниковъ.

— Я рѣдко лгу, — отвѣчалъ Свидригайловъ задумчиво и какъ бы совсѣмъ не замѣтивъ грубости вопроса.

— А прежде, до этого, вы никогда привидѣній не видывали?

— Н... нѣтъ, видѣлъ, одинъ только разъ въ жизни, шесть лѣтъ тому. Филька, человѣкъ дворовый у меня былъ; только что его похоронили, я крикнулъ, забывшись: Филька, трубку! — вошелъ, и прямо къ горкѣ, гдѣ стоятъ у меня трубки. Я сижу, думаю: «Это онъ мнѣ отомстить», потому что передъ самой смертью мы крѣпко поссорились. — «Какъ ты смѣешь, говорю, съ продраннымъ локтемъ ко мнѣ входить, — вонъ, негодяй!» Повернулся, вышелъ и больше не приходилъ. Я Марѳѣ Петровнѣ тогда не сказалъ. Хотѣлъ было панихиду по немъ отслужить, да посовѣстился.

— Сходите къ доктору.

— Это-то я и безъ васъ понимаю, что нездоровъ, хотя, право, не знаю, чѣмъ; по-моему, я, навѣрно, здоровѣе васъ впятеро. Я васъ не про то спросилъ,— вѣрите вы или нѣтъ, что привидѣнія являются? Я васъ спросилъ: вѣрите ли вы, что есть привидѣнія?

— Нѣтъ, ни за что не повѣрю! — съ какою-то даже злобой вскричалъ Раскольниковъ.

— Вѣдь обыкновенно какъ говорятъ? — бормоталъ Свидригайловъ, какъ бы про себя, смотря въ сторону и наклонивъ нѣсколько голову. — Они говорятъ: «ты боленъ, стало быть, то, что̀ тебѣ представляется, есть одинъ только не существующій бредъ». А вѣдь тутъ нѣтъ строгой логики. Я согласенъ, что привидѣнія являются только больнымъ; но вѣдь это только доказываетъ, что привидѣнія могутъ являться не иначе какъ больнымъ, а не то, что ихъ нѣтъ, самихъ по себѣ.

— Конечно, нѣтъ! — раздражительно настаивалъ Раскольниковъ.

— Нѣтъ? Вы такъ думаете? — продолжалъ Свидригайловъ, медленно посмотрѣвъ на него. — Ну, а что̀, если такъ разсудить (вотъ помогите-ка): «Привидѣнія — это, такъ сказать, клочки и отрывки другихъ міровъ, ихъ начало. Здоровому человѣку, разумѣется, ихъ не зачѣмъ видѣть, потому что здоровый человѣкъ есть наиболѣе земной человѣкъ, а, стало быть, долженъ жить одною здѣшнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну, а чуть заболѣлъ, чуть нарушился нормальный земной порядокъ въ организмѣ, тотчасъ и начинаетъ сказываться возможность другого міра, и чѣмъ больше боленъ, тѣмъ и соприкосновеній съ другимъ міромъ больше, такъ что, когда умретъ совсѣмъ человѣкъ, то прямо и перейдетъ въ другой міръ». Я объ этомъ давно разсуждалъ. Если въ будущую жизнь вѣрите, то и этому разсужденію можно повѣрить.

— Я не вѣрю въ будущую жизнь, — сказалъ Раскольниковъ. Свидригайловъ сидѣлъ въ задумчивости.

— А что̀, если тамъ одни пауки или что-нибудь въ этомъ родѣ, — сказалъ онъ вдругъ.

«Это помѣшанный», подумалъ Раскольниковъ.

— Намъ вотъ все представляется вѣчность, какъ идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непремѣнно огромное? И вдругъ, вмѣсто всего этого, представьте себѣ, будетъ тамъ одна комнатка, эдакъ въ родѣ деревенской бани, закоптѣлая, а по всѣмъ угламъ пауки, и вотъ и вся вѣчность. Мнѣ, знаете, въ этомъ родѣ иногда мерещится.

— И неужели, неужели вамъ ничего не представляется утѣшительнѣе и справедливѣе этого! — съ болѣзненнымъ чувствомъ вскрикнулъ Раскольниковъ.

— Справедливѣе? А почемъ знать, можетъ быть, это и есть справедливое, и знаете, я бы такъ непремѣнно нарочно сдѣлалъ! — отвѣтилъ Свидригайловъ, неопредѣленно улыбаясь.

Какимъ-то холодомъ охватило вдругъ Раскольникова при этомъ безобразномъ отвѣтѣ. Свидригайловъ поднялъ голову, пристально посмотрѣлъ на него и вдругъ расхохотался.

— Нѣтъ, вы вотъ что̀ сообразите, — закричалъ онъ, — назадъ тому полчаса, мы другъ друга еще и не видывали, считаемся врагами, между нами нерѣшенное дѣло есть; мы дѣло-то бросили и эвона въ какую литературу заѣхали! Ну, не правду я сказалъ, что мы одного поля ягоды?

— Сдѣлайте же одолженіе, — раздражительно продолжалъ Раскольниковъ, — позвольте васъ просить поскорѣе объясниться и сообщить мнѣ, почему вы удостоили меня чести вашего посѣщенія . . . и . . . и . . . я тороплюсь, мнѣ некогда, я хочу со двора идти . . .

— Извольте, извольте. Ваша сестрица, Авдотья

Романовна, за господина Лужина выходитъ, Петра Петровича?

— Нельзя ли какъ-нибудь обойти всякій вопросъ о моей сестрѣ и не упоминать ея имени. Я даже не понимаю, какъ вы смѣете при мнѣ выговаривать ея имя, если только вы, дѣйствительно, Свидригайловъ?

— Да вѣдь я же объ ней и пришелъ говорить, какъ же не упоминать-то?

— Хорошо; говорите, но скорѣе!

— Я увѣренъ, что вы объ этомъ господинѣ Лужинѣ, моемъ по женѣ родственникѣ, уже составили ваше мнѣніе, если его хоть полчаса видѣли или хоть что-нибудь объ немъ вѣрно и точно слышали. Авдотьѣ Романовнѣ онъ не пара. По-моему, Авдотья Романовна въ этомъ дѣлѣ жертвуетъ собою весьма великодушно и нерасчетливо, для... для своего семейства. Мнѣ показалось, вслѣдствіе всего, что̀ я объ васъ слышалъ, что вы, съ своей стороны, очень бы довольны были, если бъ этотъ бракъ могъ разстроиться безъ нарушенія интересовъ. Теперь же, узнавъ васъ лично, я даже въ этомъ увѣренъ.

— Съ вашей стороны все это очень наивно; извините меня, я хотѣлъ сказать: нахально, — сказалъ Раскольниковъ.

— То есть вы этимъ выражаете, что я хлопочу въ свой карманъ. Не безпокойтесь, Родіонъ Романовичъ, если бъ я хлопоталъ въ свою выгоду, то не сталъ бы такъ прямо высказываться, не дуракъ же вѣдь я совсѣмъ. На этотъ счетъ открою вамъ одну психологическую странность. Давеча я, оправдывая свою любовь къ Авдотьѣ Романовнѣ, говорилъ, что былъ самъ жертвой. Ну, такъ знайте

же, что никакой я теперь любви не ощущаю, н-никакой, такъ что мнѣ самому даже странно это, потому что я вѣдь, дѣйствительно, нѣчто ощущалъ . . .

— Отъ праздности и разврата, — перебилъ Раскольниковъ.

— Дѣйствительно, я человѣкъ развратный и праздный. А впрочемъ, ваша сестрица имѣетъ столько преимуществъ, что не могъ же и я не поддаться нѣкоторому впечатлѣнію. Но все это вздоръ, какъ теперь и самъ вижу.

— Давно ли увидѣли?

— Замѣчать сталъ еще прежде, окончательно же убѣдился третьяго дня, почти въ самую минуту пріѣзда въ Петербургъ. Впрочемъ, еще въ Москвѣ воображалъ, что ѣду добиваться руки Авдотьи Романовны и соперничать съ господиномъ Лужинымъ.

— Извините, что васъ перерву, сдѣлайте одолженіе: нельзя ли сократить и перейти прямо къ цѣли вашего посѣщенія. Я тороплюсь, мнѣ надо идти со двора . . .

— Съ величайшимъ удовольствіемъ. Прибывъ сюда и рѣшившись теперь предпринять нѣкоторый . . . вояжъ, я пожелалъ сдѣлать необходимыя предварительныя распоряженія. Дѣти мои остались у тетки; они богаты, а я имъ лично не надобенъ. Да и какой я отецъ! Себѣ я взялъ только то, что̀ подарила мнѣ годъ назадъ Марѳа Петровна. Съ меня достаточно. Извините, сейчасъ перехожу къ самому дѣлу. Передъ вояжемъ, который, можетъ быть, и сбудется, я хочу и съ господиномъ Лужинымъ покончить. Не то, чтобъ ужъ я его очень терпѣть не могъ, но черезъ него, однако, и вышла эта ссора моя съ Марѳой Петровной, когда я узналъ, что она эту свадьбу состряпала. Я желаю

теперь повидаться съ Авдотьей Романовной, черезъ ваше посредство, и, пожалуй, въ вашемъ же присутствіи, объяснить ей, во-первыхъ, что отъ господина Лужина не только не будетъ ей ни малѣйшей выгоды, но даже навѣрно будетъ явный ущербъ. Затѣмъ, испросивъ у ней извиненія въ недавнихъ этихъ всѣхъ непріятностяхъ, я попросилъ бы позволенія предложить ей десять тысячъ рублей и такимъ образомъ облегчить разрывъ съ господиномъ Лужинымъ, разрывъ, отъ котораго, я увѣренъ, она и сама была бы не прочь, явилась бы только возможность.

— Но вы, дѣйствительно, дѣйствительно, сумасшедшій! — вскричалъ Раскольниковъ, не столько даже раздраженный, сколько удивленный. — Какъ смѣете вы такъ говорить!

— Я такъ и зналъ, что вы закричите; но, во-первыхъ, я хоть и небогатъ, но эти десять тысячъ рублей у меня свободны, то есть совершенно, совершенно мнѣ ненадобны. Не приметъ Авдотья Романовна, такъ я, пожалуй, еще глупѣе ихъ употреблю. Это разъ. Второе: совѣсть моя совершенно покойна; я безъ всякихъ разсчетовъ предлагаю. Вѣрьте не вѣрьте, а впослѣдствіи узнаете и вы, и Авдотья Романовна. Все въ томъ, что я, дѣйствительно, принесъ нѣсколько хлопотъ и непріятностей многоуважаемой вашей сестрицѣ; стало быть, чувствуя искреннее раскаяніе, сердечно желаю, — не откупиться, не заплатить за непріятности, а просто-за-просто сдѣлать для нея что-нибудь выгодное, на томъ основаніи, что не привилегію же въ самомъ дѣлѣ взялъ я дѣлать одно только злое. Если бы въ моемъ предложеніи была хотя милліонная доля разсчета, то не сталъ бы я предла-

гать всего только десять тысячъ, тогда какъ всего пять недѣль назадъ предлагалъ ей больше. Кромѣ того, я, можетъ быть, весьма и весьма скоро женюсь на одной дѣвицѣ, а слѣдовательно всѣ подозрѣнія въ какихъ-нибудь покушеніяхъ противъ Авдотьи Романовны тѣмъ самымъ должны уничтожиться. Въ заключеніе скажу, что, выходя за господина Лужина, Авдотья Романовна тѣ же самыя деньги беретъ, только съ другой стороны... Да вы не сердитесь, Родіонъ Романовичъ, разсудите спокойно и хладнокровно.

Говоря это, Свидригайловъ былъ самъ чрезвычайно хладнокровенъ и спокоенъ.

— Прошу васъ кончить, — сказалъ Раскольниковъ. — Во всякомъ случаѣ, это непростительно дерзко.

— Ни мало. Послѣ этого человѣкъ человѣку на семъ свѣтѣ можетъ дѣлать одно только зло и, напротивъ, не имѣетъ права сдѣлать ни крошки добра, изъ-за пустыхъ принятыхъ формальностей. Это нелѣпо. Вѣдь если бъ я, напримѣръ, померъ и оставилъ бы эту сумму сестрицѣ вашей по духовному завѣщанію, неужели бъ она и тогда принять отказалась?

— Весьма можетъ быть.

— Ну ужъ это нѣтъ-съ. А впрочемъ, нѣтъ, такъ и нѣтъ, такъ пусть и будетъ. А только десять тысячъ — прекрасная штука, при случаѣ. Во всякомъ случаѣ попрошу передать сказанное Авдотьѣ Романовнѣ.

— Нѣтъ, не передамъ.

— Въ такомъ случаѣ, Родіонъ Романовичъ, я самъ принужденъ буду добиваться свиданія личнаго, а, стало быть, безпокоить.

— А если я передамъ, вы не будете добиваться свиданія личнаго?

— Не знаю, право, какъ вамъ сказать. Видѣться одинъ разъ я бы очень желалъ.

— Не надѣйтесь.

— Жаль. Впрочемъ, вы меня не знаете. Вотъ, можетъ, сойдемся поближе.

— Вы думаете, что мы сойдемся поближе?

— А почему жъ бы и нѣтъ? — улыбнувшись сказалъ Свидригайловъ, всталъ и взялъ шляпу, — я вѣдь не то чтобы такъ ужъ очень желалъ васъ безпокоить, и идя сюда даже не очень расчитывалъ, хотя, впрочемъ, физіономія ваша еще давеча утромъ меня поразила . . .

— Гдѣ вы меня давеча утромъ видѣли? — съ безпокойствомъ спросилъ Раскольниковъ.

— Случайно-съ . . . Мнѣ все кажется, что въ васъ есть что-то къ моему подходящее . . . Да не безпокойтесь, я не надоѣдливъ; и съ шулерами уживался, и князю Свирбею, моему дальнему родственнику и вельможѣ, не надоѣлъ, и объ Рафаэлевой Мадоннѣ г-жѣ Прилуковой въ альбомъ сумѣлъ написать, и съ Марѳой Петровной семь лѣтъ безвыѣздно прожилъ, и въ домѣ Вяземскаго на Сѣнной въ старину ночевалъ, и на шарѣ съ Бергомъ, можетъ быть, полечу.

— Ну, хорошо-съ. Позвольте спросить, вы скоро въ путешествіе отправитесь?

— Въ какое путешествіе?

— Ну да въ «вояжъ»-то этотъ . . . Вы вѣдь сами сказали.

— Въ вояжъ? Ахъ, да! . . въ самомъ дѣлѣ, я вамъ говорилъ про вояжъ . . . Ну, это вопросъ обширный . . . А если бъ знали вы, однакожъ, объ

чемъ спрашиваете!—прибавилъ онъ и вдругъ громко и коротко разсмѣялся. — Я, можетъ быть, вмѣсто вояжа-то женюсь; мнѣ невѣсту сватаютъ.

— Здѣсь?

— Да.

— Когда это вы успѣли?

— Но съ Авдотьей Романовной однажды повидаться весьма желаю. Серьезно прошу. Ну, до свиданія . . . ахъ, да! Вѣдь вотъ что̀ забылъ! Передайте, Родіонъ Романовичъ, вашей сестрицѣ, что въ завѣщаніи Марѳы Петровны она упомянута въ трехъ тысячахъ. Это положительно вѣрно. Марѳа Петровна распорядилась за недѣлю до смерти, и при мнѣ дѣло было. Недѣли черезъ двѣ-три Авдотья Романовна можетъ и деньги получить.

— Вы правду говорите?

— Правду. Передайте. Ну-съ, вашъ слуга. Я вѣдь отъ васъ очень недалеко стою.

Выходя, Свидригайловъ столкнулся въ дверяхъ съ Разумихинымъ.

II.

Было уже почти восемь часовъ; оба спѣшили къ Бакалѣеву, чтобы придти раньше Лужина.

— Ну, кто жъ это былъ? — спросилъ Разумихинъ, только что вышли на улицу.

— Это былъ Свидригайловъ, тотъ самый помѣщикъ, въ домѣ котораго была обижена сестра, когда служила у нихъ гувернанткой. Черезъ его любовныя преслѣдованія она отъ нихъ вышла, выгнанная его женой, Марѳой Петровной. Эта Марѳа Петровна просила потомъ у Дуни прощенія, а теперь вдругъ умерла. Это про нее давеча говорили.

Не знаю почему, я этого человѣка очень боюсь. Онъ пріѣхалъ тотчасъ послѣ похоронъ жены. Онъ очень странный и на что-то рѣшился... Онъ какъ будто что-то знаетъ... Отъ него надо Дуню оберегать... вотъ это я и хотѣлъ сказать тебѣ, слышишь?

— Оберегать! Что жъ онъ можетъ противъ Авдотьи Романовны? Ну, спасибо тебѣ, Родя, что мнѣ такъ говоришь... Будемъ, будемъ оберегать!.. Гдѣ живетъ?

— Не знаю.

— Зачѣмъ не спросилъ? Эхъ, жаль! Впрочемъ, узнаю!

— Ты его видѣлъ? — спросилъ Раскольниковъ, послѣ нѣкотораго молчанія.

— Ну да, замѣтилъ; твердо замѣтилъ.

— Ты его точно видѣлъ? Ясно видѣлъ? — настаивалъ Раскольниковъ.

— Ну да, ясно помню; изъ тысячи узнаю, я памятливъ на лица.

Опять помолчали.

— Гм... то-то... — пробормоталъ Раскольниковъ. — А то знаешь... мнѣ подумалось... мнѣ все кажется... что это можетъ быть и фантазія.

— Да про что ты? Я тебя не совсѣмъ хорошо понимаю.

— Вотъ вы всѣ говорите, — продолжалъ Раскольниковъ, скрививъ ротъ въ улыбку, — что я помѣшанный; мнѣ и показалось теперь, что, можетъ быть, я въ самомъ дѣлѣ помѣшанный и только призракъ видѣлъ?

— Да что ты это?

— А вѣдь кто знаетъ! Можетъ, я и впрямь по-

мѣшанный, и все, что̀ во всѣ эти дни было, все, можетъ быть, такъ только въ воображеніи...

— Эхъ, Родя! Разстроили тебя опять!.. Да что онъ говорилъ, съ чѣмъ приходилъ?

Раскольниковъ не отвѣтилъ, Разумихинъ подумалъ съ минуту.

— Ну, слушай же мой отчетъ,—началъ онъ.— Я къ тебѣ заходилъ, ты спалъ. Потомъ обѣдали, а потомъ я пошелъ къ Порфирію. Заметовъ все у него. Я было хотѣлъ начать, и ничего не вышло. Все не могъ заговорить настоящимъ образомъ. Они точно не понимаютъ и понять не могутъ, но вовсе не конфузятся. Отвелъ я Порфирія къ окну и сталъ говорить, но опять отчего-то не такъ вышло: онъ смотритъ въ сторону, и я смотрю въ сторону. Я, наконецъ, поднесъ къ его рожѣ кулакъ и сказалъ, что размозжу его, по-родственному. Онъ только посмотрѣлъ на меня. Я плюнулъ и ушелъ, вотъ и все. Очень глупо. Съ Заметовымъ я ни слова. Только видишь: я думалъ, что подгадилъ, а мнѣ, сходя съ лѣстницы, мысль одна пришла, такъ и осѣнила меня: изъ чего мы съ тобой хлопочемъ? Вѣдь если бъ тебѣ опасность была, или тамъ что-нибудь, ну, конечно. А вѣдь тебѣ что! Вѣдь ты тутъ ни при чемъ, такъ наплевать на нихъ; мы же надъ ними насмѣемся потомъ, а я бы на твоемъ мѣстѣ ихъ еще мистифицировать сталъ. Вѣдь какъ имъ стыдно-то потомъ будетъ! Плюнь; потомъ и поколотить можно будетъ, а теперь посмѣемся!

— Разумѣется такъ! — отвѣтилъ Раскольниковъ. «А что ты завтра скажешь?» подумалъ онъ про себя. Странное дѣло, до сихъ поръ еще ни разу не приходило ему въ голову: «что подумаетъ

Разумихинъ, когда узнаетъ?» Подумавъ это, Раскольниковъ пристально поглядѣлъ на него. Теперешнимъ же отчетомъ Разумихина о посѣщеніи Порфирія онъ очень немного былъ заинтересованъ: такъ много убыло съ тѣхъ поръ и прибавилось!..

Въ корридорѣ они столкнулись съ Лужинымъ: онъ явился ровно въ восемь часовъ и отыскивалъ нумеръ, такъ что всѣ трое вошли вмѣстѣ, но не глядя другъ на друга и не кланяясь. Молодые люди прошли впередъ, а Петръ Петровичъ, для приличія, замѣшкался нѣсколько въ прихожей, снимая пальто. Пульхерія Александровна тотчасъ же вышла встрѣтить его на порогѣ. Дуня здоровалась съ братомъ.

Петръ Петровичъ вошелъ и довольно любезно, хотя и съ удвоенною солидностью, раскланялся съ дамами. Впрочемъ, смотрѣлъ такъ, какъ будто немного сбился и еще не нашелся. Пульхерія Александровна, тоже какъ будто сконфузившаяся, тотчасъ же поспѣшила разсадить всѣхъ за круглымъ столомъ, на которомъ кипѣлъ самоваръ. Дуня и Лужинъ помѣстились напротивъ другъ друга по обоимъ концамъ стола. Разумихинъ и Раскольниковъ пришлись напротивъ Пульхеріи Александровны, — Разумихинъ ближе къ Лужину, а Раскольниковъ подлѣ сестры.

Наступило мгновенное молчаніе. Петръ Петровичъ не спѣша вынулъ батистовый платокъ, отъ котораго понесло духами, и высморкался съ видомъ хотя и добродѣтельнаго, но все же нѣсколько оскорбленнаго въ своемъ достоинствѣ человѣка и при томъ твердо рѣшившагося потребовать объясненій. Ему еще въ передней пришла было мысль: не снимать пальто и уѣхать и тѣмъ строго и вну-

шительно наказать обѣихъ дамъ, такъ чтобы разомъ дать все почувствовать. Но онъ не рѣшился. При томъ этотъ человѣкъ не любилъ неизвѣстности, а тутъ надо было разъяснить: если такъ явно нарушено его приказаніе, значитъ что-нибудь да есть, а, стало быть, лучше напередъ узнать; наказать же всегда будетъ время, да и въ его рукахъ.

— Надѣюсь, путешествіе прошло благополучно? — офиціально обратился онъ къ Пульхеріи Александровнѣ.

— Слава Богу, Петръ Петровичъ.

— Весьма пріятно-съ. И Авдотья Романовна тоже не устали?

— Я-то молода и сильна, не устану, а мамашѣ такъ очень тяжело было, — отвѣтила Дунечка.

— Что дѣлать-съ; наши національныя дороги весьма длинны. Велика такъ называемая «матушка Россія...» Я же, при всемъ желаніи, никакъ не могъ вчера поспѣшить къ встрѣчѣ. Надѣюсь, однако, что все произошло безъ особыхъ хлопотъ?

— Ахъ, нѣтъ, Петръ Петровичъ, мы были очень обезкуражены, — съ особой интонаціей поспѣшила заявить Пульхерія Александровна, — и если бъ самъ Богъ, кажется, не послалъ намъ вчера Дмитрія Прокофьича, то мы просто бы такъ и пропали. Вотъ они, Дмитрій Прокофьичъ Разумихинъ, — прибавила она, рекомендуя его Лужину.

— Какъ же, имѣлъ удовольствіе... вчера, — пробормоталъ Лужинъ, непріязненно покосившись на Разумихина, затѣмъ нахмурился и примолкъ. Да и вообще Петръ Петровичъ принадлежалъ къ разряду людей, повидимому, чрезвычайно любезныхъ въ обществѣ и особенно претендующихъ на любезность, но которые, чуть что не по нихъ,

тотчасъ же и теряютъ всѣ свои средства и становятся похожими скорѣе на мѣшки съ мукой, чѣмъ на развязныхъ и оживляющихъ общество кавалеровъ. Всѣ опять примолкли: Раскольниковъ упорно молчалъ, Авдотья Романовна до времени не хотѣла прерывать молчанія, Разумихину нечего было говорить, такъ что Пульхерія Александровна опять затревожилась.

— Марѳа Петровна умерла, вы слышали? — начала она, прибѣгая къ своему капитальному средству.

— Какъ же, слышалъ-съ. По первому слуху былъ увѣдомленъ и даже пріѣхалъ вамъ теперь сообщить, что Аркадій Ивановичъ Свидригайловъ, немедленно послѣ похоронъ супруги, отправился поспѣшно въ Петербургъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, по точнѣйшимъ извѣстіямъ, которыя я получилъ.

— Въ Петербургъ? Сюда? — тревожно спросила Дунечка и переглянулась съ матерью.

— Точно такъ-съ, и ужъ, разумѣется, не безъ цѣлей, принявъ во вниманіе поспѣшность выѣзда и, вообще, предшествовавшія обстоятельства.

— Господи! Да неужели онъ и тутъ не оставитъ Дунечку въ покоѣ? — вскрикнула Пульхерія Александровна.

— Мнѣ кажется, особенно тревожиться нечего, ни вамъ, ни Авдотьѣ Романовнѣ, конечно, если сами не пожелаете входить въ какія бы то ни было съ нимъ отношенія. Что до меня касается, я слѣжу и теперь разыскиваю, гдѣ онъ остановился...

— Ахъ, Петръ Петровичъ, вы не повѣрите до какой степени вы меня теперь испугали! — продолжала Пульхерія Александровна. — Я его всего только два раза видѣла, и онъ мнѣ показался ужа-

сенъ, ужасенъ! Я увѣрена, что онъ былъ причиною смерти покойницы Марѳы Петровны.

— Насчетъ этого нельзя заключить. Я имѣю извѣстія точныя. Не спорю, можетъ быть, онъ способствовалъ ускоренному ходу вещей такъ сказать нравственнымъ вліяніемъ обиды; но что касается поведенія и, вообще, нравственной характеристики лица, то я съ вами согласенъ. — Не знаю, богатъ ли онъ теперь, и что именно оставила ему Марѳа Петровна; объ этомъ мнѣ будетъ извѣстно въ самый непродолжительный срокъ; но ужъ, конечно, здѣсь въ Петербургѣ, имѣя хотя бы нѣкоторыя денежныя средства, онъ примется тотчасъ за старое. Это самый развращенный и погибшій въ порокахъ человѣкъ, изъ всѣхъ подобнаго рода людей! Я имѣю значительное основаніе предполагать, что Марѳа Петровна, имѣвшая несчастіе столь полюбить его и выкупить изъ долговъ, восемь лѣтъ назадъ, послужила ему еще и въ другомъ отношеніи: единственно ея стараніемъ и жертвами затушено было, въ самомъ началѣ, уголовное дѣло, съ примѣсью звѣрскаго и, такъ сказать, фантастическаго душегубства, за которое онъ весьма и весьма могъ бы прогуляться въ Сибирь. Вотъ каковъ этотъ человѣкъ, если хотите узнать.

— Ахъ, Господи! — вскричала Пульхерія Александровна. Раскольниковъ внимательно слушалъ.

— Вы правду говорите, что имѣете объ этомъ точныя свѣдѣнія? — спросила Дуня строго и внушительно.

— Я говорю только то, что слышалъ самъ, по секрету, отъ покойницы Марѳы Петровны. Надо замѣтить, что съ юридической точки зрѣнія дѣло это весьма темное. Здѣсь жила да и теперь, ка-

жется, проживаетъ нѣкоторая Ресслихъ, иностранка и сверхъ того мелкая процентщица, занимающаяся и другими дѣлами. Съ этою-то Ресслихъ господинъ Свидригайловъ находился издавна въ нѣкоторыхъ весьма близкихъ и таинственныхъ отношеніяхъ. У ней жила дальняя родственница, племянница, кажется, глухонѣмая, дѣвочка лѣтъ пятнадцати и даже четырнадцати, которую эта Ресслихъ безпредѣльно ненавидѣла и каждымъ кускомъ попрекала; даже безчеловѣчно била. Разъ она найдена была на чердакѣ удавившеюся. Присуждено, что отъ самоубійства. Послѣ обыкновенныхъ процедуръ тѣмъ дѣло и кончилось, но впослѣдствіи явился, однако, доносъ, что ребенокъ былъ... жестоко оскорбленъ Свидригайловымъ. Правда, все это было темно, доносъ былъ отъ другой же нѣмки, отъявленной женщины и не имѣвшей довѣрія; наконецъ, въ сущности и доноса не было, благодаря стараніямъ и деньгамъ Марѳы Петровны; все ограничилось слухомъ. Но, однако, этотъ слухъ былъ многознаменателенъ. Вы, конечно, Авдотья Романовна, слышали тоже у нихъ объ исторіи съ человѣкомъ Филиппомъ, умершимъ отъ истязаній, лѣтъ шесть назадъ, еще во время крѣпостного права.

— Я слышала напротивъ, что этотъ Филиппъ самъ удавился.

— Точно такъ-съ, но принудила или, лучше сказать, склонила его къ насильственной смерти безпрерывная система гоненій и взысканій господина Свидригайлова.

— Я не знаю этого, — сухо отвѣтила Дуня, — я слышала только какую-то очень странную исторію, что этотъ Филиппъ былъ какой-то ипохон-

дрикъ, какой-то домашній философъ, люди говорили, «зачитался», и что удавился онъ болѣе отъ насмѣшекъ, а не отъ побой господина Свидригайлова. А онъ при мнѣ хорошо обходился съ людьми, и люди его даже любили, хотя и, дѣйствительно, тоже винили его въ смерти Филиппа.

— Я вижу, что вы, Авдотья Романовна, какъ-то стали вдругъ наклонны къ его оправданію, — замѣтилъ Лужинъ, скривя ротъ въ двусмысленную улыбку. — Дѣйствительно, онъ человѣкъ хитрый и обольстительный насчетъ дамъ, чему плачевнымъ примѣромъ служитъ Марѳа Петровна, такъ странно умершая. Я только хотѣлъ послужить вамъ и вашей мамашѣ своимъ совѣтомъ, въ виду его новыхъ и несомнѣнно предстоящихъ попытокъ. Что же до меня касается, то я твердо увѣренъ, что этотъ человѣкъ несомнѣнно исчезнетъ опять въ долговомъ отдѣленіи. Марѳа Петровна отнюдь никогда не имѣла намѣренія что-нибудь за нимъ закрѣпить, имѣя въ виду дѣтей, и если оставила ему нѣчто, то развѣ нѣчто самое необходимое, малостоящее, эфермерное, чего и на годъ не хватитъ человѣку съ его привычками.

— Петръ Петровичъ, прошу васъ, — сказала Дуня, — перестанемте о господинѣ Свидригайловѣ. На меня это наводитъ тоску.

— Онъ сейчасъ приходилъ ко мнѣ, — сказалъ вдругъ Раскольниковъ, въ первый разъ прерывая молчаніе.

Со всѣхъ сторонъ раздались восклицанія, всѣ обратились къ нему. Даже Петръ Петровичъ взволновался.

— Часа полтора назадъ, когда я спалъ, онъ вошелъ, разбудилъ меня и отрекомендовался, — про-

должалъ Раскольниковъ. — Онъ былъ довольно развязенъ и веселъ и совершенно надѣется, что я съ нимъ сойдусь. Между прочимъ, онъ очень проситъ и ищетъ свиданія съ тобою, Дуня, а меня просилъ быть посредникомъ при этомъ свиданіи. У него есть къ тебѣ одно предложеніе; въ чемъ оно, онъ мнѣ сообщилъ. Кромѣ того, онъ положительно увѣдомилъ меня, что Марѳа Петровна, за недѣлю до смерти, успѣла оставить тебѣ, Дуня, по завѣщанію три тысячи рублей, и деньги эти ты можешь теперь получить въ самомъ скоромъ времени.

— Слава Богу! — вскричала Пульхерія Александровна и перекрестилась. — Молись за нее, Дуня, молись!

— Это дѣйствительная правда, — сорвалось у Лужина.

— Ну, ну, что же дальше? — торопила Дунечка.

— Потомъ онъ сказалъ, что онъ самъ не богатъ и все имѣніе достается его дѣтямъ, которыя теперь у тетки. Потомъ, что остановился гдѣ-то недалеко отъ меня, а гдѣ? — не знаю, не спросилъ . . .

— Но, что же, что же онъ хочетъ предложить Дунечкѣ? — спросила перепуганная Пульхерія Александровна. — Сказалъ онъ тебѣ?

— Да, сказалъ.

— Что же?

— Потомъ скажу. — Раскольниковъ замолчалъ и обратился къ своему чаю.

Петръ Петровичъ вынулъ часы и посмотрѣлъ.

— Необходимо отправиться по дѣлу, и такимъ образомъ не помѣшаю, — прибавилъ онъ съ нѣ-

сколько пикированнымъ видомъ и сталъ вставать со стула.

— Останьтесь, Петръ Петровичъ, — сказала Дуня, — вѣдь вы намѣрены были просидѣть вечеръ. Къ тому же вы сами писали, что желаете объ чемъ-то объясниться съ маменькой.

— Точно такъ-съ, Авдотья Романовна, — внушительно проговорилъ Петръ Петровичъ, присѣвъ опять на стулъ, но все еще сохраняя шляпу въ рукахъ: — я, дѣйствительно, желалъ объясниться и съ вами, и съ многоуважаемою вашею мамашей, и даже о весьма важныхъ пунктахъ. Но, какъ и братъ вашъ не можетъ при мнѣ объясниться насчетъ нѣкоторыхъ предложеній господина Свидригайлова, такъ и я не желаю и не могу объясняться . . . при другихъ . . . насчетъ нѣкоторыхъ, весьма и весьма важныхъ пунктовъ. Къ тому же капитальная и убѣдительнѣйшая просьба моя не была исполнена . . .

Лужинъ сдѣлалъ горькій видъ и осанисто примолкъ.

— Просьба ваша, чтобы брата не было при нашемъ свиданіи, не исполнена единственно по моему настоянію, — сказала Дуня. — Вы писали, что были братомъ оскорблены; я думаю, что это надо немедленно разъяснить, и вы должны помириться. И если Родя васъ, дѣйствительно, оскорбилъ, то онъ *долженъ* и *будетъ* просить у васъ извиненія.

Петръ Петровичъ тотчасъ же закуражился.

— Есть нѣкоторыя оскорбленія, Авдотья Романовна, которыя, при всей доброй волѣ, забыть нельзя-съ. Во всемъ есть черта, за которую перейти опасно; ибо разъ переступивъ, воротиться назадъ невозможно.

— Я вамъ не про то собственно говорила, Петръ Петровичъ, — немного съ нетерпѣніемъ перебила Дуня; — поймите хорошенько, что все наше будущее зависитъ теперь отъ того, разъяснится ли и уладится ли все это какъ можно скорѣй, или нѣтъ? Я прямо, съ перваго слова говорю, что иначе не могу смотрѣть, и если вы хоть сколько-нибудь мною дорожите, то, хоть и трудно, а вся эта исторія должна сегодня же кончиться. Повторяю вамъ, если братъ виноватъ, онъ будетъ просить прощенія.

— Удивляюсь, что вы ставите такъ вопросъ, Авдотья Романовна, — раздражался все болѣе и болѣе Лужинъ; — цѣня и, такъ сказать, обожая васъ, я въ то же время весьма и весьма могу не любить кого-нибудь изъ вашихъ домашнихъ. Претендуя на счастье вашей руки, не могу въ то же время принять на себя обязательствъ несогласимыхъ...

— Ахъ, оставьте всю эту обидчивость, Петръ Петровичъ, — съ чувствомъ перебила Дуня, — и будьте тѣмъ умнымъ и благороднымъ человѣкомъ, какимъ я васъ всегда считала и считать хочу. Я вамъ дала великое обѣщаніе, я ваша невѣста; довѣрьтесь мнѣ въ этомъ дѣлѣ, и повѣрьте, я въ силахъ буду разсудить безпристрастно. То, что я беру на себя роль судьи, это такой же сюрпризъ моему брату, какъ и вамъ. Когда я пригласила его сегодня, послѣ письма вашего, непремѣнно придти на наше свиданіе, я ничего ему не сообщила изъ моихъ намѣреній. Поймите, что если вы не помиритесь, то я должна же выбирать между вами: или вы, или онъ. Такъ сталъ вопросъ и съ вашей и съ его стороны. Я не хочу и не должна ошибиться въ выборѣ. Для васъ я должна разорвать съ бра-

томъ; для брата я должна разорвать съ вами. Я хочу и могу узнать теперь навѣрно: братъ ли онъ мнѣ? А про васъ: дорога ли я вамъ, цѣните ли вы меня: мужъ ли вы мнѣ?

— Авдотья Романовна, — закоробившись произнесъ Лужинъ, — ваши слова слишкомъ многозначительны для меня, скажу болѣе, даже обидны, въ виду того положенія, которое я имѣю честь занимать въ отношеніи къ вамъ. Не говоря уже ни слова объ обидномъ странномъ сопоставленіи, на одну доску, между мной и . . . заносчивымъ юношей, словами вашими вы допускаете возможность нарушенія даннаго мнѣ обѣщанія. Вы говорите: «или вы, или онъ», стало быть, тѣмъ самымъ показываете мнѣ, какъ немного я для васъ значу . . . я не могу допустить этого при отношеніяхъ и . . . обязательствахъ, существующихъ между нами.

— Какъ! — вспыхнула Дуня; — я ставлю вашъ интересъ рядомъ со всѣмъ, что до сихъ поръ было мнѣ драгоцѣнно въ жизни, что до сихъ поръ составляло *всю* мою жизнь, и вдругъ вы обижаетесь за то, что я даю вамъ *мало* цѣны!

Раскольниковъ молча и язвительно улыбнулся, Разумихина всего передернуло; но Петръ Петровичъ не принялъ возраженія: напротивъ, съ каждымъ словомъ становился онъ все привязчивѣе и раздражительнѣе, точно во вкусъ входилъ.

— Любовь къ будущему спутнику жизни, къ мужу, должна превышать любовь къ брату, — произнесъ онъ сентенціозно, — а во всякомъ случаѣ, я не могу стоять на одной доскѣ . . . Хоть я и настаивалъ давеча, что въ присутствіи вашего брата не желаю и не могу изъяснить всего, съ чѣмъ пришелъ, тѣмъ не менѣе я теперь же намѣренъ

обратиться къ многоуважаемой вашей мамашѣ для необходимаго объясненія по одному весьма капитальному и для меня обидному пункту. Сынъ вашъ, — обратился онъ къ Пульхеріи Александровнѣ, — вчера, въ присутствіи господина Разсудкина (или . . . кажется такъ? извините, запамятовалъ вашу фамилію, — любезно поклонился онъ Разумихину), обидѣлъ меня искаженіемъ мысли моей, которую я сообщилъ вамъ тогда въ разговорѣ частномъ, за кофеемъ, именно, что женитьба на бѣдной дѣвицѣ, уже испытавшей жизненное горе, по-моему, выгоднѣе въ супружескомъ отношеніи, чѣмъ на испытавшей довольство, ибо полезнѣе для нравственности. Вашъ сынъ умышленно преувеличилъ значеніе словъ до нелѣпаго, обвинивъ меня въ злостныхъ намѣреніяхъ, и, по моему взгляду, основываясь на вашей собственной корреспонденціи. Почту себя счастливымъ, если вамъ, Пульхерія Александровна, возможно будетъ разубѣдить меня въ противномъ отношеніи и тѣмъ значительно успокоить. Сообщите же мнѣ, въ какихъ именно терминахъ передали вы слова мои въ вашемъ письмѣ къ Родіону Романовичу?

— Я не помню, — сбилась Пульхерія Александровна, — я передала, какъ сама поняла. Не знаю, какъ передалъ вамъ Родя . . . Можетъ, онъ что-нибудь и преувеличилъ.

— Безъ вашего внушенія онъ преувеличить не могъ.

— Петръ Петровичъ, — съ достоинствомъ произнесла Пульхерія Александровна, — доказательство тому, что мы съ Дуней не приняли вашихъ словъ въ очень дурную сторону, это то, что мы *здѣсь*.

— Хорошо, маменька! — одобрительно сказала Дуня.

— Стало быть, я и тутъ виноватъ! — обидѣлся Лужинъ.

— Вотъ, Петръ Петровичъ, вы все Родіона вините, а вы и сами о немъ давеча неправду написали въ письмѣ, — прибавила, ободрившись, Пульхерія Александровна.

— Я не помню, чтобы написалъ какую-нибудь неправду-съ.

— Вы написали, — рѣзко проговорилъ Раскольниковъ, не оборачиваясь къ Лужину, — что я вчера отдалъ деньги не вдовѣ раздавленнаго, какъ это дѣйствительно было, а его дочери (которой до вчерашняго дня никогда не видалъ). Вы написали это, чтобы поссорить меня съ родными, и для того прибавили въ гнусныхъ выраженіяхъ о поведеніи дѣвушки, которой вы не знаете. Все это сплетня и низость.

— Извините, сударь, — дрожа со злости отвѣтилъ Лужинъ, — въ письмѣ моемъ я распространился о вашихъ качествахъ и поступкахъ единственно въ исполненіе тѣмъ самымъ просьбы вашей сестрицы и мамаши описать имъ: какъ я васъ нашелъ, и какое вы на меня произвели впечатлѣніе? Что же касается до означеннаго въ письмѣ моемъ, то найдите хоть строчку несправедливую, то есть, что вы не истратили денегъ и что въ семействѣ томъ, хотя бы и несчастномъ, не находилось недостойныхъ лицъ?

— А по-моему, такъ вы, со всѣми вашими достоинствами, не стоите мизинца этой несчастной дѣвушки, въ которую вы камень бросаете.

— Стало быть, вы рѣшились бы и ввести ее въ общество вашей матери и сестры?

— Я это ужъ и сдѣлалъ, если вамъ хочется знать. Я посадилъ ее сегодня рядомъ съ маменькой и съ Дуней.

— Родя! — вскричала Пульхерія Александровна.

Дунечка покраснѣла; Разуимхинъ сдвинулъ брови. Лужинъ язвительно и высокомѣрно улыбался.

— Сами изволите видѣть, Авдотья Романовна, — сказалъ онъ, — возможно ли тутъ соглашеніе? Надѣюсь теперь, что дѣло это кончено и разъяснено, разъ навсегда. Я же удалюсь, чтобы не мѣшать дальнѣйшей пріятности родственнаго свиданія и сообщенію секретовъ (онъ всталъ со стула и взялъ шляпу). Но, уходя, осмѣлюсь замѣтить, что впредь надѣюсь быть избавленъ отъ подобныхъ встрѣчъ и, такъ сказать, компромиссовъ. Васъ же особенно буду просить, многоуважаемая Пульхерія Александровна, на эту же тему, тѣмъ паче, что и письмо мое было адресовано вамъ, а не кому иначе.

Пульхерія Александровна немного обидѣлась.

— Чтой-то вы ужъ совсѣмъ насъ во власть свою берете, Петръ Петровичъ. Дуня вамъ разсказала причину, почему не исполнено ваше желаніе: она хорошія намѣренія имѣла. Да и пишете вы мнѣ точно приказываете. Неужели жъ намъ каждое желаніе ваше за приказаніе считать? А я такъ вамъ напротивъ скажу, что вамъ слѣдуетъ теперь къ намъ быть особенно деликатнымъ и снисходительнымъ, потому что мы все бросили и, вамъ довѣрясь, сюда пріѣхали, а, стало быть, и безъ того ужъ почти въ вашей власти состоимъ.

— Это не совсѣмъ справедливо, Пульхерія Александровна, и особенно въ настоящій моментъ, когда возвѣщено о завѣщанныхъ Марѳой Петровной трехъ тысячахъ, что̀, кажется, очень кстати, судя по новому тону, которымъ заговорили со мной, — прибавилъ онъ язвительно.

— Судя по этому замѣчанію, можно, дѣйствительно, предположить, что вы расчитывали на нашу безпомощность, — раздражительно замѣтила Дуня.

— Но теперь, по крайней мѣрѣ, не могу такъ расчитывать, и особенно не желаю помѣшать сообщенію секретныхъ предложеній Аркадія Ивановича Свидригайлова, которыми онъ уполномочилъ вашего братца, и которыя, какъ я вижу, имѣютъ для васъ капитальное, а, можетъ быть, и весьма пріятное значеніе.

— Ахъ Боже мой! — вскрикнула Пульхерія Александровна.

Разумихину не сидѣлось на стулѣ.

— И тебѣ не стыдно теперь, сестра? — спросилъ Раскольниковъ.

— Стыдно, Родя, — сказала Дуня. — Петръ Петровичъ, подите вонъ! — обратилась она къ нему, поблѣднѣвъ отъ гнѣва.

Петръ Петровичъ, кажется, совсѣмъ не ожидалъ такого конца. Онъ слишкомъ надѣялся на себя, на власть свою и на безпомощность своихъ жертвъ. Не повѣрилъ и теперь. Онъ поблѣднѣлъ, и губы его затряслись.

— Авдотья Романовна, если я выйду теперь въ эту дверь, при такомъ напутствіи, то — расчитайте это — я ужъ не ворочусь никогда. Обдумайте хорошенько! Мое слово твердо.

— Что за наглость! — вскричала Дуня, быстро

подымаясь съ мѣста, — да я и не хочу, чтобы вы возвращались назадъ!

— Какъ? Такъ вотъ ка-а-къ-съ! — вскричалъ Лужинъ, совершенно не вѣровавшій до послѣдняго мгновенія такой развязкѣ, а потому совсѣмъ потерявшій теперь нитку: — такъ, такъ-то-съ! Но знаете ли, Авдотья Романовна, что я могъ бы и протестовать-съ.

— Какое право вы имѣете такъ говорить съ ней! — горячо вступилась Пульхерія Александровна; — чѣмъ вы можете протестовать? И какія это ваши права? Ну, отдамъ я вамъ, такому, мою Дуню? Подите, оставьте насъ совсѣмъ! Мы сами виноваты, что на несправедливое дѣло пошли, а всѣхъ больше я...

— Однакожъ, Пульхерія Александровна, — горячился въ бѣшенствѣ Лужинъ, — вы связали меня даннымъ словомъ, отъ котораго теперь отрекаетесь... и наконецъ... наконецъ, я вовлеченъ былъ, такъ сказать, черезъ то въ издержки...

Эта послѣдняя претензія до того была въ характерѣ Петра Петровича, что Раскольниковъ, блѣднѣвшій отъ гнѣва и отъ усилій сдержать его, вдругъ не выдержалъ и — расхохотался. Но Пульхерія Александровна вышла изъ себя:

— Въ издержки? Въ какія же это издержки? Ужъ не про сундукъ ли нашъ вы говорите? Да вѣдь вамъ его кондукторъ задаромъ перевезъ. Господи, мы же васъ и связали! Да вы опомнитесь, Петръ Петровичъ, это вы насъ по рукамъ и по ногамъ связали, а не мы васъ!

— Довольно, маменька, пожалуйста, довольно! — упрашивала Авдотья Романовна. — Петръ Петровичъ, сдѣлайте милость, уйдите!

— Уйду-съ, но одно только послѣднее слово!— проговорилъ онъ, уже почти совсѣмъ не владѣя собою, — ваша мамаша, кажется, совершенно забыла, что я рѣшился васъ взять, такъ сказать, послѣ городской молвы, разнесшейся по всему околодку насчетъ репутаціи вашей. Пренебрегая для васъ общественнымъ мнѣніемъ и возстановляя репутацію вашу, ужъ, конечно, могъ бы я, весьма и весьма, понадѣяться на возмездіе и даже потребовать благодарности вашей... И только теперь открылись глаза мои! Вижу самъ, что, можетъ быть, весьма и весьма поступилъ опрометчиво, пренебрегая общественнымъ голосомъ...

— Да онъ о двухъ головахъ, что ли! — крикнулъ Разумихинъ, вскакивая со стула и уже готовясь расправиться.

— Низкій вы и злой человѣкъ! — сказала Дуня.

— Ни слова! Ни жеста! — вскрикнулъ Раскольниковъ, удерживая Разумихина; затѣмъ, подойдя чуть не въ упоръ къ Лужину:

— Извольте выйти вонъ! — сказалъ онъ тихо и раздѣльно, — и ни слова болѣе, иначе...

Петръ Петровичъ нѣсколько секундъ смотрѣлъ на него съ блѣднымъ и искривленнымъ отъ злости лицомъ, затѣмъ повернулся, вышелъ, и ужъ, конечно, рѣдко кто-нибудь уносилъ на кого въ своемъ сердцѣ столько злобной ненависти, какъ этотъ человѣкъ на Раскольникова. Его и его одного онъ обвинялъ во всемъ. Замѣчательно, уже спускаясь съ лѣстницы, онъ все еще воображалъ, что дѣло еще, можетъ быть, совсѣмъ не потеряно и, что касается однѣхъ дамъ, даже «весьма и весьма» поправимое.

III.

Главное дѣло было въ томъ, что онъ, до самой послѣдней минуты, никакъ не ожидалъ подобной развязки. Онъ куражился до послѣдней черты, не предполагая даже возможности, что двѣ нищія и беззащитныя женщины могутъ выйти изъ-подъ его власти. Убѣжденію этому много помогли тщеславіе и та степень самоувѣренности, которую лучше всего назвать самовлюбленностью. Петръ Петровичъ, пробившись изъ ничтожества, болѣзненно привыкъ любоваться собою, высоко цѣнилъ свой умъ и способности и даже иногда, наединѣ, любовался своимъ лицомъ въ зеркалѣ. Но болѣе всего на свѣтѣ любилъ и цѣнилъ онъ, добытыя трудомъ и всякими средствами, свои деньги: онѣ равняли его со всѣмъ, что̀ было выше его.

Напоминая теперь съ горечью Дунѣ о томъ, что онъ рѣшился взять ее, несмотря на худую о ней молву, Петръ Петровичъ говорилъ вполнѣ искренно и даже чувствовалъ глубокое негодованіе противъ такой «черной неблагодарности». А между тѣмъ, сватаясь тогда за Дуню, онъ совершенно уже былъ убѣжденъ въ нелѣпости всѣхъ этихъ сплетенъ, опровергнутыхъ всенародно самой Марѳой Петровной и давно уже оставленныхъ всѣмъ городишкомъ, горячо оправдывавшимъ Дуню. Да онъ и самъ не отрекся бы теперь отъ того, что все это уже зналъ и тогда. И тѣмъ не менѣе, онъ все-таки высоко цѣнилъ свою рѣшимость возвысить Дуню до себя и считалъ это подвигомъ. Выговаривая объ этомъ сейчасъ Дунѣ, онъ выговаривалъ свою тайную, возлелѣянную имъ мысль, на которую онъ уже не разъ любовался, и понять не могъ, какъ

другіе могли не любоваться на его подвигъ. Явившись тогда съ визитомъ къ Раскольникову, онъ вошелъ съ чувствомъ благодѣтеля, готовящагося пожать плоды и выслушать весьма сладкіе комплименты. И ужъ конечно, теперь, сходя съ лѣстницы, онъ считалъ себя въ высочайшей степени обиженнымъ и непризнаннымъ.

Дуня же была ему просто необходима; отказаться отъ нея для него было немыслимо. Давно уже, уже нѣсколько лѣтъ, со сластью мечталъ онъ о женитьбѣ, но все прикапливалъ денегъ и ждалъ. Онъ съ упоеніемъ помышлялъ, въ глубочайшемъ секретѣ, о дѣвицѣ благонравной и бѣдной (непремѣнно бѣдной), очень молоденькой, очень хорошенькой, благородной и образованной, очень запуганной, чрезвычайно много испытавшей несчастій, и вполнѣ предъ нимъ приникшей, такой, которая бы всю жизнь считала его — спасеніемъ своимъ, благоговѣла передъ нимъ, подчинялась, удивлялась ему, и только ему одному. Сколько сценъ, сколько сладостныхъ эпизодовъ создалъ онъ въ воображеніи на эту соблазнительную и игривую тему, отдыхая въ тиши отъ дѣлъ! И вотъ, мечта столькихъ лѣтъ почти уже осуществлялась: красота и образованіе Авдотьи Романовны поразили его; безпомощное положеніе ея раззадорило его до крайности. Тутъ являлось даже нѣсколько болѣе того, о чемъ онъ мечталъ: явилась дѣвушка, гордая, характерная, добродѣтельная, воспитаніемъ и развитіемъ выше его (онъ чувствовалъ это), и такое-то существо будетъ рабски благодарно ему всю жизнь за его подвигъ и благоговѣйно уничтожится передъ нимъ, а онъ-то будетъ безгранично и всецѣло владычествовать!.. Какъ нарочно, незадолго

передъ тѣмъ, послѣ долгихъ соображеній и ожиданій, онъ рѣшилъ, наконецъ, окончательно перемѣнить карьеру и вступить въ болѣе обширный кругъ дѣятельности, а съ тѣмъ вмѣстѣ, мало-по-малу, перейти и въ болѣе высшее общество, о которомъ онъ давно уже съ сладострастіемъ подумывалъ... Однимъ словомъ, онъ рѣшился попробовать Петербурга. Онъ зналъ, что женщинами можно «весьма и весьма» много выиграть. Обаяніе прелестной, добродѣтельной и образованной женщины могло удивительно скрасить его дорогу, привлечь къ нему, создать ореолъ... и вотъ, все рушилось! Этотъ теперешній внезапный, безобразный разрывъ подѣйствовалъ на него, какъ ударъ грома. Это была какая-то безобразная шутка, нелѣпость! Онъ только капельку покуражился; онъ даже не успѣлъ и высказаться! Онъ просто пошутилъ, увлекся, а кончилось такъ серьезно! Наконецъ, вѣдь онъ уже даже любилъ по-своему Дуню, онъ уже владычествовалъ надъ нею въ мечтахъ своихъ—и вдругъ!.. Нѣтъ! Завтра же, завтра же все это надо возстановить, залѣчить, исправить, а главное — уничтожить этого заносчиваго молокососа мальчишку, который былъ всему причиной. Съ болѣзненнымъ ощущеніемъ припоминался ему, тоже какъ-то невольно, Разумихинъ... но, впрочемъ, онъ скоро съ этой стороны успокоился: «Еще бы и этого-то поставить съ нимъ рядомъ!» Но кого онъ въ самомъ дѣлѣ серьезно боялся, — такъ это Свидригайлова... Однимъ словомъ, предстояло много хлопотъ.

. . . . . .

— Нѣтъ я, я болѣе всѣхъ виновата! — говорила Дунечка, обнимая и цѣлуя мать, — я польсти-

лась на его деньги, но, клянусь, братъ, — я и не воображала, чтобъ это былъ такой недостойный человѣкъ. Если бъ я разглядѣла его раньше, я бы ни на что не польстилась! Не вини меня, братъ!

— Богъ избавилъ! Богъ избавилъ! — бормотала Пульхерія Александровна, но какъ-то безсознательно, какъ будто еще не совсѣмъ взявъ въ толкъ все, что случилось.

Всѣ радовались, черезъ пять минутъ даже смѣялись. Иногда только Дунечка блѣднѣла и сдвигала брови, припоминая случившееся. Пульхерія Александровна и воображать не могла, что она тоже будетъ рада; разрывъ съ Лужинымъ представлялся ей еще утромъ страшною бѣдой. Но Разумихинъ былъ въ восторгѣ. Онъ не смѣлъ еще вполнѣ его выразить, но весь дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ, какъ будто пятипудовая гиря свалилась съ его сердца. Теперь онъ имѣетъ право отдать имъ всю свою жизнь, служить имъ... Да мало ли что теперь! А впрочемъ, онъ еще пугливѣе гналъ дальнѣйшія мысли и боялся своего воображенія. Одинъ только Раскольниковъ сидѣлъ все на томъ же мѣстѣ, почти угрюмый и даже разсѣянный. Онъ, всего больше настаивавшій на удаленіи Лужина, какъ будто всѣхъ меньше интересовался теперь случившимся. Дуня невольно подумала, что онъ все еще очень на нее сердится, а Пульхерія Александровна приглядывалась къ нему боязливо.

— Что же сказалъ тебѣ Свидригайловъ? — подошла къ нему Дуня.

— Ахъ, да, да! — вскричала Пульхерія Александровна.

Раскольниковъ поднялъ голову:

— Онъ хочетъ непремѣнно подарить тебѣ де-

сять тысячъ рублей и при этомъ заявляетъ желаніе тебя однажды видѣть въ моемъ присутствіи.

— Видѣть! Ни за что на свѣтѣ! — вскричала Пульхерія Александровна, — и какъ онъ смѣетъ ей деньги предлагать!

Затѣмъ Раскольниковъ передалъ (довольно сухо) разговоръ свой съ Свидригайловымъ, пропустивъ о призракахъ Марѳы Петровны, чтобы не вдаваться въ излишнюю матерію и чувствуя отвращеніе заводить какой бы то ни было разговоръ, кромѣ самого необходимаго.

— Что же ты ему отвѣчалъ? — спросила Дуня.

— Сперва сказалъ, что не передамъ тебѣ ничего. Тогда онъ объявилъ, что будетъ самъ, всѣми средствами, доискиваться свиданія. Онъ увѣрялъ, что страсть его къ тебѣ была блажью, и что онъ теперь ничего къ тебѣ не чувствуетъ... Онъ не хочетъ, чтобы ты вышла за Лужина... Вообще же говорилъ сбивчиво.

— Какъ ты самъ его объясняешь себѣ, Родя? Какъ онъ тебѣ показался?

— Признаюсь, ничего хорошо не понимаю. Предлагаетъ десять тысячъ, а самъ говорилъ, что не богатъ. Объявляетъ, что хочетъ куда-то уѣхать, и черезъ десять минутъ забываетъ, что объ этомъ говорилъ. Вдругъ тоже говоритъ, что хочетъ жениться и что ему уже невѣсту сватаютъ... Конечно, у него есть цѣли, и всего вѣроятнѣе — дурныя. Но опять какъ-то странно предположить, чтобъ онъ такъ глупо приступилъ къ дѣлу, если бъ имѣлъ на тебя дурныя намѣренія... Я, разумѣется, отказалъ ему, за тебя, въ этихъ деньгахъ, разъ навсегда. Вообще онъ мнѣ страннымъ показался, и... даже... съ признаками какъ будто помѣшатель-

ства. Но я могъ и ошибиться; тутъ просто, можетъ быть, надуваніе своего рода. Смерть Марѳы Петровны, кажется, производитъ на него впечатлѣніе...

— Упокой, Господи, ея душу! — воскликнула Пульхерія Александровна, — вѣчно, вѣчно за нее Бога буду молить! Ну что бы съ нами было теперь, Дуня, безъ этихъ трехъ тысячъ! Господи, точно съ неба упали! Ахъ, Родя, вѣдь у насъ утромъ всего три цѣлковыхъ за душой оставалось, и мы съ Дунечкой только и расчитывали какъ бы часы гдѣнибудь поскорѣй заложить, чтобы не брать у этого, пока самъ не догадается.

Дуню какъ-то ужъ слишкомъ поразило предложеніе Свидригайлова. Она все стояла задумавшись.

— Онъ что-нибудь ужасное задумалъ! — проговорила она почти шепотомъ про себя, чуть не содрагаясь.

Раскольниковъ примѣтилъ этотъ чрезвычайный страхъ.

— Кажется, придется мнѣ не разъ еще его увидать, — сказалъ онъ Дунѣ.

— Будемъ слѣдить! Я его выслѣжу! — энергически крикнулъ Разумихинъ. — Глазъ не спущу! Мнѣ Родя позволилъ. Онъ мнѣ самъ сказалъ давеча: «береги сестру». А вы позволите, Авдотья Романовна?

Дуня улыбнулась и протянула ему руку, но забота не сходила съ ея лица. Пульхерія Александровна робко на нее поглядывала; впрочемъ, три тысячи ее видимо успокаивали.

Черезъ четверть часа всѣ были въ самомъ оживленномъ разговорѣ. Даже Раскольниковъ, хоть и

не разговаривалъ, но нѣкоторое время внимательно слушалъ. Ораторствовалъ Разумихинъ.

— И зачѣмъ, зачѣмъ вамъ уѣзжать! — съ упоеніемъ разливался онъ восторженною рѣчью, — и что вы будете дѣлать въ городишкѣ? А главное, вы здѣсь всѣ вмѣстѣ и одинъ другому нужны, — ужъ какъ нужны, поймите меня! Ну, хоть нѣкоторое время... Меня же возьмите въ друзья, въ компаньоны, и ужъ увѣряю, что затѣемъ отличное предпріятіе. Слушайте, я вамъ въ подробности это все растолкую, — весь проэктъ! У меня еще утромъ, когда ничего еще не случилось, въ головѣ ужъ мелькало... Вотъ въ чемъ дѣло: есть у меня дядя (я васъ познакомлю; прескладной и препочтенный стариченка!), а у этого дяди есть тысяча рублей капиталу, а самъ живетъ пенсіономъ и не нуждается. Второй годъ, какъ онъ пристаетъ ко мнѣ, чтобъ я взялъ у него эту тысячу, а ему бы по шести процентовъ платилъ. Я штуку вижу: ему просто хочется мнѣ помочь; но прошлаго года мнѣ было не надо, а нынѣшній годъ я только пріѣзда его поджидалъ и рѣшился взять. Затѣмъ вы дадите другую тысячу, изъ вашихъ трехъ, и вотъ и довольно на первый случай, вотъ мы и соединимся. Что жъ мы будемъ дѣлать?

Тутъ Разумихинъ принялся развивать свой проектъ и много толковалъ о томъ, какъ почти всѣ наши книгопродавцы и издатели мало знаютъ толку въ своемъ товарѣ, а потому обыкновенно и плохіе издатели, между тѣмъ какъ порядочныя изданія вообще окупаются и даютъ процентъ, иногда значительный. Объ издательской-то дѣятельности и мечталъ Разумихинъ, уже два года работавшій на другихъ и не дурно знавшій три европейскіе язы-

ка, несмотря на то, что дней шесть назадъ сказалъ было Раскольникову, что въ нѣмецкомъ «швахъ», съ цѣлью уговорить его взять на себя половину переводной работы и три рубля задатку: и онъ тогда вралъ, и Раскольниковъ зналъ, что онъ вретъ.

— Зачѣмъ, зачѣмъ же намъ свое упускать, когда у насъ одно изъ главнѣйшихъ средствъ очутилось — собственныя деньги? — горячился Разумихинъ. — Конечно, нужно много труда, но мы будемъ трудиться, вы, Авдотья Романовна, я, Родіонъ... иныя изданія даютъ теперь славный процентъ! А главная основа предпріятія въ томъ, что будемъ знать, что именно надо переводить. Будемъ и переводить, и издавать, и учиться, все вмѣстѣ. Теперь я могу быть полезенъ, потому что опытъ имѣю. Вотъ уже два года скоро по издателямъ шныряю, и всю ихъ подноготную знаю: не святые горшки лѣпятъ, повѣрьте! И зачѣмъ, зачѣмъ мимо рта кусокъ проносить! Да я самъ знаю, и въ тайнѣ храню, сочиненія два-три такихъ, что за одну только мысль перевесть и издать ихъ можно рублей по сту взять за каждую книгу, а за одну изъ нихъ я и пятисотъ рублей за мысль не возьму. И что вы думаете, сообщи я кому, пожалуй, еще усумнится, такое дубье! А ужъ насчетъ собственно хлопотъ по дѣламъ типографій, бумаги, продажи, это вы мнѣ поручите! Всѣ закоулки знаю! Помаленьку начнемъ, до большого дойдемъ, по крайней мѣрѣ, прокормиться чѣмъ будетъ, и ужъ во всякомъ случаѣ свое вернемъ.

У Дуни глаза блестѣли.

— То, что вы говорите, мнѣ очень нравится, Дмитрій Прокофьичъ, — сказала она.

— Я тутъ, конечно, ничего не знаю, — ото-

звалась Пульхерія Александровна, — можетъ, оно и хорошо, да опять вѣдь и Богъ знаетъ. Ново какъ-то, неизвѣстно. Конечно, намъ остаться здѣсь необходимо, хоть на нѣкоторое время...

Она посмотрѣла на Родю.

— Какъ ты думаешь, братъ? — сказала Дуня.

— Я думаю, что у него очень хорошая мысль, — отвѣтилъ онъ. — О фирмѣ, разумѣется, мечтать заранѣе не надо, но пять-шесть книгъ, дѣйствительно, можно издать съ несомнѣннымъ успѣхомъ. Я и самъ знаю одно сочиненіе, которое непремѣнно пойдетъ. А что касается до того, что онъ сумѣетъ повести дѣло, такъ въ этомъ нѣтъ и сомнѣнія: дѣло смыслитъ... Впрочемъ, будетъ еще время вамъ сговориться...

— Ура! — закричалъ Разумихинъ, — теперь стойте, здѣсь есть одна квартира, въ этомъ же домѣ, отъ тѣхъ же хозяевъ. Она особая, отдѣльная, съ этими нумерами не сообщается, и меблированная, цѣна умѣренная, три горенки. Вотъ на первый разъ и займите. Часы я вамъ завтра заложу и принесу деньги, а тамъ все уладится. А главное, можете всѣ трое вмѣстѣ жить, и Родя съ вами... Да куда жъ ты, Родя?

— Какъ, Родя, ты ужъ уходишь? — даже съ испугомъ спросила Пульхерія Александровна.

— Въ такую-то минуту! — крикнулъ Разумихинъ.

Дуня смотрѣла на брата съ недовѣрчивымъ удивленіемъ. Въ рукахъ его была фуражка; онъ готовился выйти.

— Чтой-то вы точно погребаете меня, али навѣки прощаетесь, — какъ-то странно проговорилъ онъ.

Онъ какъ будто улыбнулся, но какъ будто это была и не улыбка.

— А вѣдь кто знаетъ, можетъ, и послѣдній разъ видимся, — прибавилъ онъ нечаянно.

Онъ было подумалъ это про себя, но какъ-то само проговорилось вслухъ.

— Да что съ тобой! — вскрикнула мать.

— Куда идешь ты, Родя? — какъ-то странно спросила Дуня.

— Такъ, мнѣ очень надо, — отвѣтилъ онъ смутно, какъ бы колеблясь въ томъ, что хотѣлъ сказать. Но въ блѣдномъ лицѣ его была какая-то рѣзкая рѣшимость.

— Я хотѣлъ сказать... идя сюда... я хотѣлъ сказать вамъ, маменька... и тебѣ, Дуня, что намъ лучше бы на нѣкоторое время разойтись. Я себя не хорошо чувствую, я не спокоенъ... я послѣ приду, самъ приду, когда... можно будетъ. Я васъ помню и люблю... Оставьте меня! Оставьте меня одного! Я такъ рѣшилъ, еще прежде... Я это навѣрно рѣшилъ... Что бы со мною ни было, погибну я или нѣтъ, я хочу быть одинъ. Забудьте меня совсѣмъ. Это лучше... Не справляйтесь обо мнѣ. Когда надо, я самъ приду или... васъ позову. Можетъ быть, все воскреснетъ!.. А теперь, когда любите меня, откажитесь... Иначе, я васъ возненавижу, я чувствую... Прощайте!

— Господи! — вскрикнула Пульхерія Александровна.

И мать, и сестра были въ страшномъ испугѣ; Разумихинъ тоже.

— Родя, Родя! Помирись съ нами, будемъ попрежнему! — воскликнула бѣдная мать.

Онъ медленно повернулся къ дверямъ и медленно пошелъ изъ комнаты. Дуня догнала его.

— Братъ! Что ты съ матерью дѣлаешь! — прошептала она со взглядомъ, горѣвшимъ отъ негодованія.

Онъ тяжело посмотрѣлъ на нее.

— Ничего, я приду, я буду ходить! — пробормоталъ онъ вполголоса, точно не вполнѣ сознавая о чемъ хочетъ сказать, и вышелъ изъ комнаты.

— Безчувственный, злобный эгоистъ! — вскрикнула Дуня.

— Онъ су-ма-сшедшій, а не безчувственный! Онъ помѣшанный! Неужели вы этого не видите? Вы безчувственная послѣ этого!.. — горячо прошепталъ Разумихинъ надъ самымъ ея ухомъ, крѣпко стиснувъ ей руку.

— Я сейчасъ приду! — крикнулъ онъ, обращаясь къ помертвѣвшей Пульхеріи Александровнѣ, и выбѣжалъ изъ комнаты.

Раскольниковъ поджидалъ его въ концѣ коридора.

— Я такъ и зналъ, что ты выбѣжишь, — сказалъ онъ. — Воротись къ нимъ и будь съ ними... Будь и завтра у нихъ... и всегда. Я... можетъ, приду... если можно. Прощай!

И не протягивая руки, онъ пошелъ отъ него.

— Да куда ты? Что ты? Да что съ тобой? Да развѣ можно такъ!.. — бормоталъ совсѣмъ потерявшійся Разумихинъ.

Раскольниковъ остановился еще разъ.

— Разъ навсегда: никогда ни о чемъ меня не спрашивай. Нечего мнѣ тебѣ отвѣчать... Не приходи ко мнѣ. Можетъ, я и приду сюда... Оставь меня, а ихъ... *не оставь*. Понимаешь меня?

Въ корридорѣ было темно; они стояли возлѣ лампы. Съ минуту они смотрѣли другъ на друга, молча. Разумихинъ всю жизнь помнилъ эту минуту. Горѣвшій и пристальный взглядъ Раскольникова какъ будто усиливался съ каждымъ мгновеніемъ, проницалъ въ его душу, въ сознаніе. Вдругъ Разумихинъ вздрогнулъ. Что-то странное какъ будто прошло между ними... Какая-то идея проскользнула, какъ будто намекъ; что-то ужасное, безобразное и вдругъ понятное съ обѣихъ сторонъ... Разумихинъ поблѣднѣлъ, какъ мертвецъ.

— Понимаешь теперь? — сказалъ вдругъ Раскольниковъ съ болѣзненно искривившимся лицомъ... — Воротись, ступай къ нимъ, — прибавилъ онъ вдругъ и, быстро повернувшись, пошелъ изъ дому...

Не стану теперь описывать, что было въ тотъ вечеръ у Пульхеріи Александровны, какъ воротился къ нимъ Разумихинъ, какъ ихъ успокаивалъ, какъ клялся, что надо дать отдохнуть Родѣ въ болѣзни, клялся, что Родя придетъ непремѣнно, будетъ ходить каждый день, что онъ очень, очень разстроенъ, что не надо раздражать его; какъ онъ, Разумихинъ, будетъ слѣдить за нимъ, достанетъ ему доктора хорошаго, лучшаго, цѣлый консиліумъ... Однимъ словомъ, съ этого вечера Разумихинъ сталъ у нихъ сыномъ и братомъ.

IV.

А Раскольниковъ пошелъ прямо къ дому на канавѣ, гдѣ жила Соня. Домъ былъ трехъэтажный, старый и зеленаго цвѣта. Онъ доискался дворника и получилъ отъ него неопредѣленныя указанія, гдѣ

живетъ Капернаумовъ портной. Отыскавъ въ углу на дворѣ входъ на узкую и темную лѣстницу, онъ поднялся, наконецъ, во второй этажъ и вышелъ на галлерею, обходившую его со стороны двора. Покамѣстъ онъ бродилъ въ темнотѣ и въ недоумѣніи гдѣ бы могъ быть входъ къ Капернаумову, вдругъ, въ трехъ шагахъ отъ него, отворилась какая-то дверь; онъ схватился за нее машинально.

— Кто тутъ? — тревожно спросилъ женскій голосъ.

— Это я... къ вамъ, — отвѣтилъ Раскольниковъ и вошелъ въ крошечную переднюю. Тутъ, на продавленномъ стулѣ, въ искривленномъ мѣдномъ подсвѣчникѣ, стояла свѣча.

— Это вы! Господи! — слабо вскрикнула Соня и стала какъ вкопаная.

— Куда къ вамъ? Сюда?

И Раскольниковъ, стараясь не глядѣть на нее, поскорѣй прошелъ въ комнату.

Черезъ минуту вошла со свѣчой и Соня, поставила свѣчку и стала сама передъ нимъ, совсѣмъ растерявшаяся, вся въ невыразимомъ волненіи и видимо испуганная его неожиданнымъ посѣщеніемъ. Вдругъ краска бросилась въ ея блѣдное лицо, и даже слезы выступили на глазахъ... Ей было и тошно, и стыдно, и сладко... Раскольниковъ быстро отвернулся и сѣлъ на стулъ къ столу. Мелькомъ успѣлъ онъ охватить взглядомъ комнату.

Это была большая комната, но чрезвычайно низкая, единственная, отдававшаяся отъ Капернаумовыхъ, запертая дверь къ которымъ находилась въ стѣнѣ слѣва. На противоположной сторонѣ, въ стѣнѣ справа, была еще другая дверь, всегда запертая наглухо. Тамъ уже была другая, сосѣдняя

квартира, подъ другимъ нумеромъ. Сонина комната походила какъ будто на сарай, имѣла видъ весьма неправильнаго четыреугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Стѣна съ тремя окнами, выходившая на канаву, перерѣзывала комнату какъ-то вкось, отчего одинъ уголъ, ужасно острый, убѣгалъ куда-то вглубь, такъ что его, при слабомъ освѣщеніи, даже и разглядѣть нельзя было хорошенько; другой же уголъ былъ уже слишкомъ безобразно тупой. Во всей этой большой комнатѣ почти совсѣмъ не было мебели. Въ углу, направо, находилась кровать; подлѣ нея, ближе къ двери, стулъ. По той же стѣнѣ, гдѣ была кровать, у самыхъ дверей въ чужую квартиру, стоялъ простой тесовый столъ, покрытый синенькою скатертью; около стола два плетеныхъ стула. Затѣмъ, у противоположной стѣны, по близости отъ остраго угла, стоялъ небольшой простого дерева комодъ, какъ бы затерявшійся въ пустотѣ. Вотъ все, что было въ комнатѣ. Желтоватые, обшмыганные и истасканные обои почернѣли по всѣмъ угламъ; должно быть, здѣсь бывало сыро и угарно зимой. Бѣдность была видимая; даже у кровати не было занавѣсокъ.

Соня молча смотрѣла на своего гостя, такъ внимательно и безцеремонно осматривавшаго ея комнату, и даже начала, наконецъ, дрожать въ страхѣ, точно стояла передъ судьей и рѣшителемъ своей участи.

— Я поздно... Одиннадцать часовъ есть? — спросилъ онъ, все еще не подымая на нее глазъ.

— Есть, — пробормотала Соня. — Ахъ да, есть! — заторопилась она вдругъ, какъ будто въ этомъ былъ для нея весь исходъ, — сейчасъ

у хозяевъ часы пробили... и я сама слышала... Есть.

— Я къ вамъ въ послѣдній разъ пришелъ, — угрюмо продолжалъ Раскольниковъ, хотя и теперь былъ только въ первый, — я, можетъ быть, васъ не увижу больше...

— Вы... ѣдете?

— Не знаю... все завтра...

— Такъ вы не будете завтра у Екатерины Ивановны? — дрогнулъ голосъ у Сони.

— Не знаю. Все завтра утромъ... Не въ томъ дѣло: я пришелъ одно слово сказать...

Онъ поднялъ на нее свой задумчивый взглядъ и вдругъ замѣтилъ, что онъ сидитъ, а она все еще стоитъ передъ нимъ.

— Что жъ вы стоите? Сядьте, — проговорилъ онъ вдругъ перемѣнившимся, тихимъ и ласковымъ голосомъ.

— Она сѣла. Онъ привѣтливо и почти съ состраданіемъ посмотрѣлъ на нее съ минуту.

— Какая вы худенькая! Вонъ какая у васъ рука! Совсѣмъ прозрачная. Пальцы какъ у мертвой.

Онъ взялъ ея руку. Соня слабо улыбнулась.

— Я и всегда такая была, — сказала она.

— Когда и дома жили?

— Да.

— Ну, да ужъ конечно! — произнесъ онъ отрывисто, и выраженіе лица его, и звукъ голоса опять вдругъ перемѣнились. Онъ еще разъ оглядѣлся кругомъ.

— Это вы отъ Капернаумова нанимаете?

— Да-съ...

— Они тамъ, за дверью?

— Да... У нихъ тоже, такая же комната.

— Всѣ въ одной?

— Въ одной-съ.

— Я бы въ вашей комнатѣ по ночамъ боялся, — угрюмо замѣтилъ онъ.

— Хозяева очень хорошіе, очень ласковые, — отвѣчала Соня, все еще какъ бы не опомнившись и не сообразившись, — и вся мебель, и все... все хозяйское. И они очень добрые, и дѣти тоже ко мнѣ часто ходятъ...

— Это косноязычные-то?

— Да-съ... Онъ заикается и хромъ тоже. И жена тоже... Не то что заикается, а какъ будто не все выговариваетъ. Она добрая, очень. А онъ бывшій дворовый человѣкъ. А дѣтей семь человѣкъ... и только старшій одинъ заикается, а другіе просто больные... а не заикаются... А вы откуда про нихъ знаете? — прибавила она съ нѣкоторымъ удивленіемъ.

— Мнѣ вашъ отецъ все тогда разсказалъ... Онъ мнѣ все про васъ разсказалъ... И про то, какъ вы въ шесть часовъ пошли, а въ девятомъ назадъ пришли, и про то, какъ Катерина Ивановна у вашей постели на колѣнахъ стояла.

Соня смутилась.

— Я его точно сегодня видѣла, — прошептала она нерѣшительно.

— Кого?

— Отца. Я по улицѣ шла, тамъ подлѣ, на углу, въ десятомъ часу, а онъ будто впереди идетъ. И точно какъ будто онъ. Я хотѣла ужъ зайти къ Катеринѣ Ивановнѣ...

— Вы гуляли?

— Да, — отрывисто прошептала Соня, опять смутившись и потупившись.

— Катерина Ивановна вѣдь васъ чуть не била, у отца-то?

— Ахъ, нѣтъ, что вы, что вы это, нѣтъ! — съ какимъ-то даже испугомъ посмотрѣла на него Соня.

— Такъ вы ее любите?

— Ее? Да ка-а-акже! — протянула Соня жалобно, и съ страданіемъ сложивъ вдругъ руки. — Ахъ! вы ее... Если бъ вы только знали. Вѣдь она совсѣмъ какъ ребенокъ... Вѣдь у ней умъ совсѣмъ какъ помѣшанъ... отъ горя. А какая она умная была... какая великодушная... какая добрая! Вы ничего, ничего не знаете... ахъ!

Соня проговорила это точно въ отчаяніи, волнуясь и страдая, и ломая руки. Блѣдныя щеки ея опять вспыхнули, въ глазахъ выразилась мука. Видно было, что въ ней ужасно много затронули, что ей ужасно хотѣлось что-то выразить, сказать, заступиться. Какое-то *ненасытимое* состраданіе, если можно такъ выразиться, изобразилось вдругъ во всѣхъ чертахъ лица ея.

— Била! Да что вы это! Господи, била! А хоть бы и била, такъ что жъ! Ну такъ что жъ? Вы ничего, ничего не знаете... Это такая несчастная, ахъ, какая несчастная! И больная... Она справедливости ищетъ... Она чистая. Она такъ вѣритъ, что во всемъ справедливость должна быть, и требуетъ... И хоть мучайте ее, а она несправедливаго не сдѣлаетъ. Она сама не замѣчаетъ, какъ это все нельзя, чтобы справедливо было въ людяхъ, и раздражается... Какъ ребенокъ, какъ ребенокъ! Она справедливая, справедливая!

— А съ вами что будетъ?

Соня посмотрѣла вопросительно.

— Они вѣдь на васъ остались. Оно, правда, и прежде все было на васъ, и покойникъ на похмѣлье къ вамъ же ходилъ просить. Ну, а теперь вотъ, что будетъ?

— Не знаю, — грустно произнесла Соня.

— Они тамъ останутся?

— Не знаю, они на той квартирѣ должны; только хозяйка, слышно, говорила сегодня, что отказать хочетъ, а Катерина Ивановна говоритъ, что и сама ни минуты не останется.

— Съ чего жъ это она такъ храбрится? На васъ надѣется?

— Ахъ, нѣтъ, не говорите такъ!.. Мы одно, заодно живемъ, — вдругъ опять взволновалась и даже раздражилась Соня, точь-въ-точь какъ если бы разсердилась канарейка или какая другая маленькая птичка.— Да и какъ же ей быть? Ну какъ же, какъ же быть? — спрашивала она, горячась и волнуясь. — А сколько, сколько она сегодня плакала! У ней умъ мѣшается, вы этого не замѣтили? Мѣшается; то тревожится какъ маленькая о томъ, чтобы завтра все прилично было, закуски были и все... то руки ломаетъ, кровью харкаетъ, плачетъ, вдругъ стучать начнетъ головой объ стѣну, какъ въ отчаяніи. А потомъ опять утѣшится, на васъ она все надѣется: говоритъ, что вы теперь ей помощникъ, и что она гдѣ-нибудь немного денегъ займетъ и поѣдетъ въ свой городъ, со мною, и пансіонъ для благородныхъ дѣвицъ заведетъ, а меня возьметъ надзирательницей, и начнется у насъ совсѣмъ новая, прекрасная жизнь, и цѣлуетъ меня, обнимаетъ, утѣшаетъ, и вѣдь такъ вѣритъ! такъ

вѣритъ фантазіямъ-то! Ну развѣ можно ей противорѣчить? А сама-то весь-то день сегодня моетъ, чиститъ, чинитъ, корыто сама, съ своею слабенькою-то силой, въ комнату втащила, запыхалась, такъ и упала на постель; а то мы въ ряды еще съ ней утромъ ходили, башмачки Полечкѣ и Ленѣ купить, потому у нихъ всѣ развалились, только у насъ денегъ-то и не достало по разсчету, очень много не достало, а она такія миленькіе ботиночки выбрала, потому у ней вкусъ есть, вы не знаете . . . Тутъ же въ лавкѣ такъ и заплакала, при купцахъ-то, что не достало . . . Ахъ, какъ было жалко смотрѣть.

— Ну и понятно послѣ того, что вы . . . такъ живете, — сказалъ съ горькою усмѣшкой Раскольниковъ.

— А вамъ развѣ не жалко? Не жалко? — вскинулась опять Соня, — вѣдь вы, я знаю, вы послѣднее сами отдали, еще ничего не видя. А если бы вы все-то видѣли, о, Господи! А сколько, сколько разъ я ее въ слезы вводила! Да на прошлой еще недѣлѣ! Охъ, я! Всего за недѣлю до его смерти. Я жестоко поступила! И сколько, сколько разъ я это дѣлала. Ахъ, какъ теперь, цѣлый день вспоминать было больно!

Соня даже руки ломала говоря, отъ боли воспоминанія.

— Это вы-то жестокая?

— Да, я, я! Я пришла тогда, — продолжала она плача, — а покойникъ и говоритъ: «прочти мнѣ, говоритъ, Соня, у меня голова что-то болитъ, прочти мнѣ . . . вотъ книжка», какая-то книжка у него, у Андрея Семеныча досталъ, у Лебезятникова, тутъ живетъ, онъ такія смѣшныя книжки все

доставалъ. А я говорю: «мнѣ идти пора», такъ и не хотѣла прочесть, а зашла я къ нимъ, главное, чтобъ воротнички показать Катеринѣ Ивановнѣ; мнѣ Лизавета, торговка, воротнички и нарукавнички дешево принесла, хорошенькіе, новенькіе и съ узоромъ. А Катеринѣ Ивановнѣ очень понравились, она надѣла и въ зеркало посмотрѣла на себя, и очень, очень ей понравились: «подари мнѣ, говоритъ, ихъ, Соня, пожалуйста». *Пожалуйста* попросила, и ужъ такъ ей хотѣлось. А куда ей надѣвать? Такъ: прежнее, счастливое время только вспомнилось! Смотрится на себя въ зеркало, любуется, и никакихъ-то, никакихъ-то у ней платьевъ нѣтъ, никакихъ-то вещей, вотъ ужъ сколько лѣтъ! И ничего-то она никогда ни у кого не попроситъ; гордая, сама скорѣй отдастъ послѣднее, а тутъ вотъ попросила, — такъ ужъ ей понравились! А я и отдать пожалѣла: «на что вамъ, говорю, Катерина Ивановна?» Такъ и сказала, на что. Ужъ этого-то не надо было бы ей говорить! Она такъ на меня посмотрѣла, и такъ ей тяжело-тяжело стало, что я отказала, и такъ это было жалко смотрѣть... И не за воротнички тяжело, а за то, что я отказала, я видѣла. Ахъ, такъ бы, кажется, теперь все воротила, все передѣлала, всѣ эти прежнія слова... Охъ, я... да что!.. вамъ вѣдь все равно!

— Эту Лизавету торговку вы знали?

— Да... А вы развѣ знали? — съ нѣкоторымъ удивленіемъ переспросила Соня.

— Катерина Ивановна въ чахоткѣ, въ злой; она скоро умретъ, — сказалъ Раскольниковъ, помолчавъ и не отвѣтивъ на вопросъ.

— Охъ, нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! — И Соня безсо-

знательнымъ жестомъ схватила его за обѣ руки, какъ бы упрашивая, чтобы нѣтъ.

— Да вѣдь это жъ лучше, коль умретъ.

— Нѣтъ, не лучше, совсѣмъ не лучше! — испуганно и безотчетно повторяла она.

— А дѣти-то? Куда жъ вы тогда возьмете ихъ, коль не къ вамъ?

— Охъ, ужъ не знаю! — вскрикнула Соня, почти въ отчаяніи, и схватилась за голову. Видно было, что эта мысль ужъ много-много разъ въ ней самой мелькала, и онъ только вспугнулъ опять эту мысль.

— Ну, а коль вы, еще при Катеринѣ Ивановнѣ, теперь, заболѣете и васъ въ больницу свезутъ, ну что тогда будетъ? — безжалостно настаивалъ онъ.

— Ахъ, что вы, что вы! Этого-то ужъ не можетъ быть! — и лицо Сони искривилось страшнымъ испугомъ.

— Какъ не можетъ быть? — продолжалъ Раскольниковъ съ жесткой усмѣшкой, — не застрахованы же вы? Тогда что съ ними станется? На улицу всею гурьбой пойдутъ, она будетъ кашлять и просить, и объ стѣну гдѣ-нибудь головой стучать, какъ сегодня, а дѣти плакать . . . А тамъ упадетъ, въ часть свезутъ, въ больницу, умретъ, а дѣти . . .

— Охъ, нѣтъ! . . Богъ этого не допуститъ! — вырвалось, наконецъ, изъ стѣсненной груди у Сони. Она слушала съ мольбой, смотря на него и складывая въ нѣмой просьбѣ руки, точно отъ него все и зависѣло.

Раскольниковъ всталъ и началъ ходить по комнатѣ. Прошло съ минуту. Соня стояла, опустивъ руки и голову, въ страшной тоскѣ.

— А копить нельзя? На черный день отклады-

вать? — спросилъ онъ, вдругъ останавливаясь передъ ней.

— Нѣтъ, — прошептала Соня.

— Разумѣется, нѣтъ! А пробовали? — прибавилъ онъ чуть не съ насмѣшкой.

— Пробовала.

— И сорвалось! Ну, да разумѣется! Что и спрашивать!

И опять онъ пошелъ по комнатѣ. Еще прошло съ минуту.

— Не каждый день получаете-то?

Соня больше прежняго смутилась, и краска ударила ей опять въ лицо.

— Нѣтъ, — прошептала она съ мучительнымъ усиліемъ.

— Съ Полечкой навѣрно то же самое будетъ, — сказалъ онъ вдругъ.

— Нѣтъ! Нѣтъ! Не можетъ быть, нѣтъ! — какъ отчаянная, громко вскрикнула Соня, какъ будто ее вдругъ ножемъ ранили. — Богъ, Богъ такого ужаса не допуститъ!

— Другихъ допускаетъ же.

— Нѣтъ, нѣтъ! Ее Богъ защищитъ, Богъ!.. — повторяла она, не помня себя.

— Да, можетъ, и Бога-то совсѣмъ нѣтъ, — съ какимъ-то даже злорадствомъ отвѣтилъ Раскольниковъ, засмѣялся и посмотрѣлъ на нее.

Лицо Сони вдругъ страшно измѣнилось: по немъ пробѣжали судороги. Съ невыразимымъ укоромъ взглянула она на него, хотѣла было что-то сказать, но ничего не могла выговорить, и только вдругъ горько-горько зарыдала, закрывъ руками лицо.

— Вы говорите, у Катерины Ивановны умъ мѣ-

шается, у васъ самой умъ мѣшается, — проговорилъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія.

Прошло минутъ пять. Онъ все ходилъ взадъ и впередъ, молча и не взглядывая на нее. Наконецъ, подошелъ къ ней; глаза его сверкали. Онъ взялъ ее обѣими руками за плечи и прямо посмотрѣлъ въ ея плачущее лицо. Взглядъ его былъ сухой, воспаленный, острый, губы его сильно вздрагивали... Вдругъ онъ весь быстро наклонился и, припавъ къ полу, поцѣловалъ ея ногу. Соня въ ужасѣ отъ него отшатнулась, какъ отъ сумасшедшаго. И дѣйствительно, онъ смотрѣлъ какъ совсѣмъ сумасшедшій.

— Что вы, что вы это? Передо мной! — пробормотала она поблѣднѣвъ, и больно-больно сжало вдругъ ей сердце.

Онъ тотчасъ же всталъ.

— Я не тебѣ поклонился, я всему страданію человѣческому поклонился, — какъ-то дико произнесъ онъ и отошелъ къ окну. — Слушай, — прибавилъ онъ, воротившись къ ней черезъ минуту,—я давеча сказалъ одному обидчику, что онъ не стоитъ одного твоего мизинца... и что я моей сестрѣ сдѣлалъ сегодня честь, посадивъ ее рядомъ съ тобою.

— Ахъ, что вы это имъ сказали! И при ней? — испуганно вскрикнула Соня, — сидѣть со мной! Честь! Да вѣдь я... безчестная... Ахъ, что вы это сказали!

— Не за безчестіе и грѣхъ я сказалъ это про тебя, а за великое страданіе твое. А что ты великая грѣшница, то это такъ, — прибавилъ онъ почти восторженно, — а пуще всего, тѣмъ ты грѣшница, что *понапрасну* умертвила и предала себя. Еще бы это не ужасъ! Еще бы не ужасъ, что ты

живешь въ этой грязи, которую такъ ненавидишь, и въ то же время знаешь сама (только стоитъ глаза раскрыть), что никому ты этимъ не помогаешь и никого ни отъ чего не спасаешь! Да скажи же мнѣ, наконецъ, — проговорилъ онъ, почти въ изступленіи, — какъ этакой позоръ и такая низость въ тебѣ рядомъ съ другими противоположными и святыми чувствами совмѣщаются? Вѣдь справедливѣе, въ тысячу разъ справедливѣе и разумнѣе было бы прямо головой въ воду и разомъ покончить!

— А съ ними-то что будетъ? — слабо спросила Соня, страдальчески взглянувъ на него, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы вовсе и не удивившись его предложенію. Раскольниковъ странно посмотрѣлъ на нее.

Онъ все прочелъ въ одномъ ея взглядѣ. Стало быть, дѣйствительно, у ней самой была уже эта мысль. Можетъ быть, много разъ и серьезно обдумывала она въ отчаяніи какъ бы разомъ покончить, и до того серьезно, что теперь почти и не удивилась предложенію его. Даже жестокости словъ его не замѣтила (смысла укоровъ его и особеннаго взгляда его на ея позоръ она, конечно, тоже не замѣтила, и это было видимо для него). Но онъ понялъ вполнѣ, до какой чудовищной боли истерзала ее, и уже давно, мысль о безчестномъ и позорномъ ея положеніи. Что же, что же бы могло, думалъ онъ, до сихъ поръ останавливать рѣшимость ея покончить разомъ? И тутъ только понялъ онъ вполнѣ, что значили для нея эти бѣдныя, маленькія дѣти-сироты, и эта жалкая, полусумасшедшая Катерина Ивановна, съ своею чахоткой и со стуканіемъ объ стѣну головою.

Но тѣмъ не менѣе ему опять-таки было ясно,

что Соня съ своимъ характеромъ и съ тѣмъ все-таки развитіемъ, которое она получила, ни въ какомъ случаѣ не могла такъ оставаться. Все-таки для него составляло вопросъ: почему она такъ слишкомъ уже долго могла оставаться въ такомъ положеніи и не сошла съ ума, если ужъ не въ силахъ была броситься въ воду? Конечно, онъ понималъ, что положеніе Сони есть явленіе случайное въ обществѣ, хотя, къ несчастію, далеко не одиночное и не исключительное. Но эта-то самая случайность, эта нѣкоторая развитость и вся предыдущая жизнь ея могли бы, кажется, сразу убить ее при первомъ шагѣ на отвратительной дорогѣ этой. Что же поддерживало ее? Не развратъ же? Весь этотъ позоръ, очевидно, коснулся ея только механически; настоящій развратъ еще не проникъ ни одною каплей въ ея сердце: онъ это видѣлъ; она стояла передъ нимъ наяву . . .

«Ей три дороги, думалъ онъ: броситься въ канаву, попасть въ сумасшедшій домъ, или . . . или, наконецъ, броситься въ развратъ, одурманивающій умъ и окаменяющій сердце». Послѣдняя мысль была ему всего отвратительнѣе; но онъ былъ уже скептикъ, онъ былъ молодъ, отвлеченъ и, стало быть, жестокъ, а потому и не могъ не вѣрить, что послѣдній выходъ, то есть развратъ, былъ всего вѣроятнѣе.

«Но неужели жъ это правда, воскликнулъ онъ про себя, неужели жъ и это созданіе, еще сохранившее чистоту духа, сознательно втянется, наконецъ, въ эту мерзкую, смрадную яму! Неужели это втягиваніе уже началось, и неужели потому только она и могла вытерпѣть до сихъ поръ, что порокъ уже не кажется ей такъ отвратительнымъ?

Нѣтъ, нѣтъ, быть того не можетъ! — восклицалъ онъ, какъ давеча Соня; — нѣтъ, отъ канавы удерживала ее до сихъ поръ мысль о грѣхѣ, и *они, тѣ* . . . Если же она до сихъ поръ еще не сошла съ ума . . . Но кто же сказалъ, что она не сошла уже съ ума? Развѣ она въ здравомъ разсудкѣ? Развѣ такъ можно говорить, какъ она? Развѣ въ здравомъ разсудкѣ такъ можно разсуждать, какъ она? Развѣ такъ можно сидѣть надъ погибелью, прямо надъ смрадною ямой, въ которую уже ее втягиваетъ, и махать руками, и уши затыкать, когда ей говорятъ объ опасности? Что она, ужъ не чуда ли ждетъ? И навѣрно такъ. Развѣ все это не признаки помѣшательства?»

Онъ съ упорствомъ остановился на этой мысли. Этотъ исходъ ему даже болѣе нравился, чѣмъ всякій другой. Онъ началъ пристальнѣе всматриваться въ нее.

— Такъ ты очень молишься Богу-то, Соня? — спросилъ онъ ее.

Соня молчала, онъ стоялъ подлѣ нея и ждалъ отвѣта.

— Что жъ бы я безъ Бога-то была? — быстро, энергически прошептала она, мелькомъ вскинувъ на него вдругъ засверкавшими глазами, и крѣпко стиснула рукой его руку.

«Ну, такъ и есть!» — подумалъ онъ.

— А тебѣ Богъ что за это дѣлаетъ? — спросилъ онъ, выпытывая дальше.

Соня долго молчала, какъ бы не могла отвѣчать. Слабенькая грудь ея колыхалась отъ волненія.

— Молчите! Не спрашивайте! Вы не стоите! . . — вскрикнула она вдругъ, строго и гнѣвно смотря на него.

«Такъ и есть! Такъ и есть!» — повторялъ онъ настойчиво про себя.

— Все дѣлаетъ! — быстро прошептала она, опять потупившись.

«Вотъ и исходъ! Вотъ и объясненіе исхода!» — рѣшилъ онъ про себя, съ жаднымъ любопытствомъ разсматривая ее.

Съ новымъ страннымъ, почти болѣзненнымъ чувствомъ всматривался онъ въ это блѣдное, худое и неправильное угловатое личико, въ эти кроткіе, голубые глаза, могущіе сверкать такимъ огнемъ, такимъ суровымъ энергическимъ чувствомъ, въ это маленькое тѣло, еще дрожавшее отъ негодованія и гнѣва, и все это казалось ему болѣе страннымъ, почти невозможнымъ. «Юродивая! Юродивая!» — твердилъ онъ про себя.

На комодѣ лежала какая-то книга. Онъ каждый разъ, проходя взадъ и впередъ, замѣчалъ ее, теперь же взялъ и посмотрѣлъ. Это былъ Новый Завѣтъ въ русскомъ переводѣ. Книга была старая, подержанная, въ кожаномъ переплетѣ.

— Это откуда? — крикнулъ онъ ей черезъ комнату. Она стояла все на томъ же мѣстѣ, въ трехъ шагахъ отъ стола.

— Мнѣ принесли, — отвѣтила она, будто нехотя и не взглядывая на него.

— Кто принесъ?

— Лизавета принесла, я просила.

«Лизавета! Странно!» — подумалъ онъ. Все у Сони становилось для него какъ-то страннѣе и чудеснѣе, съ каждою минутой. Онъ перенесъ книгу къ свѣчѣ и сталъ перелистывать.

— Гдѣ тутъ про Лазаря? — спросилъ онъ вдругъ.

Соня упорно глядѣла въ землю и не отвѣчала. Она стояла немного бокомъ къ столу.

— Про воскресеніе Лазаря гдѣ? Отыщи мнѣ, Соня.

Она искоса глянула на него.

— Не тамъ смотрите... въ четвертомъ Евангеліи!... — сурово прошептала она, не подвигаясь къ нему.

— Найди и прочти мнѣ, — сказалъ онъ, сѣлъ, облокотился на столъ, подперъ рукой голову и угрюмо уставился въ сторону, приготовившись слушать.

«Недѣли черезъ три на седьмую версту, милости просимъ! Я, кажется, самъ тамъ буду, если еще хуже не будетъ», — бормоталъ онъ про себя.

Соня нерѣшительно ступила къ столу, недовѣрчиво выслушавъ странное желаніе Раскольникова. Впрочемъ, взяла книгу.

— Развѣ вы не читали? — спросила она, глянувъ на него черезъ столъ исподлобья. Голосъ ея становился все суровѣе и суровѣе.

— Давно... Когда учился. Читай!

— А въ церкви не слыхали?

— Я... не ходилъ. А ты часто ходишь?

— Н-нѣтъ, — прошептала Соня.

Раскольниковъ усмѣхнулся.

— Понимаю... И отца, стало быть, завтра не пойдешь хоронить?

— Пойду. Я и на прошлой недѣлѣ была... панихиду служила.

— По комъ?

— По Лизаветѣ. Ее топоромъ убили.

Нервы его раздражались все болѣе и болѣе. Голова начинала кружиться.

— Ты съ Лизаветой дружна была?

— Да... Она была справедливая... она приходила... рѣдко... нельзя было. Мы съ ней читали и... говорили. Она Бога узритъ.

Странно звучали для него эти книжныя слова, и опять новость: какія-то таинственныя сходки съ Лизаветой, и обѣ — юродивыя.

«Тутъ и самъ станешь юродивымъ! Заразительно!» — подумалъ онъ. — Читай! — воскликнулъ онъ вдругъ настойчиво и раздражительно.

Соня все колебалась. Сердце ея стучало. Не смѣла какъ-то она ему читать. Почти съ мученіемъ смотрѣлъ онъ на «несчастную помѣшанную».

— Зачѣмъ вамъ? Вѣдь вы не вѣруете?.. — прошептала она тихо и какъ-то задыхаясь.

— Читай! Я такъ хочу! — настаивалъ онъ, — читала же Лизаветѣ.

Соня развернула книгу и отыскала мѣсто. Руки ея дрожали, голосу не хватало. Два раза начинала она, и все не выговаривалось перваго слога.

«Былъ же боленъ нѣкто Лазарь, изъ Виѳаніи»... — произнесла она, наконецъ, съ усиліемъ, но вдругъ, съ третьяго слова, голосъ зазвенѣлъ и порвался, какъ слишкомъ натянутая струна. Духъ пересѣкло, и въ груди стѣснилось.

Раскольниковъ понималъ отчасти, почему Соня не рѣшалась ему читать, и чѣмъ болѣе понималъ это, тѣмъ какъ бы грубѣе и раздражительнѣе настаивалъ на чтеніи. Онъ слишкомъ хорошо понималъ, какъ тяжело было ей теперь выдавать и обличать все *свое*. Онъ понялъ, что чувства эти, дѣйствительно, какъ бы составляли настоящую и уже давнишнюю, можетъ быть, *тайну* ея, можетъ быть, еще съ самаго отрочества, еще въ семьѣ,

подлѣ несчастнаго отца и сумасшедшей отъ горя мачехи, среди голодныхъ дѣтей, безобразныхъ криковъ и попрековъ. Но въ то же время онъ узналъ теперь, и узналъ навѣрно, что хоть и тосковала она, и боялась чего-то ужасно, принимаясь теперь читать, но что вмѣстѣ съ тѣмъ ей мучительно самой хотѣлось прочесть, несмотря на всю тоску и на всѣ опасенія, и именно *ему*, чтобъ онъ слышалъ, и непремѣнно теперь, — «что бы тамъ ни вышло потомъ!» . . . Онъ прочелъ это въ ея глазахъ, понялъ изъ ея восторженнаго волненія . . . Она пересилила себя, подавила горловую спазму, пресѣкшую въ началѣ стиха ея голосъ, и продолжала чтеніе одиннадцатой главы Евангелія Іоаннова. Такъ дочла она до 19-го стиха:

«И многіе изъ Іудеевъ пришли къ Марѳѣ и Ма«ріи утѣшать ихъ въ печали о братѣ ихъ. Марѳа «услыша, что идетъ Іисусъ, пошла навстрѣчу Ему; «Марія же сидѣла дома. Тогда Марѳа сказала Іису«су: Господи! если бы Ты былъ здѣсь, не умеръ бы «братъ мой. Но и теперь знаю, что чего Ты по«просишь у Бога, дастъ Тебѣ Богъ».

Тутъ она остановилась опять, стыдливо предчувствуя, что дрогнетъ и порвется опять ея голосъ . . .

«Іисусъ говоритъ ей: воскреснетъ братъ Твой. «Марѳа сказала Ему: знаю, что воскреснетъ въ «воскресеніе, въ послѣдній день. Іисусъ сказалъ «ей: *Я есмь воскресеніе и жизнь;* вѣрующій въ «Меня, если и умретъ, оживетъ. И всякій живущій «и вѣрующій въ Меня, не умретъ вовѣкъ. Вѣришь «ли сему? Она говоритъ Ему:

(и какъ бы съ болью переведя духъ, Соня раздѣльно и съ силою прочла, точно сама во всеуслышаніе исповѣдовала):

«Такъ, Господи! Я вѣрую, что Ты Христосъ, «Сынъ Божій, грядущій въ міръ».

Она было остановилась, быстро подняла было на *него* глаза, но поскорѣй пересилила себя и стала читать далѣе. Раскольниковъ сидѣлъ и слушалъ неподвижно, не оборачиваясь, облокотясь на столъ и смотря въ сторону. Дочли до 32-го стиха.

«Марія же, пришедши туда, гдѣ былъ Іисусъ, и «увидѣвъ Его, пала къ ногамъ Его; и сказала Ему: «Господи! если бы Ты былъ здѣсь, не умеръ бы «братъ мой. Іисусъ, когда увидѣлъ ее плачущую «и пришедшихъ съ нею Іудеевъ плачущими, Самъ «возскорбѣлъ духомъ и возмутился. И сказалъ: «гдѣ вы положили его? Говорятъ Ему: Господи! «поди и посмотри. Іисусъ прослезился. Тогда «Іудеи говорили: смотри, какъ Онъ любилъ его. А «нѣкоторые изъ нихъ сказали: не могъ ли Сей, от«верзшій очи слѣпому, сдѣлать, чтобъ и этотъ не «умеръ?»

Раскольниковъ обернулся къ ней и съ волненіемъ смотрѣлъ на нее: Да такъ и есть! Она уже вся дрожала въ дѣйствительной, настоящей лихорадкѣ. Онъ ожидалъ этого. Она приближалась къ слову о величайшемъ и неслыханномъ чудѣ, и чувство великаго торжества охватило ее. Голосъ ея сталъ звонокъ, какъ металлъ; торжество и радость звучали въ немъ и крѣпили его. Строчки мѣшались передъ ней, потому что въ глазахъ темнѣло, но она знала наизусть, что̀ читала. При послѣднемъ стихѣ: «не могъ ли Сей, отверзшій очи слѣпому» . . .— она, понизивъ голосъ, горячо и страстно передала сомнѣніе, укоръ и хулу невѣрующихъ, слѣпыхъ Іудеевъ, которые сейчасъ, черезъ минуту, какъ громомъ пораженные, падутъ, зарыдаютъ и увѣру-

ютъ . . . «И *онъ, онъ* — тоже ослѣпленный и невѣрующій, онъ тоже сейчасъ услышитъ, онъ тоже увѣруетъ, да, да! сейчасъ же, теперь же», мечталось ей, и она дрожала отъ радостнаго ожиданія.

«Іисусъ же, опять скорбя внутренно, проходитъ «ко гробу. То была пещера, и камень лежалъ на «ней. Іисусъ говоритъ: Отнимите камень. Сестра «умершаго, Марѳа, говоритъ Ему: Господи! уже «смердитъ; ибо *четыре* дни, какъ онъ во гробѣ».

Она энергично ударила на слово: *четыре.*

«Іисусъ говоритъ ей: не сказалъ ли Я тебѣ, что «если будешь вѣровать, увидишь славу Божію? «Итакъ отняли камень отъ пещеры, гдѣ лежалъ «умершій. Іисусъ же возвелъ очи къ небу и ска«залъ: Отче, благодарю Тебя, что Ты услышалъ «Меня. Я и зналъ, что Ты всегда услышишь Меня; «но сказалъ сіе для народа здѣсь стоящаго, чтобы «повѣрили, что Ты послалъ меня. Сказавъ сіе, воз«звалъ громкимъ голосомъ: Лазарь! иди вонъ. *И вышелъ умершій . . .*

(Громко и восторженно прочла она, дрожа и холодѣя, какъ бы воочію сама видѣла):

« . . . обвитый по рукамъ и ногамъ погребальными «пеленами; и лице его обвязано было платкомъ. «Іисусъ говоритъ имъ: развяжите его; пусть идетъ.

«*Тогда многіе изъ Іудеевъ, пришедшихъ къ Ма«ріи и видѣвшихъ, что сотворилъ Іисусъ, увѣровали «въ Него*».

Далѣе она не читала и не могла читать, закрыла книгу и быстро встала со стула.

— Все объ воскресеніи Лазаря, — отрывисто и сурово прошептала она и стала неподвижно, отвернувшись въ сторону, не смѣя и какъ бы стыдясь поднять на него глаза. Лихорадочная дрожь ея еще

продолжалась. Огарокъ уже давно погасалъ въ кривомъ подсвѣчникѣ, тускло освѣщая въ этой нищенской комнатѣ убійцу и блудницу, странно сошедшихся за чтеніемъ вѣчной книги. Прошло минутъ пять или болѣе.

— Я о дѣлѣ пришелъ говорить, — громко и нахмурившись проговорилъ вдругъ Раскольниковъ, всталъ и подошелъ къ Сонѣ. Та молча подняла на него глаза. Взглядъ его былъ особенно суровъ, и какая-то дикая рѣшимость выражалась въ немъ.

— Я сегодня родныхъ бросилъ, — сказалъ онъ, — мать и сестру. Я не пойду къ нимъ теперь. Я тамъ все разорвалъ.

— Зачѣмъ? — какъ ошеломленная спросила Соня. Давешняя встрѣча съ его матерью и сестрой оставила въ ней необыкновенное впечатлѣніе, хотя и самой ей неясное. Извѣстіе о разрывѣ выслушала она почти съ ужасомъ.

— У меня теперь одна ты, — прибавилъ онъ. — Пойдемъ вмѣстѣ . . . Я пришелъ къ тебѣ. Мы вмѣстѣ прокляты, вмѣстѣ и пойдемъ!

Глаза его сверкали. «Какъ полоумный!» подумала въ свою очередь Соня.

— Куда идти? — въ страхѣ спросила она и невольно отступила назадъ.

— Почему жъ я знаю? Знаю только, что по одной дорогѣ, навѣрно, знаю, — и только. Одна цѣль!

Она смотрѣла на него и ничего не понимала. Она понимала только, что онъ ужасно, безконечно несчастенъ.

— Никто ничего не пойметъ изъ нихъ, если ты будешь говорить имъ, — продолжалъ онъ, — а я понялъ. Ты мнѣ нужна, потому я къ тебѣ и пришелъ.

— Не понимаю... — прошептала Соня.

— Потомъ поймешь. Развѣ ты не то же сдѣлала. Ты тоже переступила... смогла переступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь... *свою* (это все равно!). Ты могла бы жить духомъ и разумомъ, а кончишь на Сѣнной... Но ты выдержать не можешь, и если останешься *одна,* сойдешь съ ума, какъ и я. Ты ужъ и теперь какъ помѣшанная; стало быть, намъ вмѣстѣ идти, по одной дорогѣ! Пойдемъ!

— Зачѣмъ? Зачѣмъ вы это! — проговорила Соня, странно и мятежно взволнованная его словами.

— Зачѣмъ? Потому что такъ нельзя оставаться — вотъ зачѣмъ! Надо же, наконецъ, разсудить серьезно и прямо, а не по-дѣтски плакать и кричать, что Богъ не допуститъ! Ну что будетъ, если въ самомъ дѣлѣ тебя завтра въ больницу свезутъ? Та не въ умѣ и чахоточная, умретъ скоро, а дѣти? Развѣ Полечка не погибнетъ? Неужели не видала ты здѣсь дѣтей, по угламъ, которыхъ матери милостыню высылаютъ просить? Я узналъ, гдѣ живутъ эти матери и въ какой обстановкѣ. Тамъ дѣтямъ нельзя оставаться дѣтьми. Тамъ семилѣтній развратенъ и воръ. А вѣдь дѣти — образъ Христовъ: «Сихъ есть царствіе Божіе». Онъ велѣлъ ихъ чтить и любить, они будущее человѣчество...

— Что же, что же дѣлать? — истерически плача и ломая руки, повторяла Соня.

— Что дѣлать? Сломать что надо, разъ навсегда, да и только: и страданіе взять на себя! Что? Не понимаешь? Послѣ поймешь... Свободу и власть, а главное власть! Надъ всею дрожащею

тварью и надъ всѣмъ муравейникомъ!.. Вотъ цѣль! Помни это! Это мое тебѣ напутствіе! Можетъ, я съ тобой въ послѣдній разъ говорю. Если не приду завтра, услышишь про все сама, и тогда припомни эти теперешнія слова. И когда-нибудь, потомъ, черезъ годы, съ жизнью, можетъ, и поймешь, что они значили. Если же приду завтра, то скажу тебѣ, кто убилъ Лизавету. Прощай!

Соня вся вздрогнула отъ испуга.

— Да развѣ вы знаете, кто убилъ? — спросила она, леденѣя отъ ужаса и дико смотря на него.

— Знаю и скажу... Тебѣ, одной тебѣ! Я тебя выбралъ. Я не прощенія приду просить къ тебѣ, я просто скажу. Я тебя давно выбралъ, чтобъ это сказать тебѣ, еще тогда, когда отецъ про тебя говорилъ, и когда Лизавета была жива, я это подумалъ. Прощай. Руки не давай. Завтра!

Онъ вышелъ. Соня смотрѣла на него какъ на помѣшаннаго; но она и сама была какъ безумная и чувствовала это. Голова у ней кружилась. «Господи! Какъ онъ знаетъ, кто убилъ Лизавету? Что значили эти слова? Страшно это!» Но въ то же время *мысль* не приходила ей въ голову. Никакъ! Никакъ!.. «О, онъ долженъ быть ужасно несчастенъ!.. Онъ бросилъ мать и сестру. Зачѣмъ? Что было? И что у него въ намѣреніяхъ? Что это онъ ей говорилъ? Онъ ей поцѣловалъ ногу и говорилъ... говорилъ (да, онъ ясно это сказалъ), что безъ нея уже жить не можетъ... О, Господи!»

Въ лихорадкѣ и въ бреду провела всю ночь Соня. Она вскакивала иногда, плакала, руки ломала, то забывалась опять лихорадочнымъ сномъ, и ей снились Полечка, Катерина Ивановна, Лизавета, чтеніе Евангелія и онъ... онъ, съ его блѣднымъ ли-

цомъ, съ горящими глазами... Онъ цѣлуетъ ей ноги, плачетъ... О, Господи!

За дверью справа, за тою самою дверью, которая отдѣляла квартиру Сони отъ квартиры Гертруды Карловны Ресслихъ, была комната промежуточная, давно уже пустая, принадлежавшая къ квартирѣ г-жи Ресслихъ и отдававшаяся отъ нея въ наемъ, о чемъ и выставлены были ярлычки на воротахъ и наклеены бумажечки на стеклахъ оконъ, выходившихъ на канаву. Соня издавна привыкла считать эту комнату необитаемою. А между тѣмъ, все это время, у двери въ пустой комнатѣ, простоялъ господинъ Свидригайловъ и притаившись подслушивалъ. Когда Раскольниковъ вышелъ, онъ постоялъ, подумалъ, сходилъ на ципочкахъ въ свою комнату, смежную съ пустою комнатой, досталъ стулъ и неслышно перенесъ его къ самымъ дверямъ, ведущимъ въ комнату Сони. Разговоръ показался ему занимательнымъ и знаменательнымъ, и очень, очень понравился, — до того понравился, что онъ и стулъ перенесъ, чтобы на будущее время, хоть завтра, напримѣръ, не подвергаться опять непріятности простоять цѣлый часъ на ногахъ, а устроиться покомфортнѣе, чтобъ ужъ во всѣхъ отношеніяхъ получить полное удовольствіе.

V.

Когда на другое утро, ровно въ одиннадцать часовъ Раскольниковъ вошелъ въ домъ —й части, въ отдѣленіе пристава слѣдственныхъ дѣлъ, и попросилъ доложить о себѣ Порфирію Петровичу, то онъ даже удивился тому, какъ долго не принимали его: прошло, по крайней мѣрѣ, десять минутъ, пока его

позвали. А по его расчету должны бы были, кажется, такъ сразу на него и наброситься. Между тѣмъ, онъ стоялъ въ пріемной, а мимо него ходили и проходили люди, которымъ, повидимому, никакого до него не было дѣла. Въ слѣдующей комнатѣ, похожей на канцелярію, сидѣло и писало нѣсколько писцовъ, и очевидно было, что никто изъ нихъ даже понятія не имѣлъ: кто и что̀ такое Раскольниковъ? Безпокойнымъ и подозрительнымъ взглядомъ слѣдилъ онъ кругомъ себя, высматривая: нѣтъ ли около него хоть какого-нибудь конвойнаго, какого-нибудь таинственнаго взгляда, назначеннаго его стеречь, чтобъ онъ куда не ушелъ? Но ничего подобнаго не было: онъ видѣлъ только одни канцелярскія, мелко-озабоченныя лица, потомъ еще какихъ-то людей, и никому-то не было до него никакой надобности: хоть иди онъ сейчасъ же на всѣ четыре стороны. Все тверже и тверже укрѣплялась въ немъ мысль, что если бы, дѣйствительно, этотъ загадочный вчерашній человѣкъ, этотъ призракъ, явившійся изъ-подъ земли, все зналъ и все видѣлъ, — такъ развѣ дали бы ему, Раскольникову, такъ стоять теперь и спокойно ждать? И развѣ ждали бы его здѣсь до одиннадцати часовъ, пока ему самому заблагоразсудилось пожаловать? Выходило, что или тотъ человѣкъ еще ничего не донесъ, или . . . или просто онъ ничего тоже не знаетъ и самъ, своими глазами ничего не видалъ (да и какъ онъ могъ видѣть?), а, стало быть, все это, вчерашнее, случившееся съ нимъ, Раскольниковымъ, опять-таки было призракъ, преувеличенный раздраженнымъ и больнымъ воображеніемъ его. Эта догадка, еще даже вчера, во время самыхъ сильныхъ тревогъ и отчаянія, начала укрѣпляться въ немъ.

Передумавъ все это теперь и готовясь къ новому бою, онъ почувствовалъ вдругъ, что дрожитъ, — и даже негодованіе закипѣло въ немъ при мысли, что онъ дрожитъ отъ страха передъ ненавистнымъ Порфиріемъ Петровичемъ. Всего ужаснѣе было для него встрѣтиться съ этимъ человѣкомъ опять: онъ ненавидѣлъ его безъ мѣры, безконечно, и даже боялся своею ненавистью какъ-нибудь обнаружить себя. И такъ сильно было его негодованіе, что тотчасъ же прекратило дрожь; онъ приготовился войти съ холоднымъ и дерзкимъ видомъ и далъ себѣ слово какъ можно больше молчать, вглядываться и, хоть на этотъ разъ, по крайней мѣрѣ, во что́ бы то ни стало побѣдить болѣзненно раздраженную натуру свою. Въ это самое время его позвали къ Порфирію Петровичу.

Оказалось, что въ эту минуту Порфирій Петровичъ былъ у себя въ кабинетѣ одинъ. Кабинетъ его была комната ни большая, ни маленькая; стояли въ ней: большой письменный столъ передъ диваномъ, обитымъ клеенкой, бюро, шкафъ въ углу и нѣсколько стульевъ, — все казенной мебели, изъ желтаго отполированнаго дерева. Въ углу, въ задней стѣнѣ, или лучше сказать въ перегородкѣ, была запертая дверь: тамъ далѣе, за перегородкой, должны были, стало быть, находиться еще какія-то комнаты. При входѣ Раскольникова, Порфирій Петровичъ тотчасъ же притворилъ дверь, въ которую тотъ вошелъ, и они остались наединѣ. Онъ встрѣтилъ своего гостя, повидимому, съ самымъ веселымъ и привѣтливымъ видомъ, и только уже нѣсколько минутъ спустя, Раскольниковъ, по нѣкоторымъ признакамъ, замѣтилъ въ немъ какъ бы замѣшательство, — точно его вдругъ сбили съ толку или за-

стали на чемъ-нибудь очень уединенномъ и скрытномъ.

— А, почтеннѣйшій! Вотъ и вы . . . въ нашихъ краяхъ . . . — началъ Порфирій, протянувъ ему обѣ руки. — Ну, садитесь-ка батюшка! Али вы, можетъ, не любите, чтобы васъ называли почтеннѣйшимъ и . . . батюшкой, — этакъ tout court? За фамильярность, пожалуйста, не считайте . . . Вотъ сюда-съ, на диванчикъ.

Раскольниковъ сѣлъ, не сводя съ него глазъ.

«Въ нашихъ краяхъ», извиненія въ фамильярности, французское словцо «tout court» и проч., и проч.— все это были признаки характерные. «Онъ, однакожъ, мнѣ обѣ руки-то протянулъ, а ни одной вѣдь не далъ, отнялъ во-время» — мелькнуло въ немъ подозрительно. Оба слѣдили другъ за другомъ, но только что взгляды ихъ встрѣчались, оба, съ быстротою молніи, отводили ихъ одинъ отъ другого.

— Я вамъ принесъ эту бумажку... объ часахъ-то . . . вотъ-съ. Такъ ли написано, или опять переписывать?

— Что? Бумажка? Такъ, такъ . . . не безпокойтесь, такъ точно-съ, — проговорилъ, какъ бы спѣша куда-то, Порфирій Петровичъ и, уже проговоривъ это, взялъ бумагу и просмотрѣлъ ее. — Да, точно такъ-съ. Больше ничего и не надо, — подтвердилъ онъ тою же скороговоркой и положилъ бумагу на столъ. Потомъ, черезъ минуту, уже говоря о другомъ, взялъ ее опять со стола и переложилъ къ себѣ на бюро.

— Вы, кажется, говорили вчера, что желали бы спросить меня . . . форменно . . . о моемъ знакомствѣ съ этой . . . убитой? — началъ было опять Раскольниковъ, — «ну зачѣмъ я вставилъ *кажется?*»

промелькнуло въ немъ, какъ молнія. «Ну зачѣмъ я такъ безпокоюсь о томъ, что вставилъ это *кажется?*» мелькнула въ немъ тотчасъ же другая мысль, какъ молнія.

И онъ вдругъ ощутилъ, что мнительность его, отъ одного соприкосновенія съ Порфиріемъ, отъ двухъ только словъ, отъ двухъ только взглядовъ, уже разрослась въ одно мгновеніе въ чудовищные размѣры... и что это страшно опасно: нервы раздражаются, волненіе увеличивается. «Бѣда! Бѣда!... Опять проговорюсь».

— Да-да-да! Не безпокойтесь! Время терпитъ, время терпитъ-съ, — бормоталъ Порфирій Петровичъ, похаживая взадъ и впередъ около стола, но какъ-то безъ всякой цѣли, какъ бы кидаясь то къ окну, то къ бюро, то опять къ столу, то избѣгая подозрительнаго взгляда Раскольникова, то вдругъ самъ останавливаясь на мѣстѣ и глядя на него прямо въ упоръ. Чрезвычайно странною казалась при этомъ его маленькая, толстенькая и круглая фигурка, какъ будто мячикъ, катавшійся въ разныя стороны и тотчасъ отскакивавшій отъ всѣхъ стѣнъ и угловъ.

— Успѣемъ-съ, успѣемъ-съ!.. А вы курите? Есть у васъ? Вотъ-съ, папиросочка-съ, — продолжалъ онъ, подавая гостю папироску... — Знаете, я принимаю васъ здѣсь, а вѣдь квартира-то моя вотъ тутъ же, за перегородкой... казенная-съ, а я теперь на вольной, на время. Поправочки надо было кой-какія устроить. Теперь почти готово... казенная квартира, знаете, это славная вещь, — а? Какъ вы думаете?

— Да, славная вещь, — отвѣтилъ Раскольниковъ, почти съ насмѣшкой смотря на него.

— Славная вещь, славная вещь... — повторялъ Порфирій Петровичъ, какъ будто задумавшись вдругъ о чемъ-то совсѣмъ другомъ, — да! славная вещь! — чуть не вскрикнулъ онъ подъ конецъ, вдругъ вскинувъ глаза на Раскольникова и останавливаясь въ двухъ шагахъ отъ него. Это многократное глупенькое повтореніе, что казенная квартира славная вещь, слишкомъ, по пошлости своей, противорѣчило съ серьезнымъ, мыслящимъ и загадочнымъ взглядомъ, который онъ устремилъ теперь на своего гостя.

Но это еще болѣе подкипятило злобу Раскольникова, и онъ уже никакъ не могъ удержаться отъ насмѣшливаго и довольно неосторожнаго вызова:

— А знаете что́, — спросилъ онъ вдругъ, почти дерзко смотря на него и какъ бы ощущая отъ своей дерзости наслажденіе, — вѣдь это существуетъ, кажется, такое юридическое правило, такой пріемъ юридическій — для всѣхъ возможныхъ слѣдователей — сперва начать издалека, съ пустячковъ, или даже съ серьезнаго, но только совсѣмъ посторонняго, чтобы, такъ сказать, ободрить, или, лучше сказать, развлечь допрашиваемаго, усыпить его осторожность, и потомъ вдругъ, неожиданнѣйшимъ образомъ огорошить его въ самое темя какимъ-нибудь самымъ роковымъ и опаснымъ вопросомъ: такъ ли? Объ этомъ, кажется, во всѣхъ правилахъ и наставленіяхъ до сихъ поръ свято упоминается?

— Такъ, такъ... что жъ, вы думаете, это я васъ казенной-то квартирой того... а? — И сказавъ это, Порфирій Петровичъ прищурился, подмигнулъ; что-то веселое и хитрое пробѣжало по лицу его, морщинки на его лбу разгладились, глазки сузились, черты лица растянулись, и онъ вдругъ

залился нервнымъ, продолжительнымъ смѣхомъ, волнуясь и колыхаясь всѣмъ тѣломъ и прямо смотря въ глаза Раскольникову. Тотъ засмѣялся было самъ, нѣсколько принудивъ себя; но когда Порфирій, увидя, что и онъ тоже смѣется, закатился уже такимъ смѣхомъ, что почти побагровѣлъ, то отвращеніе Раскольникова вдругъ перешло всю осторожность: онъ пересталъ смѣяться, нахмурился и долго и ненавистно смотрѣлъ на Порфирія, не спуская съ него глазъ, во все время его длиннаго и какъ бы съ намѣреніемъ непрекращавшагося смѣха. Неосторожность была впрочемъ явная съ обѣихъ сторонъ: выходило, что Порфирій Петровичъ какъ будто смѣется въ глаза надъ своимъ гостемъ, принимающимъ этотъ смѣхъ съ ненавистью, и очень мало конфузится отъ этого обстоятельства. Послѣднее было очень знаменательно для Раскольникова: онъ понялъ, что вѣрно Порфирій Петровичъ и давеча совсѣмъ не конфузился, а, напротивъ, самъ онъ, Раскольниковъ, попался, пожалуй, въ капканъ; что тутъ явно существуетъ что-то, чего онъ не знаетъ, какая-то цѣль; что, можетъ, все уже подготовлено и сейчасъ, сію минуту обнаружится и обрушится...

Онъ тотчасъ же пошелъ прямо къ дѣлу, всталъ съ мѣста и взялъ фуражку:

— Порфирій Петровичъ, — началъ онъ рѣшительно, но съ довольно сильною раздражительностью, — вы вчера изъявили желаніе, чтобъ я пришелъ для какихъ-то допросовъ. (Онъ особенно упеpъ на слово: *допросовъ.)* Я пришелъ, и если вамъ надо что, такъ спрашивайте, не то позвольте ужъ мнѣ удалиться. Мнѣ некогда, у меня дѣло... Мнѣ надо быть на похоронахъ того самаго разда-

вленнаго лошадьми чиновника, про котораго вы... тоже знаете... — прибавилъ онъ тотчасъ же разсердившись за это прибавленіе, а потомъ тотчасъ же еще болѣе раздражившись: — мнѣ это все надоѣло-съ, слышите ли, и давно уже... я отчасти отъ этого и боленъ былъ... однимъ словомъ, — почти вскрикнулъ онъ, почувствовавъ, что фраза о болѣзни еще болѣе некстати, — однимъ словомъ: извольте или спрашивать меня, или отпустить, сейчасъ же... а если спрашивать, то не иначе, какъ по формѣ-съ! Иначе не дозволю; а потому покамѣстъ прощайте, такъ какъ намъ вдвоемъ теперь нечего дѣлать.

— Господи! Да что́ вы это! Да объ чемъ васъ спрашивать, — закудахталъ вдругъ Порфирій Петровичъ, тотчасъ же измѣняя и тонъ, и видъ и мигомъ переставъ смѣяться, — да не безпокойтесь пожалуйста, — хлопоталъ онъ, то опять бросаясь во всѣ стороны, то вдругъ принимаясь усаживать Раскольникова, — время терпитъ, время терпитъ-съ, и все это одни пустяки-съ! Я, напротивъ, такъ радъ, что вы, наконецъ-то, къ намъ прибыли... Я какъ гостя васъ принимаю. А за этотъ смѣхъ проклятый вы, батюшка, Родіонъ Романовичъ, меня извините. — Родіонъ Романовичъ? Вѣдь такъ, кажется, васъ по батюшкѣ-то?.. Нервный человѣкъ-съ, разсмѣшили вы меня очень остротою вашего замѣчанія; иной разъ, право, затрясусь, какъ гумиластикъ, да этакъ на полчаса... Смѣшливъ-съ. По комплекціи моей даже паралича боюсь Да садитесь же, что вы?.. Пожалуйста, батюшка, а то подумаю, что вы разсердились...

Раскольниковъ молчалъ, слушалъ и наблюдалъ,

все еще гнѣвно нахмурившись. Онъ, впрочемъ, сѣлъ, но не выпуская изъ рукъ фуражки.

— Я вамъ одну вещь, батюшка, Родіонъ Романовичъ, скажу про себя, такъ сказать въ объясненіе характеристики, — продолжалъ, суетясь по комнатѣ, Порфирій Петровичъ и, попрежнему, какъ бы избѣгая встрѣтиться глазами съ своимъ гостемъ. — Я, знаете, человѣкъ холостой, этакъ несвѣтскій и неизвѣстный, и къ тому же законченный человѣкъ, закоченѣлый человѣкъ-съ, въ сѣмя пошелъ и... и... и замѣтили ль вы, Родіонъ Романовичъ, что у насъ, то есть у насъ въ Россіи-съ, и всего болѣе въ нашихъ петербургскихъ кружкахъ, если два умные человѣка, не слишкомъ еще между собою знакомые, но такъ сказать взаимно другъ друга уважающіе, вотъ какъ мы теперь съ вами-съ, сойдутся вмѣстѣ, то цѣлыхъ полчаса никакъ не могутъ найти темы для разговора, — коченѣютъ другъ передъ другомъ, сидятъ и взаимно конфузятся. У всѣхъ есть тема для разговора, у дамъ, напримѣръ... у свѣтскихъ, напримѣръ, людей, высшаго тона, всегда есть разговорная тема, c'est de rigueur, а средняго рода люди, какъ мы — всѣ конфузливы и не разговорчивы... мыслящіе то есть. Отчего это, батюшка, происходитъ-съ? Интересовъ общественныхъ, что ли, нѣтъ-съ, али честны ужъ мы очень и другъ друга обманывать не желаемъ, не знаю-съ. А? Какъ вы думаете? Да фуражечку-то отложите-съ, точно уйти сейчасъ собираетесь, право, неловко смотрѣть... Я, напротивъ, такъ радъ-съ...

Раскольниковъ положилъ фуражку, продолжая молчать и серьезно, нахмуренно вслушиваться въ пустую и сбивчивую болтовню Порфирія. «Да что

онъ, въ самомъ дѣлѣ что ли хочетъ вниманіе мое развлечь глупою своей болтовней?»

— Кофеемъ васъ не прошу-съ, не мѣсто; но минутокъ пять времени почему не посидѣть съ пріятелемъ, для развлеченія, — не умолкая сыпалъ Порфирій, — и знаете-съ, всѣ эти служебныя обязанности... да вы, батюшка, не обижайтесь, что я вотъ все хожу-съ, взадъ да впередъ; извините, батюшка, обидѣть васъ ужъ очень боюсь, а моціонъ такъ мнѣ просто необходимъ-съ. Все сижу и ужъ такъ радъ походить минутъ пять... геммороей-съ... все гимнастикой собираюсь лѣчиться; тамъ, говорятъ, статскіе, дѣйствительные статскіе и даже тайные совѣтники охотно черезъ веревочку прыгаютъ-съ; вонъ оно какъ, наука-то, въ нашемъ вѣкѣ-съ... такъ-съ... А насчетъ этихъ здѣшнихъ обязанностей, допросовъ и всей этой формалистики... вотъ вы, батюшка, сейчасъ упомянуть изволили сами о допросахъ-съ... такъ, знаете, дѣйствительно, батюшка, Родіонъ Романовичъ, эти допросы иной разъ самого допросчика больше чѣмъ допрашиваемаго съ толку сбиваютъ... Объ этомъ вы, батюшка, съ совершенною справедливостью и остроуміемъ сейчасъ замѣтить изволили. (Раскольниковъ не замѣчалъ ничего подобнаго.) Запутаешься-съ! Право, запутаешься! и все-то одно и то же, все-то одно и то же, какъ барабанъ! Вонъ реформа идетъ, и мы хоть въ названіи-то будемъ переименованы, хе! хе! хе! А ужъ про пріемы-то наши юридическіе, — какъ остроумно изволили выразиться, — такъ ужъ совершенно вполнѣ съ вами согласенъ-съ. Ну кто же, скажите, изъ всѣхъ подсудимыхъ, даже изъ самаго посконнаго мужичья, не знаетъ, что его, напримѣръ,

сначала начнутъ посторонними вопросами усыплять (по счастливому выраженію вашему), а потомъ вдругъ и огорошатъ въ самое темя, обухомъ-то-съ, хе! хе! хе! въ самое-то темя, по счастливому уподобленію вашему! хе! хе! такъ вы это въ самомъ дѣлѣ подумали, что я квартирой-то васъ хотѣлъ... хе! хе! Ироническій же вы человѣкъ. Ну, не буду! Ахъ да, кстати, одно словцо другое зоветъ, одна мысль другую вызываетъ, — вотъ вы о формѣ тоже давеча изволили упомянуть, насчетъ, знаете, допросика-то-съ... Да что жъ по формѣ! Форма, знаете, во многихъ случаяхъ, вздоръ-съ. Иной разъ только по-дружески поговоришь, анъ и выгоднѣе. Форма никогда не уйдетъ-съ, въ этомъ позвольте мнѣ васъ успокоить-съ; да что́ такое въ сущности форма, я васъ спрошу? Формой нельзя на всякомъ шагу стѣснять слѣдователя. Дѣло слѣдователя, вѣдь это, такъ сказать, свободное художество, въ своемъ родѣ-съ, или въ родѣ того... хе! хе! хе!..

Порфирій Петровичъ перевелъ на минутку духъ. Онъ такъ и сыпалъ, не уставая, то безсмысленно пустыя фразы, то вдругъ пропускалъ какія-то загадочныя словечки и тотчасъ же опять сбивался на безсмыслицу. По комнатѣ онъ уже почти бѣгалъ, все быстрѣй и быстрѣй передвигая свои жирныя ножки, все смотря въ землю, засунувъ правую руку за спину, а лѣвою безпрерывно помахивая и выдѣлывая разные жесты, каждый разъ удивительно не подходившіе къ его словамъ. Раскольниковъ вдругъ замѣтилъ, что, бѣгая по комнатѣ, онъ раза два какъ будто останавливался подлѣ дверей, на одно мгновеніе, и какъ будто прислушивался... «Ждетъ онъ что ли, кого-нибудь?»

— А это вы, дѣйствительно, совершенно пра-

вы-съ, — опять подхватилъ Порфирій, весело, съ необыкновеннымъ простодушіемъ смотря на Раскольникова (отчего тотъ такъ и вздрогнулъ и мигомъ приготовился), — дѣйствительно, правы-съ, что надъ формами-то юридическими съ такимъ остроуміемъ изволили посмѣяться, хе-хе! Ужъ эти (нѣкоторые, конечно) глубокомысленно-психологическіе пріемы-то наши крайне смѣшны-съ, да, пожалуй, и безполезны-съ, въ случаѣ если формой-то очень стѣснены-съ. Да-съ . . . опять-таки я про форму: ну, признавай, или лучше сказать, подозрѣвай я кого-нибудь того, другого, третьяго, такъ сказать за преступника-съ, по какому-нибудь дѣльцу, мнѣ порученному . . . Вы вѣдь въ юристы готовитесь, Родіонъ Романовичъ?

— Да, готовился . . .

— Ну, такъ вотъ вамъ, такъ сказать, и примѣрчикъ на будущее, — то есть не подумайте, чтобъ я васъ учить осмѣлился; эвона вѣдь вы какія статьи о преступленіяхъ печатаете! Нѣтъ-съ, а такъ, въ видѣ факта, примѣрчикъ осмѣлюсь представить, — такъ вотъ считай я, напримѣръ, того, другого, третьяго за преступника, ну зачѣмъ, спрошу, буду я его раньше срока безпокоить, хотя бы я и улики противъ него имѣлъ-съ? Иного я и обязанъ, напримѣръ, заарестовать поскорѣе, а другой вѣдь не такого характера, право-съ; такъ отчего жъ бы и не дать ему погулять по городу, хе-хе-съ! Нѣтъ, вы, я вижу, не совсѣмъ понимаете, такъ я вамъ пояснѣе изображу-съ: посади я его, напримѣръ, слишкомъ рано, такъ вѣдь этимъ я ему, пожалуй, нравственную, такъ сказать, опору придамъ, хе-хе! вы смѣетесь? (Раскольниковъ и не думалъ смѣяться: онъ сидѣлъ стиснувъ губы, не

спуская своего воспаленнаго взгляда съ глазъ Порфирія Петровича.) А между тѣмъ вѣдь это такъ-съ, съ инымъ субъектомъ особенно, потому люди многоразличны, и надъ всѣмъ одна практика-съ. Вы вотъ изволите тепереча говорить: улики; да вѣдь оно, положимъ, улики-съ, да вѣдь улики-то, батюшка, о двухъ концахъ, большею-то частью-съ, а вѣдь я слѣдователь, стало быть, слабый человѣкъ, каюсь: хотѣлось бы слѣдствіе, такъ сказать, математически ясно представить, хотѣлось бы такую улику достать, чтобы на дважды-два четыре походило! На прямое и безспорное доказательство походило бы! А вѣдь засади его не во-время, — хотя бы я былъ и увѣренъ, что это *онъ*, — такъ вѣдь я, пожалуй, самъ у себя средства отниму къ дальнѣйшему его обличенію, а почему? А потому что я ему, такъ сказать, опредѣленное положеніе дамъ, такъ сказать, психологически его опредѣлю и успокою, вотъ онъ и уйдетъ отъ меня въ свою скорлупу: пойметъ, наконецъ, что онъ арестантъ. Говорятъ вонъ, въ Севастополѣ, сейчасъ послѣ Альмы, умные-то люди ухъ какъ боялись, что вотъ-вотъ атакуетъ непріятель открытою силой и сразу возьметъ Севастополь; а какъ увидѣли, что непріятель правильную осаду предпочелъ и первую параллель открываетъ, такъ куды, говорятъ, обрадовались и успокоились умные-то люди-съ: по крайности на два мѣсяца, значитъ, дѣло затянулось, потому, когда-то правильно-то осадой возьмутъ! Опять смѣетесь, опять не вѣрите? Оно, конечно, правы и вы. Правы-съ, правы-съ! Это все частные случаи, согласенъ съ вами; представленный случай, дѣйствительно, частный-съ! Но вѣдь вотъ что при этомъ, добрѣйшій Родіонъ Романо-

вичъ, наблюдать слѣдуетъ: вѣдь общаго-то случая-съ, того самаго, на который всѣ юридическія формы и правила примѣрены и съ котораго они расчитаны и въ книжки записаны, вовсе не существуетъ-съ, по тому самому, что всякое дѣло, всякое, хоть, напримѣръ, преступленіе, какъ только оно случится въ дѣйствительности, тотчасъ же и обращается въ совершенно частный случай-съ; да иногда вѣдь въ какой: таки-таки ни на что́ прежнее не похожій-съ. Прекомическіе иногда случаи случаются въ этомъ родѣ-съ. Да оставь я иного-то господина совсѣмъ одного: не бери я его и не безпокой, но чтобъ зналъ онъ каждый часъ и каждую минуту, или, по крайней мѣрѣ, подозрѣвалъ, что я все знаю, всю подноготную, и денно и нощно слѣжу за нимъ, неусыпно его сторожу, и будь онъ у меня сознательно подъ вѣчнымъ подозрѣніемъ и страхомъ, такъ вѣдь ей Богу закружится, право-съ, самъ придетъ, да, пожалуй, еще и надѣлаетъ чего-нибудь, что уже на дважды-два походить будетъ, такъ сказать, математическій видъ будетъ имѣть, — оно и пріятно-съ. Это и съ мужикомъ сиволапымъ можетъ произойти, а ужъ съ нашимъ братомъ, современно-умнымъ человѣкомъ, да еще въ извѣстную сторону развитымъ, и подавно! Потому, голубчикъ, что весьма важная штука понять, въ которую сторону развитъ человѣкъ. А нервы-то-съ, нервы-то-съ, вы ихъ-то такъ и забыли-съ! Вѣдь все это нынѣ больное, да худое, да раздраженное!.. А желчи-то, желчи въ нихъ во всѣхъ сколько! Да вѣдь это, я вамъ скажу, при случаѣ своего рода рудникъ-съ! И какое мнѣ въ томъ безпокойство, что онъ несвязанный ходитъ по городу! Да пусть, пусть его погуляетъ пока,

пусть; я вѣдь и безъ того знаю, что онъ моя жертвочка и никуда не убѣжитъ отъ меня! Да и куда ему убѣжать, хе-хе! За границу что ли? За границу полякъ убѣжитъ, а не *онъ,* тѣмъ паче, что я слѣжу, да и мѣры принялъ. Въ глубину отечества убѣжитъ что ли? Да вѣдь тамъ мужики живутъ, настоящіе, посконные, русскіе; этакъ вѣдь современно-то развитый человѣкъ скорѣе острогъ предпочтетъ, чѣмъ съ такими иностранцами, какъ мужички наши, жить, хе-хе! Но это все вздоръ и наружное. Что́ такое: убѣжитъ! это форменное; а главное-то не то; не по этому одному онъ не убѣжитъ отъ меня, что некуда убѣжать: онъ у меня *психологически* не убѣжитъ, хе-хе! Каково выраженьице-то! Онъ по закону природы у меня не убѣжитъ, хотя бы даже и было куда убѣжать. Видали бабочку передъ свѣчкой? Ну, такъ вотъ онъ все будетъ, все будетъ около меня, какъ около свѣчки, кружиться; свобода не мила станетъ, станетъ задумываться, запутываться, самъ себя кругомъ запутаетъ, какъ въ сѣтяхъ, затревожитъ себя на смерть!.. Мало того: самъ мнѣ какую-нибудь математическую штучку въ родѣ дважды-двухъ приготовитъ, — лишь дай я ему только антрактъ подлиннѣе... И все будетъ, все будетъ около меня круги давать, все суживая да суживая радіусъ, и — хлопъ! Прямо мнѣ въ ротъ и влетитъ, я его и проглочу-съ, а это ужъ очень пріятно, хе-хе-хе! Вы не вѣрите?

Раскольниковъ не отвѣчалъ, онъ сидѣлъ блѣдный и неподвижный, все съ тѣмъ же напряженіемъ всматриваясь въ лицо Порфирія.

«Урокъ хорошъ!» — думалъ онъ, холодѣя. «Это даже ужъ не кошка съ мышью, какъ вчера было. И

не силу же онъ свою мнѣ безполезно выказываетъ и... подсказываетъ: онъ гораздо для этого умнѣе... Тутъ цѣль другая, какая же? Эй, вздоръ, братъ, пугаешь ты меня и хитришь! Нѣтъ у тебя доказательствъ и не существуетъ вчерашній человѣкъ! А ты просто съ толку сбить хочешь, раздражить меня хочешь преждевременно, да въ этомъ состояніи и прихлопнуть, только врешь, оборвешься, оборвешься! Но зачѣмъ же, зачѣмъ же до такой степени мнѣ подсказывать? . . На больные что ли нервы мои онъ разсчитываетъ! . . Нѣтъ, братъ, врешь, оборвешься, хотя ты что-то и приготовилъ . . . Ну, вотъ и посмотримъ, что такое ты тамъ приготовилъ».

И онъ скрѣпился изо всѣхъ силъ, приготовляясь къ страшной и невѣдомой катастрофѣ. По временамъ ему хотѣлось кинуться и тутъ же на мѣстѣ задушить Порфирія. Онъ еще входя сюда этой злобы боялся. Онъ чувствовалъ, что пересохли его губы, сердце колотится, пѣна запеклась на губахъ. Но онъ все-таки рѣшился молчать и не промолвить слова до времени. Онъ понялъ, что это самая лучшая тактика въ его положеніи, потому что не только онъ не проговорится, но, напротивъ, раздражитъ молчаніемъ самого врага, и, пожалуй, еще тотъ ему же проговорится. По крайней мѣрѣ, онъ на это надѣялся.

— Нѣтъ, вы, я вижу, не вѣрите-съ, думаете все, что я вамъ шуточки невинныя подвожу, — подхватилъ Порфирій, все болѣе и болѣе веселѣя и безпрерывно хихикая отъ удовольствія, и опять начиная кружить по комнатѣ, — оно, конечно, вы правы-съ; у меня и фигура ужъ такъ самимъ Богомъ устроена, что только комическія мысли въ

другихъ возбуждаетъ; буфонъ-съ; но я вамъ вотъ что скажу, и опять повторю-съ, что вы, батюшка, Родіонъ Романовичъ, ужъ извините меня, старика, человѣкъ еще молодой-съ, такъ сказать, первой молодости, а потому выше всего умъ человѣческій цѣните, по примѣру всей молодежи. Игривая острота ума и отвлеченные доводы разсудка васъ соблазняютъ-съ. И это точь-въ-точь, какъ прежній австрійскій гофъ-кригсратъ, напримѣръ, насколько то есть я могу судить о военныхъ событіяхъ: на бумагѣ-то они и Наполеона разбили и въ полонъ взяли, и ужъ какъ тамъ, у себя въ кабинетѣ, все остроумнѣйшимъ образомъ расчитали и подвели, а смотришь, генералъ-то Макъ и сдается со всей своей арміей, хе-хе-хе! Вижу, вижу, батюшка, Родіонъ Романовичъ, смѣетесь вы надо мною, что я, такой статскій человѣкъ, все изъ военной исторіи примѣрчики подбираю. Да что дѣлать, слабость, люблю военное дѣло, и ужъ такъ люблю я читать всѣ эти военныя реляціи... рѣшительно я моей карьерой манкировалъ. Мнѣ бы въ военной служить-съ, право-съ. Наполеономъ-то, можетъ быть, и не сдѣлался бы, ну, а майоромъ бы былъ-съ, хе-хе-хе! Ну-съ, такъ я вамъ теперь, родимый мой, всю подробную правду скажу насчетъ того, то есть, *частнаго случая-то:* дѣйствительность и натура, сударь вы мой, есть важная вещь, и ухъ какъ иногда самый прозорливѣйшій расчетъ подсѣкаютъ! Эй, послушайте старика, серьезно говорю, Родіонъ Романовичъ (говоря это, едва ли тридцати-пятилѣтній Порфирій Петровичъ, дѣйствительно, какъ будто вдругъ весь состарился: даже голосъ его измѣнился, и какъ-то весь онъ скрючился), — къ тому же я человѣкъ откровенный-съ... Откровенный я че-

ловѣкъ или нѣтъ? Какъ по-вашему? Ужъ кажется что вполнѣ: этакія-то вещи вамъ задаромъ сообщаю, да еще награжденія за это не требую, хе-хе! Ну, такъ вотъ-съ, продолжаю-съ: остроуміе, по-моему, великолѣпная вещь-съ; это, такъ сказать, краса природы и утѣшеніе жизни, и ужъ какіе, кажется, фокусы можетъ оно задавать, такъ что гдѣ ужъ, кажется, иной разъ угадать какому-нибудь бѣдненькому слѣдователю, который при томъ и самъ своей фантазіей увлеченъ, какъ и всегда бываетъ, потому, тоже вѣдь человѣкъ-съ! Да натурато бѣдненькаго слѣдователя выручаетъ-съ, вотъ бѣда! А объ этомъ и не подумаетъ увлекающаяся остроуміемъ молодежь, «шагающая черезъ всѣ препятствія» (какъ вы остроумнѣйшимъ и хитрѣйшимъ образомъ изволили вчера выразиться). Онъто, положимъ, и солжетъ, то есть человѣкъ-то-съ, *частный-то случай-съ,* incognito-то-съ, и солжетъ отлично, наихитрѣйшимъ манеромъ; тутъ бы, кажется, и тріумфъ, и наслаждайся плодами своего остроумія, а онъ хлопъ! да въ самомъ-то интересномъ, въ самомъ скандалезнѣйшемъ мѣстѣ и упадетъ въ обморокъ. Оно, положимъ, болѣзнь, духота тоже иной разъ въ комнатахъ бываетъ, да все-таки-съ! Все-таки мысль подалъ! Солгалъ-то онъ безподобно, а на натуру-то и не сумѣлъ расчитать. Вонъ оно, коварство-то гдѣ-съ! Другой разъ, увлекаясь игривостью своего остроумія, начнетъ дурачить подозрѣвающаго его человѣка, поблѣднѣетъ какъ бы нарочно, какъ бы въ игрѣ, да *слишкомъ ужъ натурально* поблѣднѣетъ-то, слишкомъ ужъ на правду похоже, анъ и опять подалъ мысль! Хоть и надуетъ съ перваго раза, да за ночь-то тотъ и надумается, коли самъ малый не промахъ. Да

вѣдь на каждомъ шагу этакъ-то-съ! Да чего: самъ впередъ начнетъ забѣгать, соваться начнетъ, куда и не спрашиваютъ, заговаривать начнетъ безпрерывно о томъ, о чемъ бы надо, напротивъ, молчать, различныя аллегоріи начнетъ подпускать, хе-хе! самъ придетъ и спрашивать начнетъ: зачѣмъ-де меня долго не берутъ? хе-хе-хе! и это вѣдь съ самымъ остроумнѣйшимъ человѣкомъ можетъ случиться, съ психологомъ и литераторомъ-съ! Зеркало натура, зеркало-съ, самое прозрачное-съ! Смотри въ него и любуйся, вотъ что-съ! Да что́ это вы такъ поблѣднѣли, Родіонъ Романовичъ, не душно ли вамъ, не растворить ли окошечко?

— О, не безпокойтесь, пожалуйста, — вскричалъ Раскольниковъ и вдругъ захохоталъ: — пожалуйста не безпокойтесь!

Порфирій остановился противъ него, подождалъ и вдругъ самъ захохоталъ, вслѣдъ за нимъ. Раскольниковъ всталъ съ дивана, вдругъ рѣзко прекративъ свой, совершенно припадочный, смѣхъ.

— Порфирій Петровичъ! — проговорилъ онъ громко и отчетливо, хотя едва стоялъ на дрожавшихъ ногахъ: — я, наконецъ, вижу ясно, что вы положительно подозрѣваете меня въ убійствѣ этой старухи и ея сестры Лизаветы. Съ своей стороны объявляю вамъ, что все это мнѣ давно уже надоѣло. Если находите, что имѣете право меня законно преслѣдовать, то преслѣдуйте; арестовать, то арестуйте. Но смѣяться себѣ въ глаза и мучить себя я не позволю.

Вдругъ губы его задрожали, глаза загорѣлись бѣшенствомъ, и сдержанный до сихъ поръ голосъ зазвучалъ.

— Не позволю-съ! — крикнулъ онъ вдругъ,

изо всей силы стукнувъ кулакомъ по столу: — слышите вы это, Порфирій Петровичъ? Не позволю!

— Ахъ, Господи, да что это опять! — вскрикнулъ, повидимому въ совершенномъ испугѣ, Порфирій Петровичъ, — батюшка, Родіонъ Романовичъ! Родименькій! Отецъ! Да что́ съ вами?

— Не позволю! — крикнулъ было другой разъ Раскольниковъ.

— Батюшка, потише! Вѣдь услышатъ, придутъ! Ну что тогда мы имъ скажемъ, подумайте!— прошепталъ въ ужасѣ Порфирій Петровичъ, приближая свое лицо къ самому лицу Раскольникова.

— Не позволю, не позволю! — машинально повторилъ Раскольниковъ, но тоже вдругъ совершеннымъ шепотомъ.

Порфирій быстро отвернулся и побѣжалъ отворить окно.

— Воздуху пропустить, свѣжаго! Да водицы бы вамъ, голубчикъ, испить, вѣдь это припадокъ-съ! — И онъ бросился было къ дверямъ приказать воды, но тутъ же въ углу, кстати, нашелся графинъ съ водой.

— Батюшка, испейте, — шепталъ онъ, бросаясь къ нему съ графиномъ,—авось поможетъ . . . — Испугъ и самое участіе Порфирія Петровича были до того натуральны, что Раскольниковъ умолкъ и и съ дикимъ любопытствомъ сталъ его разсматривать. Воды, впрочемъ, онъ не принялъ.

— Родіонъ Романовичъ! Миленькій! Да вы этакъ себя съ ума сведете, увѣряю васъ, э-эхъ, А-хъ! Выпейте-ка! Да выпейте хоть немножечко!

Онъ-таки заставилъ его взять стаканъ съ водой въ руки. Тотъ машинально поднесъ было его къ

губамъ, но, опомнившись, съ отвращеніемъ поставилъ на столъ.

— Да-съ, припадочекъ у насъ былъ-съ! Этакъ вы опять, голубчикъ, прежнюю болѣзнь себѣ возвратите, — закудахталъ съ дружественнымъ участіемъ Порфирій Петровичъ, впрочемъ все еще съ какимъ-то растерявшимся видомъ. — Господи! Да какъ же этакъ себя не беречь? Вотъ и Дмитрій Прокофьичъ ко мнѣ вчера приходилъ, — согласенъ, согласенъ-съ, у меня характеръ язвительный, скверный, а они вотъ что изъ этого вывели!.. Господи! Пришелъ вчера, послѣ васъ, мы обѣдали, говорилъ-говорилъ, я только руки разставилъ; ну, думаю... ахъ ты, Господи! Отъ васъ, что ли, онъ приходилъ? Да садитесь же, батюшка, присядьте, ради Христа!

— Нѣтъ, не отъ меня! Но я зналъ, что онъ къ вамъ пошелъ и зачѣмъ пошелъ, — рѣзко отвѣтилъ Раскольниковъ.

— Знали?

— Зналъ. Ну что же изъ этого?

— Да тоже, батюшка, Родіонъ Романовичъ, что я не такіе еще ваши подвиги знаю; обо всемъ извѣстенъ-съ! Вѣдь я знаю, какъ вы *квартиру-то нанимать* ходили, подъ самую ночь, когда смерклось, да въ колокольчикъ стали звонить, да про кровь спрашивали, да работниковъ и дворниковъ съ толку сбили. Вѣдь и понимаю настроеніе-то ваше душевное, тогдашнее-то... да вѣдь все-таки этакъ вы себя просто съ ума сведете, ей Богу-съ! Закружитесь! Негодованіе-то въ васъ очень ужъ сильно кипитъ-съ, благородное-съ, отъ полученныхъ обидъ, сперва отъ судьбы, а потомъ отъ квартальныхъ, вотъ вы и мечетесь туда и сюда, чтобы, такъ ска-

зать, поскорѣе заговорить всѣхъ заставить и тѣмъ все разомъ покончить, потому что надоѣли вамъ эти глупости и всѣ подозрѣнія эти. Вѣдь такъ? Угадалъ-съ настроеніе-то?.. Только вы этакъ не только себя, да и Разумихина у меня закружите; вѣдь слишкомъ ужъ онъ *добрый* человѣкъ для этого, сами знаете. У васъ-то болѣзнь, а у него добродѣтель, болѣзнь-то и выходитъ къ нему прилипчивая... Я вамъ, батюшка, вотъ когда успокоитесь, разскажу... да садитесь же, батюшка, ради Христа! Пожалуйста, отдохните, лица на васъ нѣтъ; да присядьте же.

Раскольниковъ сѣлъ; дрожь его проходила, и жаръ выступалъ во всемъ тѣлѣ. Въ глубокомъ изумленіи, напряженно слушалъ онъ испуганнаго и дружески ухаживавшаго за нимъ Порфирія Петровича. Но онъ не вѣрилъ ни единому его слову, хотя ощущалъ какую-то странную наклонность повѣрить. Неожиданныя слова Порфирія о квартирѣ совершенно его поразили: «Какъ же это, онъ, стало быть, знаетъ про квартиру-то? — подумалось ему вдругъ, — самъ же мнѣ и разсказываетъ!»

— Да-съ, былъ такой почти точно случай, психологическій, въ судебной практикѣ нашей-съ, болѣзненный такой случай-съ, — продолжалъ скороговоркой Порфирій. — Тоже наклепалъ одинъ на себя убійство-съ, да еще какъ наклепалъ-то: цѣлую галлюцинацію подвелъ, факты представилъ, обстоятельства разсказалъ, спуталъ, сбилъ всѣхъ и каждаго, а чего? Самъ онъ, совершенно неумышленно, отчасти, причиной убійства былъ, но только отчасти, и какъ узналъ про то, что онъ убійцамъ далъ поводъ, затосковалъ, задурманился, стало ему представляться, повихнулся совсѣмъ, да и увѣрилъ

самъ себя, что онъ-то и есть убійца! Да правительствующій сенатъ, наконецъ, дѣло-то разобралъ, и несчастный былъ оправданъ и подъ призрѣніе отданъ. Спасибо правительствующему сенату! Эхъ-ма, ай-ай-ай! Да этакъ что же, батюшка? Этакъ можно и горячку нажить, когда ужъ этакія поползновенія нервы свои раздражать являются, по ночамъ въ колокольчики ходить звонить, да про кровь разспрашивать! Эту вѣдь я психологію-то изучилъ всю на практикѣ-съ. Этакъ вѣдь иногда человѣка изъ окна или съ колокольни соскочить тянетъ, и ощущеніе-то такое соблазнительное. Тоже и колокольчики-съ... Болѣзнь, Родіонъ Романовичъ, болѣзнь! Болѣзнью своей пренебрегать слишкомъ начали-съ. Посовѣтовались бы вы съ опытнымъ медикомъ, а то что у васъ этотъ толстый-то!.. Бредъ у васъ! Это все у васъ просто въ бреду одномъ дѣлается!..

На мгновеніе все такъ и завертѣлось кругомъ Раскольникова.

«Неужели, неужели, — мелькало въ немъ, — онъ лжетъ и теперь? Невозможно, невозможно?» отталкивалъ онъ отъ себя эту мысль, чувствуя заранѣе, до какой степени бѣшенства и ярости можетъ она довести его, чувствуя, что отъ бѣшенства съ ума сойти можетъ.

— Это было не въ бреду, это было наяву! — вскричалъ онъ, напрягая всѣ силы своего разсудка проникнуть въ игру Порфирія. — Наяву, наяву! Слышите ли?

— Да, понимаю и слышу-съ! Вы и вчера говорили, что не въ бреду, особенно даже напирали, что не въ бреду! Все, что вы можете сказать, понимаю-съ! Э-эхъ!.. Да послушайте же, Родіонъ

Романовичъ, благодѣтель вы мой, ну, вотъ хоть бы это-то обстоятельство. Вѣдь вотъ будь вы, дѣйствительно, на самомъ-то дѣлѣ преступны, али тамъ какъ-нибудь замѣшаны въ это проклятое дѣло, ну стали бы вы, помилуйте, сами напирать, что не въ бреду вы все это дѣлали, а, напротивъ, въ полной памяти? Да еще особенно напирать, съ упорствомъ такимъ, особеннымъ, напирать, — ну могло ли быть, ну могло ли быть это, помилуйте? Да вѣдь совершенно же напротивъ, по-моему. Вѣдь если бъ вы за собой что-либо чувствовали, такъ вамъ именно слѣдовало бы напирать: что непремѣнно, дескать, въ бреду! Такъ ли? Вѣдь такъ?

Что-то лукавое послышалось въ этомъ вопросѣ. Раскольниковъ отшатнулся къ самой спинкѣ дивана отъ наклонившагося къ нему Порфирія, и молча, въ упоръ, въ недоумѣніи его разсматривалъ.

— Али вотъ насчетъ господина Разумихина, насчетъ того то есть, отъ себя ли онъ вчера приходилъ говорить или съ вашего наущенія? Да вамъ именно должно бы говорить, что отъ себя приходилъ, и скрыть, что съ вашего наущенія! А вѣдь вотъ вы не скрываете же! Вы именно упираете на то, что съ вашего наущенія!

Раскольниковъ никогда не упиралъ на это. Холодъ прошелъ по спинѣ его.

— Вы все лжете, — проговорилъ онъ медленно и слабо, съ искривившимися въ болѣзненную улыбку губами, — вы мнѣ опять хотите показать, что всю игру мою знаете, всѣ отвѣты мои заранѣе знаете, — говорилъ онъ, самъ почти чувствуя, что уже не взвѣшиваетъ, какъ должно, словъ, — запугать меня хотите... и просто смѣетесь надо мной...

Онъ продолжалъ въ упоръ смотрѣть на него, говоря это, и вдругъ опять безпредѣльная злоба блеснула въ глазахъ его.

— Лжете вы все! — вскричалъ онъ. — Вы сами отлично знаете, что самая лучшая увертка преступнику по возможности не скрывать, чего можно не скрыть. Не вѣрю я вамъ!

— Экой же вы вертунъ! — захихикалъ Порфирій, — да съ вами, батюшка, и не сладишь; мономанія въ васъ какая-то засѣла. Такъ не вѣрите мнѣ? А я вамъ скажу, что ужъ вѣрите, ужъ на четверть аршина повѣрили, а я сдѣлаю, что повѣрите и на весь аршинъ, потому истинно васъ люблю и искренно добра вамъ желаю.

Губы Раскольникова задрожали.

— Да-съ, желаю-съ, окончательно вамъ скажу-съ, — продолжалъ онъ, слегка, дружески, взявши за руку Раскольникова, немного повыше локтя, — окончательно скажу-съ: наблюдайте вашу болѣзнь. Къ тому же вотъ къ вамъ и фамилія теперь пріѣхала: объ ней-то попомните. Покоить вамъ и нѣжить ихъ слѣдуетъ, а вы ихъ только пугаете...

— Какое вамъ дѣло? Почемъ это вы знаете? Къ чему такъ интересуетесь? Вы слѣдите, стало быть, за мной и хотите мнѣ это показать?

— Батюшка! Да вѣдь отъ васъ же, отъ самихъ же все узналъ! Вы и не замѣчаете, что въ волненіи своемъ все впередъ сами высказываете и мнѣ, и другимъ. Отъ господина Разумихина, Дмитрія Прокофьича, тоже вчера много интересныхъ подробностей узналъ. Нѣтъ-съ, вотъ вы меня прервали, а я скажу, что черезъ мнительность вашу, при всемъ остроуміи вашемъ, вы даже здравый взглядъ на ве-

щи изволили потерять. Ну вотъ, напримѣръ, хоть на ту же опять тему, насчетъ колокольчиковъ-то: да этакую-то драгоцѣнность, этакой фактъ (цѣлый вѣдь фактъ-съ!) я вамъ такъ, съ руками и съ ногами, и выдалъ, я-то, слѣдователь! И вы ничего въ этомъ не видите? Да подозрѣвай я васъ хоть немножко, такъ ли слѣдовало мнѣ поступить? Мнѣ, напротивъ, слѣдовало бы сначала усыпить подозрѣнія ваши и виду не подать, что я объ этомъ фактѣ уже извѣстенъ; отвлечь, этакъ, васъ въ противоположную сторону, да вдругъ, какъ обухомъ по темени (по вашему же выраженію) и огорошить: «А что, дескать, сударь, изволили вы въ квартирѣ убитой дѣлать въ десять часовъ вечера, да чуть ли еще и не въ одиннадцать? А зачѣмъ въ колокольчикъ звонили? А зачѣмъ про кровь разспрашивали? А зачѣмъ дворниковъ сбивали и въ часть, къ квартальному поручику, подзывали?» Вотъ какъ бы слѣдовало мнѣ поступить, если бъ я хоть капельку на васъ подозрѣнія имѣлъ. Слѣдовало бы по всей формѣ отъ васъ показаніе-то отобрать, обыскъ сдѣлать, да, пожалуй, еще васъ и заарестовать . . . Стало быть, я на васъ не питаю подозрѣній, коли иначе поступилъ! А вы здравый взглядъ потеряли, да и не видите ничего, повторяю-съ!

Раскольниковъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ, такъ что Порфирій Петровичъ слишкомъ ясно замѣтилъ это.

— Лжете вы все! — вскричалъ онъ, — я не знаю вашихъ цѣлей, но вы все лжете . . . Давеча вы не въ этомъ смыслѣ говорили, и ошибиться нельзя мнѣ . . . Вы лжете!

— Я лгу? — подхватилъ Порфирій, повидимому

горячась, но сохраняя самый веселый и насмѣшливый видъ, и, кажется, ни мало не тревожась тѣмъ, какое мнѣніе имѣетъ о немъ г. Раскольниковъ. — Я лгу?.. Ну, а какъ я съ вами давеча поступилъ (я-то, слѣдователь), самъ вамъ подсказывая и выдавая всѣ средства къ защитѣ, самъ же вамъ всю эту психологію подводя: «Болѣзнь, дескать, бредъ, разобиженъ былъ; меланхолія, да квартальные», и все это прочее? А? Хе-хе-хе! Хотя оно, впрочемъ, — кстати скажу, — всѣ эти психологическія средства къ защитѣ, отговорки да увертки крайне несостоятельны, да и о двухъ концахъ: «Болѣзнь, дескать, бредъ, грезы, мерещилось, не помню», все это такъ-съ, да зачѣмъ же, батюшка, въ болѣзни-то, да въ бреду все такія именно грезы мерещутся, а не прочія? Могли вѣдь быть и прочія-съ? Такъ ли? Хе-хе-хе-хе!

Раскольниковъ гордо и съ презрѣніемъ посмотрѣлъ на него.

— Однимъ словомъ, — настойчиво и громко сказалъ онъ, вставая и немного оттолкнувъ при этомъ Порфирія, — однимъ словомъ, я хочу знать: признаете ли вы меня окончательно свободнымъ отъ подозрѣній или *нѣтъ*? Говорите, Порфирій Петровичъ, говорите положительно и окончательно, и скорѣе, сейчасъ!

— Экъ вѣдь комиссія! Ну, ужъ комиссія же съ вами, — вскричалъ Порфирій съ совершенно веселымъ, лукавымъ и нисколько не встревоженнымъ видомъ. — Да и къ чему вамъ знать, къ чему вамъ такъ много знать, коли васъ еще и не начинали безпокоить нисколько! Вѣдь вы, какъ ребенокъ: дай да подай огонь въ руки! И зачѣмъ вы такъ безпокоитесь? Зачѣмъ сами-то вы такъ къ

намъ напрашиваетесь, изъ какихъ причинъ? А? Хе-хе-хе!

— Повторяю вамъ, — вскричалъ въ ярости Раскольниковъ, — что не могу дольше переносить...

— Чего-съ? Неизвѣстности-то? — перебилъ Порфирій.

— Не язвите меня! Я не хочу!.. Говорю вамъ, что не хочу!.. Не могу и не хочу!.. Слышите! Слышите! — крикнулъ онъ, стукнувъ опять кулакомъ по столу.

— Да тише же, тише! Вѣдь услышатъ! серьезно предупреждаю: поберегите себя. Я не шучу-съ! — проговорилъ шепотомъ Порфирій, но на этотъ разъ въ лицѣ его уже не было давешняго бабьи-добродушнаго и испуганнаго выраженія; напротивъ, теперь онъ прямо *приказывалъ*, строго, нахмуривъ брови и какъ будто разомъ нарушая всѣ тайны и двусмысленности. Но это было только на мгновеніе. Озадаченный было Раскольниковъ вдругъ впалъ въ настоящее изступленіе; но странно: онъ опять послушался приказанія говорить тише, хотя и былъ въ самомъ сильномъ пароксизмѣ бѣшенства.

— Я не дамъ себя мучить! — зашепталъ онъ вдругъ по-давешнему, съ болью и съ ненавистью мгновенно сознавая въ себѣ, что не можетъ не подчиниться приказанію, и приходя отъ этой мысли еще въ бо̀льшее бѣшенство, — арестуйте меня, обыскивайте меня, но извольте дѣйствовать по формѣ, а не играть со мной-съ! Не смѣйте...

— Да не безпокойтесь же о формѣ, — перебилъ Порфирій, съ прежнею лукавою усмѣшкой и какъ бы даже съ наслажденіемъ любуясь Расколь-

никовымъ, — я васъ, батюшка, пригласилъ теперь по-домашнему, совершенно этакъ по-дружески!

— Не хочу я вашей дружбы и плюю на нее! Слишите-ли? И вотъ же: беру фуражку и иду. Нут-ка, что теперь скажешь, коли намѣренъ арестовать?

Онъ схватилъ фуражку и пошелъ къ дверямъ.

— А сюрпризикъ-то не хотите развѣ посмотрѣть? — захихикалъ Порфирій, опять схватывая его немного повыше локтя и останавливая у дверей. Онъ, видимо, становился все веселѣе и игривѣе, что окончательно выводило изъ себя Раскольникова.

— Какой сюрпризикъ? Что такое? — спросилъ онъ, вдругъ останавливаясь и съ испугомъ смотря на Порфирія.

— Сюрпризикъ-съ, вотъ тутъ, за дверью у меня сидитъ, хе-хе-хе! (Онъ указалъ пальцемъ на запертую дверь въ перегородкѣ, которая вела въ казенную квартиру его.) — Я и на замокъ приперъ, чтобы не убѣжалъ.

— Что такое? Гдѣ? Что?.. — Раскольниковъ подошелъ было къ двери и хотѣлъ отворить, но она была заперта.

— Заперта-съ, вотъ и ключъ.

И въ самомъ дѣлѣ, онъ показалъ ему ключъ, вынувъ изъ кармана.

— Лжешь ты все! — завопилъ Раскольниковъ, уже не удерживаясь, — лжешь, полишинель проклятый! — и бросился на ретировавшагося къ дверямъ, но нисколько не струсившаго Порфирія.

— Я все, все понимаю! — подскочилъ онъ къ нему. — Ты лжешь и дразнишь меня, чтобъ я себя выдалъ...

— Да ужъ больше и нельзя себя выдать, ба-

тюшка, Родіонъ Романычъ. Вѣдь вы въ изступленіе пришли. Не кричите, вѣдь я людей позову-съ.

— Лжешь, ничего не будетъ! Зови людей! Ты зналъ, что я боленъ, и раздражить меня хотѣлъ, до бѣшенства, чтобъ я себя выдалъ, вотъ твоя цѣль! Нѣтъ, ты фактовъ подавай! Я все понялъ! У тебя фактовъ нѣтъ, у тебя однѣ только дрянныя, ничтожныя догадки, Заметовскія!.. Ты зналъ мой характеръ, до изступленія меня довести хотѣлъ, а потомъ и огорошить вдругъ попами, да депутатами... Ты ихъ ждешь? а? Чего ждешь? Гдѣ? Подавай!

— Ну какіе тутъ депутаты-съ, батенька! Вообразится же человѣку! Да этакъ по формѣ и дѣйствовать-то нельзя, какъ вы говорите, дѣла вы, родимый, не знаете... А форма не уйдетъ-съ, сами увидите!.. — бормоталъ Порфирій, прислушиваясь къ дверямъ.

Дѣйствительно, въ это время у самыхъ дверей въ другой комнатѣ послышался какъ бы шумъ.

— А, идутъ, — вскричалъ Раскольниковъ; — ты за ними послалъ!.. Ты ихъ ждалъ! Ты расчиталъ... Ну, подавай сюда всѣхъ: депутатовъ, свидѣтелей, чего хочешь... давай! Я готовъ! Готовъ!

Но тутъ случилось странное происшествіе, нѣчто до того неожиданное, при обыкновенномъ ходѣ вещей, что уже, конечно, ни Раскольниковъ, ни Порфирій Петровичъ на такую развязку и не могли расчитывать.

VI.

Потомъ, при воспоминаніи объ этой минутѣ, Раскольникову представлялось все въ такомъ видѣ:

Послышавшійся за дверью шумъ вдругъ быстро увеличился, и дверь немного пріотворилась.

— Что такое — крикнулъ съ досадой Порфирій Петровичъ. — Вѣдь я предупредилъ . . .

На мгновеніе отвѣта не было, но видно было, что за дверью находилось нѣсколько человѣкъ и какъ будто кого-то отталкивали.

— Да что тамъ такое? — встревоженно повторилъ Порфирій Петровичъ.

— Арестанта привели, Николая, — послышался чей-то голосъ.

— Не надо! Прочь! Подождать! . . Зачѣмъ онъ сюда залѣзъ! Что за безпорядокъ! — закричалъ Порфирій, бросаясь къ дверямъ.

— Да онъ . . . — началъ было опять тотъ же голосъ и вдругъ осѣкся.

Секунды двѣ не болѣе происходила настоящая борьба; потомъ вдругъ какъ бы кто-то кого-то съ силою оттолкнулъ, и вслѣдъ за тѣмъ какой-то очень блѣдный человѣкъ шагнулъ прямо въ кабинетъ Порфирія Петровича.

Видъ этого человѣка съ перваго взгляда былъ очень странный. Онъ глядѣлъ прямо передъ собою, но какъ бы никого не видя. Въ глазахъ его сверкала рѣшимость, но въ то же время смертная блѣдность покрывала лицо его, точно его привели на казнь. Совсѣмъ побѣлѣвшія губы его слегка вздрагивали.

Онъ былъ еще очень молодъ, одѣтъ, какъ простолюдинъ, роста средняго, худощавый, съ волосами, обстриженными въ кружокъ, съ тонкими, какъ бы сухими чертами лица. Неожиданно оттолкнутый имъ человѣкъ первый бросился было за нимъ въ комнату и успѣлъ схватить его за плечо: это

былъ конвойный; но Николай дернулъ руку и вырвался отъ него еще разъ.

Въ дверяхъ затолпилось нѣсколько любопытныхъ. Иные изъ нихъ порывались войти. Все описанное произошло почти въ одно мгновеніе.

— Прочь, рано еще. Подожди, пока позовутъ!.. Зачѣмъ его раньше привели? — бормоталъ въ крайней досадѣ, какъ бы сбитый съ толку Порфирій Петровичъ. Но Николай вдругъ сталъ на колѣни.

— Чего ты? — крикнулъ Порфирій въ изумленіи.

— Виноватъ! Мой грѣхъ! Я убивецъ! — вдругъ произнесъ Николай, какъ будто нѣсколько задыхаясь, но довольно громкимъ голосомъ.

Секундъ десять продолжалось молчаніе, точно столбнякъ нашелъ на всѣхъ; даже конвойный отшатнулся и уже не подходилъ къ Николаю, а отретировался машинально къ дверямъ и сталъ неподвиженъ.

— Что такое? — вскричалъ Порфирій Петровичъ, выходя изъ мгновеннаго оцѣпенѣнія.

— Я... убивецъ... — повторилъ Николай, помолчавъ капельку.

— Какъ... ты!.. Какъ... Кого ты убилъ?

Порфирій Петровичъ видимо потерялся.

Николай опять помолчалъ капельку.

— Алену Ивановну и сестрицу ихнюю, Лизавету Ивановну, я... убилъ... топоромъ. Омраченіе нашло... — прибавилъ онъ вдругъ и опять замолчалъ. Онъ все стоялъ на колѣняхъ.

Порфирій Петровичъ нѣсколько мгновеній стоялъ, какъ бы вдумываясь, но вдругъ опять вспорхнулся и замахалъ руками на непрошенныхъ свидѣ-

телей. Тѣ мигомъ скрылись, и дверь притворилась. Затѣмъ онъ поглядѣлъ на стоявшаго въ углу Раскольникова, дико смотрѣвшаго на Николая, и направился было къ нему, но вдругъ остановился, посмотрѣлъ на него, перевелъ тотчасъ же свой взглядъ на Николая, потомъ опять на Раскольникова, потомъ опять на Николая, и вдругъ, какъ бы увлеченный, опять набросился на Николая.

— Ты мнѣ что съ своимъ омраченіемъ-то впередъ забѣгаешь? — крикнулъ онъ на него почти со злобой. — Я тебя еще не спрашивалъ: находило или нѣтъ на тебя помраченіе... говори: ты убилъ?

— Я убивецъ... показаніе сдаю... — произнесъ Николай.

— Э-эхъ! Чѣмъ ты убилъ?

— Топоромъ. Припасъ.

— Эхъ, спѣшитъ! Одинъ?

Николай не понялъ вопроса.

— Одинъ убилъ?

— Одинъ. А Митька неповиненъ и всему тому не причастенъ.

— Да не спѣши съ Митькой-то! Э-эхъ!..

— Какъ же ты, ну, какъ же ты съ лѣстницы-то тогда сбѣжалъ? Вѣдь дворники васъ обоихъ встрѣтили?

— Это я для отводу... тогда... бѣжалъ съ Митькой, — какъ бы заторопясь и заранѣе приготовившись, отвѣтилъ Николай.

— Ну, такъ и есть! — злобно вскрикнулъ Порфирій, — не свои слова говоритъ! — пробормоталъ онъ какъ бы про себя и вдругъ опять увидалъ Раскольникова.

Онъ, видимо, до того увлекся съ Николаемъ, что

на одно мгновеніе даже забылъ о Раскольниковѣ. Теперь онъ вдругъ опомнился, даже смутился...

— Родіонъ Романовичъ, батюшка! Извините-съ, — кинулся онъ къ нему, — этакъ нельзя-съ... пожалуйте-съ... вамъ тутъ нечего... я и самъ... видите, какіе сюрпризы!.. Пожалуйте-съ!..

И взявъ его за руку, онъ показалъ ему на дверь.

— Вы, кажется, этого не ожидали? — проговорилъ Раскольниковъ, конечно, ничего еще не понимавшій ясно, но уже успѣвшій сильно ободриться.

— Да и вы, батюшка, не ожидали. Ишь ручка-то какъ дрожитъ! Хе-хе!

— Да и вы дрожите, Порфирій Петровичъ.

— И я дрожу-съ; не ожидалъ-съ!..

Они уже стояли въ дверяхъ. Порфирій нетерпѣливо ждалъ, чтобы прошелъ Раскольниковъ.

— А сюрпризикъ-то такъ и не покажете? — проговорилъ вдругъ Раскольниковъ.

— Говоритъ, а у самого еще зубки во рту одинъ о другой колотятся, хе-хе! Ироническій вы человѣкъ! Ну-съ, до свиданія-съ.

— По-моему такъ *прощайте!*

— Какъ Богъ приведетъ-съ, какъ Богъ приведетъ-съ! — пробормоталъ Порфирій съ искривившеюся какъ-то улыбкой.

Проходя канцелярію, Раскольниковъ замѣтилъ, что многіе на него пристально посмотрѣли. Въ прихожей, въ толпѣ, онъ успѣлъ разглядѣть обоихъ дворниковъ изъ *того* дома, которыхъ онъ подзывалъ тогда ночью къ квартальному. Они стояли и чего-то ждали. Но только что онъ вышелъ на лѣстницу, вдругъ услышалъ за собой опять голосъ Пор-

фирія Петровича. Обернувшись, онъ увидѣлъ, что тотъ догонялъ его, весь запыхавшись.

— Одно словцо-съ, Родіонъ Романовичъ; тамъ насчетъ всего этого прочаго, какъ Богъ приведетъ, а все-таки по формѣ кой о чемъ придется спросить-съ . . . такъ мы еще увидимся, такъ-съ!

И Порфирій остановился передъ нимъ съ улыбкой.

— Такъ-съ, — прибавилъ онъ еще разъ.

Можно было предположить, что ему еще что-то хотѣлось сказать, но какъ-то не выговаривалось.

— А вы меня, Порфирій Петровичъ, извините насчетъ давешняго . . . я погорячился, — началъ было совершенно уже ободрившійся, до неотразимаго желанія пофорсить, Раскольниковъ.

— Ничего-съ, ничего-съ, — почти радостно подхватилъ Порфирій . . . — Я и самъ-то-съ . . . Ядовитый характеръ у меня, каюсь, каюсь! Да вотъ мы увидимся-съ. Если Богъ приведетъ, такъ и очень и очень увидимся-съ! . .

— И окончательно познаемъ другъ друга? — подхватилъ Раскольниковъ.

— И окончательно познаемъ другъ друга, — поддакнулъ Порфирій Петровичъ и, прищурившись, весьма серьезно посмотрѣлъ на него. — Теперь на именины-съ?

— На похороны-съ.

— Да, бишь, на похороны! Здоровье-то свое берегите, здоровье-то-съ . . .

— А ужъ и не знаю чего вамъ пожелать съ своей стороны! — подхватилъ Раскольниковъ, уже начинавшій спускаться съ лѣстницы, но вдругъ опять оборачиваясь къ Порфирію, — пожелалъ бы

бо̀льшихъ успѣховъ, да вѣдь видите, какая ваша должность комическая!

— Почему же комическая-съ? — тотчасъ навострилъ уши Порфирій Петровичъ, тоже повернувшійся было уйти.

— Да какъ же, вотъ этого бѣднаго Миколку, вы вѣдь какъ, должно быть, терзали и мучили, психологически-то, на свой манеръ, покамѣстъ онъ не сознался; день и ночь, должно быть, доказывали ему: «ты убійца, ты убійца . . .» ну, а теперь, какъ онъ ужъ сознался, вы его опять по косточкамъ разминать начнете: «Врешь, дескать, не ты убійца! Не могъ ты имъ быть! Не свои ты слова говоришь!» Ну, такъ какъ же послѣ этого должность не комическая?

— Хе-хе-хе! А таки замѣтили, что я сказалъ сейчасъ Николаю, что онъ «не свои слова говоритъ»?

— Какъ не замѣтить?

— Хе-хе! Остроумны, остроумны-съ. Все-то замѣчаете! Настоящій игривый умъ-съ! И самую-то комическую струну и зацѣпите . . . хе-хе! Это вѣдь у Гоголя, изъ писателей, говорятъ, эта черта была въ высшей степени?

— Да, у Гоголя.

— Да-съ, у Гоголя-съ . . . до пріятнѣйшаго свиданія-съ.

— До пріятнѣйшаго свиданія . . .

Раскольниковъ прошелъ прямо домой. Онъ до того былъ сбитъ и спутанъ, что, уже придя домой и бросившись на диванъ, съ четверть часа сидѣлъ, только отдыхая и стараясь хоть сколько-нибудь собраться съ мыслями. Про Николая онъ и разсуждать не брался: онъ чувствовалъ, что пораженъ;

что въ признаніи Николая есть что-то необъяснимое, удивительное, чего теперь ему не понять ни за что. Но признаніе Николая былъ фактъ дѣйствительный. Послѣдствія этого факта ему тотчасъ же стали ясны: ложь не могла не обнаружиться, и тогда примутся опять за него. Но, по крайней мѣрѣ, до того времени онъ свободенъ и долженъ непремѣнно что-нибудь для себя сдѣлать, потому что опасность неминуемая.

Но, однакожъ, въ какой степени? Положеніе начало выясняться. Припоминая, *вчернѣ,* въ общей связи, всю свою давешнюю сцену съ Порфиріемъ, онъ не могъ еще разъ не содрогнуться отъ ужаса. Конечно, онъ не зналъ еще всѣхъ цѣлей Порфирія, не могъ постигнуть всѣхъ давешнихъ расчетовъ его. Но часть игры была обнаружена, и ужъ, конечно, никто лучше его не могъ понять, какъ страшенъ былъ для него этотъ «ходъ» въ игрѣ Порфирія. Еще немного и онъ могъ выдать себя совершенно, уже фактически. Зная болѣзненность его характера и, съ перваго взгляда, вѣрно схвативъ и проникнувъ его, Порфирій дѣйствовалъ хотя слишкомъ рѣшительно, но почти навѣрно. Спору нѣтъ, Раскольниковъ успѣлъ уже себя и давеча слишкомъ скомпрометтировать, но до *фактовъ* все-таки еще не дошло; все еще это только относительно. Но такъ ли, однакоже, такъ ли онъ это все теперь понимаетъ? Не ошибается ли онъ? Къ какому именно результату клонилъ сегодня Порфирій? Дѣйствительно ли было у него что-нибудь приготовлено сегодня? Да и что именно? Дѣйствительно ли онъ ждалъ чего или нѣтъ? Какъ именно разстались бы они сегодня, если бы не подошла неожиданная катастрофа, черезъ Николая?

Порфирій почти всю игру свою показалъ; конечно, рискнулъ, но показалъ, и (все казалось Раскольникову) если бы, дѣйствительно, у Порфирія было что-нибудь болѣе, то онъ показалъ бы и то. Что такое этотъ «сюрпризъ»? Насмѣшка, что ли? Значило это что-нибудь или нѣтъ? Могло ли подъ этимъ скрываться хоть что-нибудь похожее на фактъ, на положительное обвиненіе? Вчерашній человѣкъ? Куда же онъ провалился? Гдѣ онъ былъ сегодня? Вѣдь если только есть что-нибудь у Порфирія положительнаго, то ужъ, конечно, оно въ связи со вчерашнимъ человѣкомъ . . .

Онъ сидѣлъ на диванѣ, свѣсивъ внизъ голову, облокотясь на колѣни и закрывъ руками лицо. Нервная дрожь продолжалась еще во всемъ его тѣлѣ. Наконецъ, онъ всталъ, взялъ фуражку, подумалъ и направился къ дверямъ.

Ему какъ-то предчувствовалось, что, по крайней мѣрѣ, на сегодняшній день онъ почти навѣрное можетъ считать себя безопаснымъ. Вдругъ въ сердцѣ своемъ онъ ощутилъ почти радость: ему захотѣлось поскорѣе къ Катеринѣ Ивановнѣ. На похороны онъ, разумѣется, опоздалъ, но на поминки поспѣетъ, и тамъ, сейчасъ, онъ увидитъ Соню.

Онъ остановился, подумалъ, и болѣзненная улыбка выдавилась на губахъ его.

— Сегодня! Сегодня! — повторилъ онъ про себя, — да, сегодня же! Такъ должно . . .

Только что онъ хотѣлъ отворить дверь, какъ вдругъ она стала отворяться сама. Онъ задрожалъ и отскочилъ назадъ. Дверь отворялась медленно и тихо, и вдругъ показалась фигура — вчерашняго человѣка *изъ подъ земли*.

Человѣкъ остановился на порогѣ, посмотрѣлъ

молча на Раскольникова и ступилъ шагъ въ комнату. Онъ былъ точь-въ-точь какъ и вчера, такая же фигура, такъ же одѣтъ, но въ лицѣ и во взглядѣ его произошло сильное измѣненіе: онъ смотрѣлъ теперь какъ-то пригорюнившись и, постоявъ немного, глубоко вздохнулъ. Недоставало только чтобъ онъ приложилъ при этомъ ладонь къ щекѣ, а голову скривилъ на сторону, чтобъ ужъ совершенно походить на бабу.

— Что вамъ? — спросилъ помертвѣвшій Раскольниковъ.

Человѣкъ помолчалъ и вдругъ глубоко, чуть не до земли, поклонился ему. По крайней мѣрѣ, тронулъ землю перстомъ правой руки.

— Что вы? — вскричалъ Раскольниковъ.

— Виноватъ, — тихо произнесъ человѣкъ.

— Въ чемъ?

— Въ злобныхъ мысляхъ.

Оба смотрѣли другъ на друга.

— Обидно стало. Какъ вы изволили тогда приходить, можетъ, во хмѣлю, и дворниковъ въ кварталъ звали и про кровь спрашивали, обидно мнѣ стало, что втунѣ оставили и за пьянаго васъ почли. И такъ обидно, что сна рѣшился. А запомнивши адресъ, мы вчера сюда приходили и спрашивали...

— Кто приходилъ? — перебилъ Раскольниковъ, мгновенно начиная припоминать.

— Я, то есть, васъ обидѣлъ.

— Такъ вы изъ того дома?

— Да я тамъ же, тогда же въ воротахъ съ ними стоялъ, али запамятовали? Мы и рукомесло свое тамъ имѣемъ, искони. Скорняки мы, мѣщане, на домъ работу беремъ... а паче всего обидно стало...

И вдругъ Раскольникову ясно припомнилась вся сцена третьяго дня подъ воротами; онъ сообразилъ, что кромѣ дворниковъ тамъ стояло тогда еще нѣсколько человѣкъ, стояли и женщины. Онъ припомнилъ одинъ голосъ, предлагавшій вести его прямо въ квартадъ. Лицо говорившаго не могъ онъ вспомнить и даже теперь не признавалъ, но ему памятно было, что онъ даже что-то отвѣтилъ ему тогда, обернулся къ нему...

Такъ вотъ, стало быть, чѣмъ разрѣшился весь этотъ вчерашній ужасъ. Всего ужаснѣе было подумать, что онъ, дѣйствительно, чуть не погибъ, чуть не погубилъ себя изъ за такого *ничтожнаго* обстоятельства. Стало быть, кромѣ найма квартиры и разговоромъ о крови, этотъ человѣкъ ничего не можетъ разсказать. Стало быть, и у Порфирія тоже нѣтъ ничего, ничего, кромѣ этого *бреда,* никакихъ фактовъ, кромѣ этой *психологіи,* которая *о двухъ концахъ,* ничего положительнаго. Стало быть, если не явится никакихъ больше фактовъ (а они не должны уже болѣе являться, не должны, не должны!) то... то что же могутъ съ нимъ сдѣлать? Чѣмъ же могутъ его обличить окончательно, хоть и арестуютъ. И, стало быть, Порфирій только теперь, только сейчасъ узналъ о квартирѣ, а до сихъ поръ и не зналъ.

— Это вы сказали сегодня Порфирію... о томъ, что я приходилъ? — вскричалъ онъ, пораженный внезапною идеей.

— Какому Порфирію?

— Приставу слѣдственныхъ дѣлъ.

— Я сказалъ. Дворники не пошли тогда, я и пошелъ.

— Сегодня?

— Передъ вами за минуточку былъ. И все слышалъ, все, какъ онъ васъ истязалъ.

— Гдѣ? Что? Когда?

— Да тутъ же, у него за перегородкой, все время просидѣлъ.

— Какъ? Такъ это вы-то были сюрпризъ? Да какъ же это могло случиться? Помилуйте!

— Видѣмши я, — началъ мѣщанинъ, — что дворники съ моихъ словъ идти не хотятъ, потому, говорятъ, уже поздно, а, пожалуй, еще осерчаетъ, что тѣмъ часомъ не пришли, стало мнѣ обидно, и сна рѣшился, и сталъ узнавать. А разузнамши вчера, сегодня пошелъ. Въ первой пришелъ — его не было. Часомъ помедля пришелъ — не приняли, въ третій пришелъ — допустили. Сталъ я ему докладывать все какъ было, и сталъ онъ по комнатѣ сигать и себя въ грудь кулакомъ билъ: «Что вы, говоритъ, со мной, разбойники, дѣлаете? Зналъ бы я этакое дѣло, я бъ его съ конвоемъ потребовалъ!» Потомъ выбѣжалъ, какого-то позвалъ и сталъ съ нимъ въ углу говорить, а потомъ опять ко мнѣ и сталъ спрашивать и ругать. И много попрекалъ; а донесъ я ему обо всемъ, и говорилъ, что съ моихъ вчерашнихъ словъ ничего вы не посмѣли мнѣ отвѣчать, и что вы меня не признали. И сталъ онъ тутъ опять бѣгать и все билъ себя въ грудь, и серчалъ, и бѣгалъ, а какъ объ васъ доложили, — ну, говоритъ, полѣзай за перегородку, сиди пока, не шевелись, что бы ты ни услышалъ, и стулъ мнѣ туда самъ принесъ, и меня заперъ; можетъ, говоритъ, я тебя и спрошу. А какъ привели Николая, тутъ онъ меня, послѣ васъ, и вывелъ: я тебя еще, говоритъ, потребую и еще спрашивать буду . . .

— А Николая при тебѣ спрашивалъ?

— Какъ васъ вывелъ, и меня тотчасъ вывелъ, а Николая допрашивать началъ.

Мѣщанинъ остановился и вдругъ опять положилъ поклонъ, коснувшись перстомъ пола.

— За оговоръ и за злобу мою простите.

— Богъ проститъ, — отвѣтилъ Раскольниковъ, и какъ только произнесъ это, мѣщанинъ поклонился ему, но уже не земно, а въ поясъ, медленно повернулся и вышелъ изъ комнаты. «Все о двухъ концахъ, теперь все о двухъ концахъ», твердилъ Раскольниковъ и, болѣе чѣмъ когда-нибудь, бодро вышелъ изъ комнаты.

«Теперь мы еще поборемся», съ злобною усмѣшкой проговорилъ онъ, сходя съ лѣстницы. Злоба же относилась къ нему самому: онъ съ презрѣніемъ и стыдомъ вспоминалъ о своемъ «малодушіи».

Часть пятая.

I.

Утро, послѣдовавшее за роковымъ для Петра Петровича объясненіемъ съ Дунечкой и съ Пульхеріей Александровной, принесло свое отрезвляющее дѣйствіе и на Петра Петровича. Онъ, къ величайшей своей непріятности, принужденъ былъ мало-по-малу принять за фактъ, совершившійся и невозвратимый, то, что вчера еще казалось ему происшествіемъ почти фантастическимъ, и хотя и сбывшимся, но все-таки какъ будто еще невозможнымъ. Черный змѣй ужаленнаго самолюбія всю ночь сосалъ его сердце. Вставъ съ постели, Петръ Петровичъ тотчасъ же посмотрѣлся въ зеркало. Онъ опасался, не разлилась ли въ немъ за ночь желчь? Однако, съ этой стороны все было, покамѣстъ, благополучно, и, посмотрѣвъ на свой благородный, бѣлый и немного ожирѣвшій въ послѣднее время обликъ, Петръ Петровичъ даже на мгновеніе утѣшился, въ полнѣйшемъ убѣжденіи сыскать себѣ невѣсту гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, да, пожалуй, еще и почище; но тотчасъ же опомнился и энергически плюнулъ въ сторону, чѣмъ вызвалъ молчаливую, но саркастическую улыбку въ молодомъ

своемъ другѣ и сожителѣ Андреѣ Семеновичѣ Лебезятниковѣ. Улыбку эту Петръ Петровичъ замѣтилъ и про себя тотчасъ же поставилъ ее молодому своему другу на счетъ. Онъ уже много успѣлъ поставить ему въ послѣднее время на счетъ. Злоба его удвоилась, когда онъ вдругъ сообразилъ, что не слѣдовало бы сообщать вчера о вчерашнихъ результатахъ Андрею Семеновичу. Это была вторая вчерашняя ошибка, сдѣланная имъ сгоряча, отъ излишней экспансивности, въ раздраженіи... Затѣмъ, во все это утро, какъ нарочно, слѣдовала непріятность за непріятностью. Даже въ сенатѣ ждала его какая-то неудача по дѣлу, о которомъ онъ тамъ хлопоталъ. Особенно же раздражилъ его хозяинъ квартиры, нанятой имъ въ видахъ скорой женитьбы и отдѣлываемой на собственный счетъ: этотъ хозяинъ, какой-то разбогатѣвшій нѣмецкій ремесленникъ, ни за что не соглашался нарушить только что совершенный контрактъ и требовалъ полной прописанной въ контрактѣ неустойки, несмотря на то, что Петръ Петровичъ возвращалъ ему квартиру почти заново отдѣланную. Точно также и въ мебельномъ магазинѣ ни за что не хотѣли возвратить ни одного рубля изъ задатка за купленную, но еще не перевезенную въ квартиру мебель. «Не нарочно же мнѣ жениться для мебели!» скрежеталъ про себя Петръ Петровичъ, и въ то же время еще разъ мелькнула въ немъ отчаянная надежда: «Да неужели же въ самомъ дѣлѣ все это такъ безвозвратно пропало и кончилось? Неужели нельзя еще разъ попытаться?» Мысль о Дунечкѣ еще разъ соблазнительно занозила его сердце. Съ мученіемъ перенесъ онъ эту минуту и ужъ, конечно, если бы можно было сейчасъ, однимъ

только желаніемъ, умертвить Раскольникова, то Петръ Петровичъ немедленно произнесъ бы это желаніе.

«Ошибка была еще кромѣ того и въ томъ, что я имъ денегъ совсѣмъ не давалъ», думалъ онъ, грустно возвращаясь въ каморку Лебезятникова, — «и съ чего, чертъ возьми, я такъ ожидовѣлъ? Тутъ даже и расчета никакого не было! Я думалъ ихъ въ черномъ тѣлѣ попридержать и довести ихъ, чтобъ они на меня какъ на Провидѣніе смотрѣли, а они вонъ!.. Тьфу!.. Нѣтъ, если бъ я выдалъ имъ за все это время, напримѣръ, тысячи полторы на приданое, да на подарки, на коробочки тамъ разныя, несессеры, сердолики, матеріи и на всю эту дрянь, отъ Кнопа, да изъ англійскаго магазина, такъ было бы дѣло почище и... покрѣпче! Не такъ бы легко мнѣ теперь отказали! Это народъ такого склада, что непремѣнно почли бы за обязанность возвратить въ случаѣ отказа и подарки, и деньги; а возвращать-то было бы тяжеленько и жалко! Да и совѣсть бы щекотала: какъ, дескать, такъ вдругъ прогнать человѣка, который до сихъ поръ былъ такъ щедръ и довольно деликатенъ?.. Гм! Далъ маху!» И, заскрежетавъ еще разъ, Петръ Петровичъ тутъ же назвалъ себя дуракомъ — про себя, разумѣется.

Придя къ этому заключенію, онъ вернулся домой вдвое злѣе и раздражительнѣе, чѣмъ вышелъ. Приготовленія къ поминкамъ въ комнатѣ Катерины Ивановны завлекли отчасти его любопытство. Онъ кой-что и вчера еще слышалъ объ этихъ поминкахъ; даже помнилось, какъ будто и его приглашали; но за собственными хлопотами, онъ все это остальное пропустилъ безъ вниманія. Поспѣшивъ

освѣдомиться у г-жи Липпевехзель, хлопотавшей въ отсутствіи Катерины Ивановны (находившейся на кладбищѣ) около накрывавшагося стола, онъ узналъ, что поминки будутъ торжественныя, что приглашены почти всѣ жильцы, изъ нихъ даже и незнакомые покойному, что приглашенъ даже Андрей Семеновичъ Лебезятниковъ, несмотря на бывшую его ссору съ Катериной Ивановной и, наконецъ, онъ самъ, Петръ Петрвичъ, не только приглашенъ, но даже съ большимъ нетерпѣніемъ ожидается, такъ какъ онъ почти самый важный гость изъ всѣхъ жильцовъ. Сама Амалія Ивановна приглашена была съ большимъ почетомъ, несмотря на всѣ бывшія непріятности, а потому хозяйничала и хлопотала теперь, почти чувствуя отъ этого наслажденіе, а сверхъ того, была вся разодѣта, хоть и въ трауръ, но во все новое, въ шелковое, въ пухъ и прахъ, и гордилась этимъ. Всѣ эти факты и свѣдѣнія подали Петру Петровичу нѣкоторую мысль, и онъ прошелъ въ свою комнату, то есть въ комнату Андрея Семеновича Лебезятникова, въ нѣкоторой задумчивости. Дѣло въ томъ, что онъ узналъ тоже, что въ числѣ приглашенныхъ находится и Раскольниковъ.

Андрей Семеновичъ сидѣлъ почему-то все это утро дома. Съ этимъ господиномъ у Петра Петровича установились какія-то странныя, впрочемъ, отчасти и естественныя отношенія: Петръ Петровичъ презиралъ и ненавидѣлъ его даже сверхъ мѣры, почти съ того самаго дня, какъ у него поселился, но въ то же время какъ будто нѣсколько опасался его. Онъ остановился у него по пріѣздѣ въ Петербургъ не изъ одной только скаредной экономіи, хотя это и было почти главною причиной, но была тутъ и другая причина. Еще въ провинціи слы-

шалъ онъ объ Андреѣ Семеновичѣ, своемъ бывшемъ питомцѣ, какъ объ одномъ изъ самыхъ передовыхъ молодыхъ прогрессистовъ и даже какъ объ играющемъ значительную роль въ иныхъ любопытныхъ и баснословныхъ кружкахъ. Это поразило Петра Петровича. Вотъ эти-то мощные, всезнающіе, всѣхъ презирающіе и всѣхъ обличающіе кружки уже давно пугали Петра Петровича какимъ-то особеннымъ страхомъ, совершенно, впрочемъ, неопредѣленнымъ. Ужъ, конечно, самъ онъ, да еще въ провинціи, не могъ ни о чемъ *въ этомъ родѣ* составить себѣ, хотя приблизительно, точное понятіе. Слышалъ онъ, какъ и всѣ, что существуютъ, особенно въ Петербургѣ, какіе-то прогрессисты, нигилисты, обличители и проч., и проч., но, подобно многимъ, преувеличивалъ и искажалъ смыслъ и значеніе этихъ названій до нелѣпаго. Пуще всего боялся онъ, вотъ уже нѣсколько лѣтъ, *обличенія,* и это было главнѣйшимъ основаніемъ его постояннаго, преувеличеннаго безпокойства, особенно при мечтахъ о перенесеніи дѣятельности своей въ Петербургъ. Въ этомъ отношеніи онъ былъ, какъ говорится, *испуганъ,* какъ бываютъ иногда *испуганы* маленькія дѣти. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ провинціи, еще начиная только устраивать свою карьеру, онъ встрѣтилъ два случая жестоко обличенныхъ губернскихъ довольно значительныхъ лицъ, за которыхъ онъ дотолѣ цѣплялся и которыя ему покровительствовали. Одинъ случай чуть-чуть было не кончился даже и весьма хлопотливо. Вотъ почему Петръ Петровичъ положилъ, по пріѣздѣ въ Петербургъ, немедленно разузнать, въ чемъ дѣло, и если надо, то на всякій случай забѣжать впередъ и заискать у «молодыхъ поколѣній нашихъ». Въ

этомъ случаѣ надѣялся онъ на Андрея Семеновича и при посѣщеніи, напримѣръ, Раскольникова уже научился кое-какъ округлять извѣстныя фразы съ чужого голоса...

Конечно, онъ быстро успѣлъ разглядѣть въ Андреѣ Семеновичѣ чрезвычайно пошленькаго и простоватаго человѣчка. Но это нисколько не разувѣрило и не ободрило Петра Петровича. Если бы даже онъ увѣрился, что и всѣ прогрессисты такіе же дурачки, то и тогда бы не утихло его безпокойство. Собственно до всѣхъ этихъ ученій, мыслей, системъ (съ которыми Андрей Семеновичъ такъ на него и накинулся), ему никакого не было дѣла. У него была своя собственная цѣль. Ему надо было только поскорѣй немедленно разузнать: что и какъ *тутъ* случилось? Въ силѣ *эти люди* или не въ силѣ? Есть ли чего бояться, собственно ему, или нѣтъ? Обличатъ его, если онъ вотъ то-то предприметъ, или не обличатъ? А если обличатъ, то за что именно, и за что собственно теперь обличаютъ? Мало того: нельзя ли какъ-нибудь къ нимъ поддѣлаться и тутъ же ихъ поднадуть, если они и въ самомъ дѣлѣ сильны? Надо или не надо это? Нельзя ли, напримѣръ, что-нибудь подустроить въ своей карьерѣ именно черезъ ихъ же посредство? Однимъ словомъ, предстояли сотни вопросовъ.

Этотъ Андрей Семеновичъ былъ худосочный и золотушный человѣчекъ, маленькаго роста, гдѣ-то служившій и до странности бѣлокурый, съ бакенбардами, въ видѣ котлетъ, которыми онъ очень гордился. Сверхъ того, у него почти постоянно болѣли глаза. Сердце у него было довольно мягкое, но рѣчь весьма самоувѣренная, а иной разъ чрезвы-

чайно даже заносчивая, — что, въ сравненіи съ фигуркой его, почти всегда выходило смѣшно. У Амаліи Ивановны онъ считался, впрочемъ, въ числѣ довольно почетныхъ жильцовъ, то есть не пьянствовалъ и за квартиру платилъ исправно. Несмотря на всѣ эти качества, Андрей Семеновичъ, дѣйствительно, былъ глуповатъ. Прикомандировался же онъ къ прогрессу и къ «молодымъ поколѣніямъ нашимъ» — по страсти. Это былъ одинъ изъ того безчисленнаго и разноличнаго легіона пошляковъ, дохленькихъ недоносковъ и всему недоучившихся самодуровъ, которые мигомъ пристаютъ непремѣнно къ самой модной ходячей идеѣ, чтобы тотчасъ же опошлить ее, чтобы мигомъ окаррикатурить все, чему они же иногда самымъ искреннимъ образомъ служатъ.

Впрочемъ, Лебезятниковъ, несмотря даже на то, что былъ очень добренькій, тоже начиналъ отчасти не терпѣть своего сожителя и бывшаго опекуна Петра Петровича. Сдѣлалось это съ обѣихъ сторонъ какъ-то невзначай и взаимно. Какъ ни былъ простоватъ Андрей Семеновичъ, но все-таки началъ понемногу разглядывать, что Петръ Петровичъ его надуваетъ и втайнѣ презираетъ, и что «не такой совсѣмъ этотъ человѣкъ». Онъ было попробовалъ ему излагать систему Фурье и теорію Дарвина, но Петръ Петровичъ, особенно въ послѣднее время, началъ слушать какъ-то ужъ слишкомъ саркастически, а въ самое послѣднее время, — такъ даже сталъ браниться. Дѣло въ томъ, что онъ, по инстинкту, начиналъ проникать, что Лебезятниковъ не только пошленькій и глуповатый человѣчекъ, но, можетъ быть, и лгунишка, и что никакихъ вовсе не имѣетъ онъ связей позначительнѣе даже

въ своемъ кружкѣ, а только слышалъ что-нибудь съ третьяго голоса; мало того: и дѣла-то своего *пропаганднаго,* можетъ, не знаетъ порядочно, потому что ужъ слишкомъ сбивается, и что ужъ куда ему быть обличителемъ! — Кстати, замѣтимъ мимоходомъ, что Петръ Петровичъ, въ эти полторы недѣли, охотно принималъ (особенно вначалѣ) отъ Андрея Семеновича даже весьма странныя похвалы, то есть не возражалъ, напримѣръ, и промалчивалъ, если Андрей Семеновичъ приписывалъ ему готовность способствовать будущему и скорому устройству новой «*коммуны*», гдѣ-нибудь въ Мѣщанской улицѣ; или, напримѣръ, не мѣшать Дунечкѣ, если той, съ первымъ же мѣсяцемъ брака, вздумается завести любовника; или не крестить своихъ будущихъ дѣтей и проч., и проч., — все въ этомъ родѣ. Петръ Петровичъ, по обыкновенію своему, не возражалъ на такія приписываемыя ему качества, и допускалъ хвалить себя даже этакъ, — до того пріятна была ему всякая похвала.

Петръ Петровичъ, размѣнявшій для какихъ-то причинъ въ это утро нѣсколько пятипроцентныхъ билетовъ, сидѣлъ за столомъ и пересчитывалъ пачки кредитокъ и серій. Андрей Семеновичъ, у котораго никогда почти не бывало денегъ, ходилъ по комнатѣ и дѣлалъ самъ себѣ видъ, что смотритъ на всѣ эти пачки равнодушно и даже съ пренебреженіемъ. Петръ Петровичъ ни за что бы, напримѣръ, не повѣрилъ, что и дѣйствительно Андрей Семеновичъ можетъ смотрѣть на такія деньги равнодушно; Андрей же Семеновичъ, въ свою очередь, съ горечью подумывалъ, что вѣдь и въ самомъ дѣлѣ Петръ Петровичъ, можетъ быть, способенъ про

него такъ думать, да еще и радъ, пожалуй, случаю пощекотать и подразнить своего молодого друга разложенными пачками кредитокъ, напомнивъ ему его ничтожество и всю существующую, будто бы, между ними обоими разницу.

Онъ находилъ его, въ этотъ разъ, до небывалаго раздражительнымъ и невнимательнымъ, несмотря на то, что онъ, Андрей Семеновичъ, пустился было развивать передъ нимъ свою любимую тему о заведеніи новой, особой «коммуны». Краткія возраженія и замѣчанія, вырвавшіяся у Петра Петровича въ промежуткахъ между чиканіемъ костяшекъ на счетахъ, дышали самою явною и съ намѣреніемъ невѣжливою насмѣшкой. Но «гуманный» Андрей Семеновичъ приписывалъ расположеніе духа Петра Петровича впечатлѣнію вчерашняго разрыва съ Дунечкой и горѣлъ желаніемъ поскорѣй заговорить на эту тему: у него было кой что сказать на этотъ счетъ прогрессивнаго и пропагандна-го, что могло бы утѣшить его почтеннаго друга и «несомнѣнно» принести пользу его дальнѣйшему развитію.

— Какія это тамъ поминки устраиваются у этой... у вдовы-то? — спросилъ вдругъ Петръ Петровичъ, перерывая Андрея Семеновича на самомъ интереснѣйшемъ мѣстѣ.

— Будто не знаете; я вѣдь вчера же говорилъ съ вами на эту же тему и развивалъ мысль обо всѣхъ этихъ обрядахъ... Да она вѣдь и васъ тоже пригласила, я слышалъ. Вы сами съ ней вчера говорили...

— Я никакъ не ждалъ, что эта нищая дура усадитъ на поминки всѣ деньги, которыя получила отъ этого другого дурака... Раскольникова. Даже

подивился сейчасъ, проходя: такія тамъ приготовленія, вина... Позвано нѣсколько человѣкъ, — чертъ знаетъ, что такое! — продолжалъ Петръ Петровичъ, разспрашивая и наводя на этотъ разговоръ какъ бы съ какою-то цѣлью. — Что? Вы говорите, что и меня приглашали? — вдругъ прибавилъ онъ, поднимая голову. — Когда же это? Не помню-съ. Впрочемъ, я не пойду. Что я тамъ? Я вчера говорилъ только съ нею, мимоходомъ, о возможности ей получить, какъ нищей вдовѣ чиновника, годовой окладъ, въ видѣ единовременнаго пособія. Такъ ужъ не за это ли она меня приглашаетъ? Хе-хе!

— Я тоже не намѣренъ идти, — сказалъ Лебезятниковъ.

— Еще бы! Собственноручно отколотили. Понятно что совѣстно, хе-хе-хе!

— Кто отколотилъ? Кого? — вдругъ всполошился и даже покраснѣлъ Лебезятниковъ.

— Да вы-то, Катерину-то Ивановну, съ мѣсяцъ назадъ, что ли! Я вѣдь слышалъ-съ, вчера-съ... То-то вотъ они убѣжденія-то!.. Да и женскій вопросъ подгулялъ. Хе-хе-хе!

И Петръ Петровичъ, какъ бы утѣшенный, принялся опять щелкать на счетахъ.

— Это все вздоръ и клевета! — вспыхнулъ Лебезятниковъ, который постоянно трусилъ напоминанія объ этой исторіи, — и совсѣмъ это не такъ было! Это было другое... Вы не такъ слышали; сплетня! Я просто тогда защищался. Она сама первая бросилась на меня съ когтями... Она мнѣ весь бакенбардъ выщипала... Всякому человѣку позволительно, надѣюсь, защищать свою личность. Къ тому же я никому не позволю съ собой наси-

лія... По принципу. Потому это ужъ почти деспотизмъ. Что жъ мнѣ было: такъ и стоять передъ ней? Я ее только отпихнулъ.

— Хе-хе-хе! — продолжалъ злобно подсмѣиваться Лужинъ.

— Это вы потому задираете, что сами разсержены и злитесь... А это вздоръ и совсѣмъ, совсѣмъ не касается женскаго вопроса! Вы не такъ понимаете; я даже думалъ, что если ужъ принято, что женщина равна мужчинѣ во всемъ, даже въ силѣ (что уже утверждаютъ), то, стало быть, и тутъ должно быть равенство. Конечно, я разсудилъ потомъ, что такого вопроса въ сущности быть не должно, потому что драки и быть не должно, и что случаи драки въ будущемъ обществѣ немыслимы... и что странно, конечно, искать равенства въ дракѣ. Я не такъ глупъ... хотя драка, впрочемъ, и есть... то есть послѣ не будетъ, а теперь-то вотъ еще есть... тьфу! чертъ! Съ вами собьешься! Я не потому не пойду на поминки, что была эта непріятность. Я просто по принципу не пойду, чтобы не участвовать въ гнусномъ предразсудкѣ поминокъ, вотъ что! Впрочемъ, оно и можно бы было пойти, такъ только, чтобы посмѣяться... Но жаль, что поповъ не будетъ. А то бы непремѣнно пошелъ.

— То есть сѣсть за чужую хлѣбъ-соль и тутъ же наплевать на нее, равномѣрно и на тѣхъ, которые васъ пригласили. Такъ, что ли?

— Совсѣмъ не наплевать, а протестовать. Я съ полезною цѣлью. Я могу косвенно способствовать развитію и пропагандѣ. Всякій человѣкъ обязанъ развивать и пропагандировать, и, можетъ быть, чѣмъ рѣзче, тѣмъ лучше. Я могу закинуть идею,

зерно... Изъ этого зерна вырастетъ фактъ. Чѣмъ я ихъ обижаю? Сперва обидятся, а потомъ сами увидятъ, что я имъ пользу принесъ. Вотъ у насъ обвиняли было Теребьеву (вотъ что теперь въ коммунѣ), что когда она вышла изъ семьи и... отдалась, то написала матери и отцу, что не хочетъ жить среди предразсудковъ и вступаетъ въ гражданскій бракъ, и что будто бы это было слишкомъ грубо, съ отцами-то, что можно было бы ихъ пощадить, написать мягче. По-моему, все это вздоръ, и совсѣмъ не нужно мягче, напротивъ, напротивъ, тутъ-то и протестовать. Вонъ, Варенцъ семь лѣтъ съ мужемъ прожила, двухъ дѣтей бросила, разомъ отрѣзала мужу въ письмѣ: «Я сознавала, что съ вами не могу быть счастлива. Никогда не прощу вамъ, что вы меня обманывали, скрывъ отъ меня, что существуетъ другое устройство общества, посредствомъ коммунъ. Я недавно все это узнала отъ одного великодушнаго человѣка, которому и отдалась, и вмѣстѣ съ нимъ завожу коммуну. Говорю прямо, потому что считаю безчестнымъ васъ обманывать. Оставайтесь, какъ вамъ угодно. Не надѣйтесь вернуть меня, вы слишкомъ опоздали. Желаю быть счастливымъ». Вотъ какъ пишутся подобнаго рода письма!

— А эта Теребьева, вѣдь это та самая, про которую вы тогда говорили, что въ третьемъ гражданскомъ бракѣ состоитъ.

— Всего только во второмъ, если судить понастоящему! Да хоть бы и въ четвертомъ, хоть бы въ пятнадцатомъ, все это вздоръ! И если я когда сожалѣлъ, что у меня отецъ и мать умерли, то ужъ, конечно, теперь. Я нѣсколько разъ мечталъ даже о томъ, что, если бъ они еще были

живы, какъ бы я ихъ огрѣлъ протестомъ! Нарочно подвелъ бы такъ... Это что какой-нибудь тамъ «отрѣзанный ломоть», тьфу! Я бы имъ показалъ! Я бы ихъ удивилъ! Право, жаль, что нѣтъ никого!

— Чтобъ удивить-то? Хе-хе! Ну, это пускай будетъ, какъ вамъ угодно, — перебилъ Петръ Петровичъ, — а вы вотъ что скажите-ка: вѣдь вы знаете эту дочь покойника-то, шупленькая такая! Вѣдь это правда совершенная, что про нее говорятъ, а?

— Что жъ такое? По-моему, то есть по моему личному убѣжденію, это самое нормальное состояніе женщины и есть. Почему же нѣтъ? То есть distinguons. Въ нынѣшнемъ обществѣ оно, конечно, не совсѣмъ нормально, потому что вынужденное, а въ будущемъ совершенно нормально, потому что свободное. Да и теперь она имѣла право: она страдала, а это былъ ея фондъ, такъ сказать, капиталъ, которымъ она имѣла полное право располагать. Разумѣется, въ будущемъ обществѣ фондовъ не надо будетъ; но ея роль будетъ обозначена въ другомъ значеніи, обусловлена стройно и раціонально. Что же касается до Софьи Семеновны лично, въ настоящее вермя я смотрю на ея дѣйствія какъ на энергическій и олицетворенный протестъ противъ устройства общества, и глубоко уважаю ее за это; даже радуюсь на нее глядя!

— А мнѣ же разсказывали, что вы-то и выжили ее отсюда изъ нумеровъ!

Лебезятниковъ даже разсвирѣпѣлъ.

— Это другая сплетня! — завопилъ онъ. — Совсѣмъ, совсѣмъ не такъ дѣло было! Вотъ ужъ это-то не такъ! Это все Катерина Ивановна тогда

наврала, потому что ничего не поняла! И совсѣмъ я не подбивался къ Софьѣ Семеновнѣ? Я просто-за-просто развивалъ ее, совершенно безкорыстно, стараясь возбудить въ ней протестъ... Мнѣ только протестъ и былъ нуженъ, да и сама по себѣ Софья Семеновна уже не могла оставаться здѣсь въ нумерахъ!

— Въ коммуну, что ль, звали?

— Вы все смѣетесь и очень неудачно, позвольте вамъ это замѣтить. Вы ничего не понимаете! Въ коммунѣ такихъ ролей нѣтъ. Коммуна и устраивается для того, чтобы такихъ ролей не было. Въ коммунѣ эта роль измѣнитъ всю теперешнюю свою сущность, и что здѣсь глупо, то тамъ станетъ умно, что здѣсь, при теперешнихъ обстоятельствахъ, неестественно, то тамъ станетъ совершенно естественно. Все зависитъ, въ какой обстановкѣ и въ какой средѣ человѣкъ. Все отъ среды, а самъ человѣкъ есть ничто. А съ Софьей Семеновной я въ ладахъ и теперь, что можетъ вамъ послужить доказательствомъ, что никогда она не считала меня своимъ врагомъ и обидчикомъ. Да! Я соблазняю ее теперь въ коммуну, но только совсѣмъ, совсѣмъ на другихъ основаніяхъ! Чего вамъ смѣшно? Мы хотимъ завести свою коммуну, особенную, но только на болѣе широкихъ основаніяхъ, чѣмъ прежнія. Мы пошли дальше въ своихъ убѣжденіяхъ. Мы больше отрицаемъ! Если бы всталъ изъ гроба Добролюбовъ, я бы съ нимъ поспорилъ! А ужъ Бѣлинскаго закаталъ бы! А покамѣстъ, я продолжаю развивать Софью Семеновну. Это прекрасная, прекрасная натура!

— Ну, а прекрасною-то натурой и пользуетесь, а? Хе-хе!

— Нѣтъ, нѣтъ! О, нѣтъ! Напротивъ!

— Ну, ужъ и напротивъ! Хе-хе-хе! Экъ сказалъ!

— Да повѣрьте же! Да изъ за какихъ причинъ я бы сталъ скрывать передъ вами, скажите пожалуйста? Напротивъ, мнѣ даже самому это странно: со мной она какъ-то усиленно, какъ-то боязливо цѣломудренна и стыдлива!

— И вы, разумѣется, развиваете... хе-хе! доказываете ей, что всѣ эти стыдливости вздоръ?

— Совсѣмъ нѣтъ! Совсѣмъ нѣтъ! О, какъ вы грубо, какъ даже глупо — простите меня — понимаете слово: развитіе! Н-ничего-то вы не понимаете! О, Боже, какъ вы еще... не готовы! Мы ищемъ свободы женщины, а у васъ одно на умѣ... Обходя совершенно вопросъ о цѣломудріи и о женской стыдливости, какъ о вещахъ самихъ по себѣ безполезныхъ и даже предразсудочныхъ, я вполнѣ, вполнѣ допускаю ея цѣломудренность со мною, потому что въ этомъ — вся ея воля, все ея право. Разумѣется, если бъ она мнѣ сама сказала: «Я хочу тебя имѣть», то я бы почелъ себя въ большой удачѣ, потому что дѣвушка мнѣ очень нравится; но теперь, теперь, по крайней мѣрѣ, ужъ, конечно, никто и никогда не обращался съ ней болѣе вѣжливо и учтиво, чѣмъ я, болѣе съ уваженіемъ къ ея достоинству... я жду и надѣюсь — и только!

— А вы подарите-ка ей лучше что-нибудь. Бьюсь объ закладъ, что объ этомъ-то вотъ вы и не подумали.

— Н-ничего-то вы не понимаете, я вамъ сказалъ! Оно, конечно, таково ея положеніе, но — тутъ другой вопросъ! Совсѣмъ другой! Вы просто ее презираете. Видя фактъ, который, по ошиб-

кѣ, считаете достойнымъ презрѣнія, вы уже отказываете человѣческому существу въ гуманномъ на него взглядѣ. Вы еще не знаете какая это натура! Мнѣ только очень досадно, что она, въ послѣднее время, какъ-то совсѣмъ перестала читать и уже не беретъ у меня больше книгъ. А прежде брала. Жаль тоже, что при всей своей энергіи и рѣшимости протестовать, — которую она уже разъ доказала, — у ней все еще какъ будто мало самостоятельности, такъ сказать, независимости, мало отрицанія, чтобы совершенно оторваться отъ иныхъ предразсудковъ и... глупостей. Несмотря на то, она отлично понимаетъ иные вопросы. Она великолѣпно, напримѣръ, поняла вопросъ о цѣлованіи рукъ, то есть, что мужчина оскорбляетъ женщину неравенствомъ, если цѣлуетъ у ней руку. Этотъ вопросъ у насъ дебатированъ, и я тотчасъ же ей передалъ. Объ ассоціаціяхъ рабочихъ во Франціи она тоже слушала внимательно. Теперь я толкую ей вопросъ свободнаго входа въ комнату въ будущемъ обществѣ.

— Это еще что̀ такое?

— Дебатированъ былъ въ послѣднее время вопросъ: имѣетъ ли право членъ коммуны входить къ другому члену въ комнату, къ мужчинѣ или женщинѣ, во всякое время... ну и рѣшено, что имѣетъ...

— Ну, а какъ тотъ или та заняты въ ту минуту необходимыми потребностями, хе-хе!

Андрей Семеновичъ даже разсердился.

— А вы все объ этомъ, объ этихъ проклятыхъ «потребностяхъ»! — вскричалъ онъ съ ненавистью;—тьфу, какъ я злюсь и досадую, что, излагая систему, упомянулъ вамъ тогда преждевре-

менно объ этихъ проклятыхъ потребностяхъ! Чертъ возьми! Это камень преткновенія для всѣхъ вамъ подобныхъ, а пуще всего — поднимаютъ на зубокъ, прежде чѣмъ узнаютъ въ чемъ дѣло! И точно вѣдь правы! Точно вѣдь гордятся чѣмъ-то! Тьфу! Я нѣсколько разъ утверждалъ, что весь этотъ вопросъ возможно излагать новичкамъ не иначе какъ въ самомъ концѣ, когда уже развитъ и направленъ человѣкъ. Да и что, скажите пожалуйста, что вы находите такого постыднаго и презрѣннаго хоть бы въ помойныхъ ямахъ? Я первый, я готовъ вычистить какія хотите помойныя ямы! Тутъ даже нѣтъ никакого самопожертвованія! Тутъ просто работа, благородная, полезная обществу дѣятельность, которая стоитъ всякой другой, и уже гораздо выше, напримѣръ, дѣятельности какого-нибудь Рафаэля или Пушкина, потому что полезнѣе.

— И благороднѣе, благороднѣе, — хе-хе-хе!

— Что такое благороднѣе? Я не понимаю такихъ выраженій въ смыслѣ опредѣленія человѣческой дѣятельности. «Благороднѣе», «великодушнѣе», — все это вздоръ, нелѣпости, старыя предразсудочныя слова, которыя я отрицаю! Все, что *полезно* человѣчеству, то и благородно. Я понимаю только одно слово: *полезное!* Хихикайте, какъ вамъ угодно, а это такъ!

Петръ Петровичъ очень смѣялся. Онъ уже кончилъ считать и попряталъ деньги. Впрочемъ, часть ихъ зачѣмъ-то все еще оставалась на столѣ. Этотъ «вопросъ о помойныхъ ямахъ» служилъ уже нѣсколько разъ, несмотря на всю свою пошлость, поводомъ къ разрыву и несогласію между Петромъ Петровичемъ и молодымъ его другомъ. Вся глу-

пость состояла въ томъ, что Андрей Семеновичъ, дѣйствительно, сердился. Лужинъ же отводилъ на этомъ душу, а въ настоящую минуту ему особенно хотѣлось позлить Лебезятникова.

— Это вы отъ вчерашней вашей неудачи такъ злы и привязываетесь, — прорвался, наконецъ, Лебезятниковъ, который, вообще говоря, несмотря на всю свою «независимость» и на всѣ «протесты», какъ-то не смѣлъ оппонировать Петру Петровичу и, вообще, все еще наблюдалъ передъ нимъ какую-то привычную, съ прежнихъ лѣтъ, почтительность.

— А вы лучше вотъ что скажите-ка, — высокомѣрно и съ досадой прервалъ Петръ Петровичъ, — вы можете ли-съ... или лучше сказать: дѣйствительно ли и на столько ли вы коротки съ вышеупомянутою молодою особой, чтобы попросить ее теперь же, на минуту, сюда, въ эту комнату? Кажется, онѣ всѣ уже тамъ воротились, съ кладбища-то... Я слышу, поднялась ходьба... Мнѣ бы надо ее повидать-съ, особу-то-съ.

— Да вамъ зачѣмъ? — съ удивленіемъ спросилъ Лебезятниковъ.

— А такъ-съ, надо-съ. Сегодня-завтра я отсюда съѣду, а потому желалъ бы ей сообщить... Впрочемъ, будьте, пожалуй, и здѣсь, во время объясненія. Тѣмъ даже лучше. А то вы, пожалуй, и Богъ знаетъ что подумаете.

— Я ровно ничего не подумаю... Я только такъ спросилъ, и если у васъ есть дѣло, то нѣтъ ничего легче, какъ ее вызвать. Сейчасъ схожу. А самъ, будте увѣрены, вамъ мѣшать не стану.

Дѣйствительно, минутъ черезъ пять Лебезятниковъ возвратился съ Сонечкой. Та вошла въ чрезвычайномъ удивленіи и, по обыкновенію своему, ро-

бѣя. Она всегда робѣла въ подобныхъ случаяхъ и очень боялась новыхъ лицъ и новыхъ знакомствъ, боялась и прежде, еще съ дѣтства, а теперь тѣмъ болѣе... Петръ Петровичъ встрѣтилъ ее «ласково и вѣжливо», впрочемъ, съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ какой-то веселой фамильярности, приличной, впрочемъ, по мнѣнію Петра Петровича, такому почтенному и солидному человѣку, какъ онъ, въ отношеніи такого юнаго и въ нѣкоторомъ смыслѣ *интереснаго* существа, какъ она. Онъ поспѣшилъ ее «ободрить» и посадилъ за столъ, напротивъ себя. Соня сѣла, посмотрѣла кругомъ, — на Лебезятникова, на деньги, лежавшія на столѣ, и потомъ вдругъ опять на Петра Петровича, и уже не отрывала болѣе отъ него глазъ, точно приковалась къ нему. Лебезятниковъ направился было къ двери. Петръ Петровичъ всталъ, знакомъ пригласилъ Соню сидѣть и остановилъ Лебезятникова въ дверяхъ.

— Этотъ Раскольниковъ тамъ? Пришелъ онъ? — спросилъ онъ его шепотомъ.

— Раскольниковъ? Тамъ. А что? Да, тамъ... Сейчасъ только вошелъ, я видѣлъ... А что?

— Ну, такъ я васъ особенно попрошу остаться здѣсь, съ нами, и не оставлять меня наединѣ съ этой... дѣвицей. Дѣло пустяшное, а выведутъ Богъ знаетъ что. Я не хочу, чтобы Раскольниковъ *тамъ* передалъ... Понимаете, про что я говорю?

— А, понимаю, понимаю! — вдругъ догадался Лебезятниковъ. — Да, вы имѣете право... Оно, конечно, по моему личному убѣжденію, вы далеко хватаете въ вашихъ опасеніяхъ, но... вы все-таки имѣете право. Извольте, я остаюсь. Я стану здѣсь у окна и не буду вамъ мѣшать... По-моему, вы имѣете право...

Петръ Петровичъ воротился на диванъ, усѣлся напротивъ Сони, внимательно посмотрѣлъ на нее и вдругъ принялъ чрезвычайно солидный, даже нѣсколько строгій видъ: «Дескать, ты-то сама чего не подумай, сударыня». Соня смутилась окончательно.

— Во-первыхъ, вы пожалуйста извините меня, Софья Семеновна, передъ многоуважаемой вашей мамашей... Такъ, вѣдь, кажется? За мѣсто матери приходится вамъ Катерина-то Ивановна? — началъ Петръ Петровичъ, весьма солидно, но, впрочемъ, довольно ласково. Видно было, что онъ имѣетъ самыя дружественныя намѣренія.

— Такъ точно-съ, такъ-съ; за мѣсто матери-съ, — торопливо и пугливо отвѣтила Соня.

— Ну-съ, такъ вотъ и извините меня передъ нею, что я, по обстоятельствамъ независящимъ, принужденъ манкировать и не буду у васъ на блинахъ... то есть на поминкахъ, несмотря на милый зовъ вашей мамаши.

— Такъ-съ; скажу-съ; сейчасъ-съ, — и Сонечка торопливо вскочила со стула.

— *Еще* не все-съ, — остановилъ ее Петръ Петровичъ, улыбнувшись на ея простоватость и незнаніе приличій, — и мало вы меня знаете, любезнѣйшая Софья Семеновна, если подумали, что изъ-за этой маловажной, касающейся одного меня причины, я бы сталъ безпокоить лично и призывать къ себѣ такую особу, какъ вы. Цѣль у меня другая-съ.

Соня торопливо сѣла. Сѣрыя и радужныя кредитки, не убранныя со стола, опять замелькали въ глазахъ, но она быстро отвела отъ нихъ лицо и подняла его на Петра Петровича: ей вдругъ показалось ужасно неприличнымъ, особенно *ей,* глядѣть

на чужія деньги. Она уставилась было взглядомъ на золотой лорнетъ Петра Петровича, который онъ придерживалъ въ лѣвой рукѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на большой, массивный, чрезвычайно красивый перстень съ желтымъ камнемъ, который былъ на среднемъ пальцѣ этой руки, — но вдругъ и отъ него отвела глаза, и не зная ужъ куда дѣваться, кончила тѣмъ, что уставилась опять прямо въ глаза Петру Петровичу. Помолчавъ еще солиднѣе, чѣмъ прежде, тотъ продолжалъ:

— Случилось мнѣ вчера, мимоходомъ, перекинуть слова два съ несчастною Катериной Ивановной. Двухъ словъ достаточно было узнать, что она находится въ состояніи—противоестественномъ,— если только можно такъ выразиться . . .

— Да-съ . . . въ противоестественномъ-съ, — торопясь поддакивала Соня.

— Или проще и понятнѣе сказать — въ больномъ.

— Да-съ, проще и понят . . . да-съ, больна-съ.

— Такъ-съ. Такъ вотъ, по чувству гуманности, и-и-и, такъ сказать, состраданія, я бы желалъ быть, съ своей стороны, чѣмъ-нибудь полезнымъ, предвидя неизбѣжно-несчастную участь ея. Кажется, и все бѣднѣйшее семейство это отъ васъ одной теперь только и зависитъ.

— Позвольте спросить, — вдругъ встала Соня, — вы ей что̀ изволили говорить вчера о возможности пенсіона? Потому, она еще вчера говорила мнѣ, что вы взялись ей пенсіонъ выхлопотать. Правда это-съ?

— Отнюдь нѣтъ-съ, и даже въ нѣкоторомъ смыслѣ нелѣпость. Я только намекнулъ о времен-

номъ вспоможеніи вдовѣ умершаго на службѣ чиновника, — если только будетъ протекція, — но, кажется, вашъ покойный родитель не только не выслужилъ срока, но даже и не служилъ совсѣмъ въ послѣднее время. Однимъ словомъ, надежда хоть и могла бы быть, но весьма эфемерная, потому никакихъ, въ сущности, правъ на вспоможеніе, въ семъ случаѣ, не существуетъ, а даже напротивъ... А она уже и о пенсіонѣ задумала, хе-хе-хе! Бойкая барыня!

— Да-съ, о пенсіонѣ... Потому она легковѣрная и добрая, и отъ доброты всему вѣритъ и... и... и... у ней такой умъ... Да-съ... извините-съ, — сказала Соня и опять встала уходить.

— Позвольте, вы еще не дослушали-съ.

— Да-съ, не дослушала-съ, — пробормотала Соня.

— Такъ сядьте же-съ.

Соня законфузилась ужасно и сѣла опять, въ третій разъ.

— Видя таковое ея положеніе, съ несчастными малолѣтними, желалъ бы, — какъ я и сказалъ уже, — чѣмъ-нибудь, по мѣрѣ силъ, быть полезнымъ, то есть, что̀ называется по мѣрѣ силъ-съ, не болѣе. Можно бы, напримѣръ, устроить въ ея пользу подписку, или, такъ сказать, лотерею... или что-нибудь въ этомъ родѣ, — какъ это и всегда въ подобныхъ случаяхъ устраивается близкими, или хотя бы и посторонними, но вообще желающими помочь людьми. Вотъ объ этомъ-то я имѣлъ намѣреніе вамъ сообщить. Оно бы можно-съ.

— Да-съ, хорошо-съ... Богъ васъ за это-съ... — лепетала Соня, пристально смотря на Петра Петровича.

— Можно-съ, но... это мы потомъ-съ... то есть можно бы начать и сегодня. Вечеромъ увидимся, сговоримся и положимъ, такъ сказать, основаніе. Зайдите ко мнѣ сюда часовъ этакъ въ семь. Андрей Семеновичъ, надѣюсь, тоже будетъ участвовать съ нами... Но... тутъ есть одно обстоятельство, о которомъ слѣдуетъ предварительно и тщательно упомянуть. Для сего-то я и обезпокоилъ васъ, Софья Семеновна, моимъ зовомъ сюда. Именно-съ, мое мнѣніе, — что деньги нельзя, да и опасно давать въ руки самой Катеринѣ Ивановнѣ; доказательство же сему — эти самыя сегодняшнія поминки. Не имѣя, такъ сказать, одной корки насущной пищи на завтрашній день и... ну, и обуви, и всего, покупается сегодня ямайскій ромъ и даже, кажется, мадера и-и-и кофе. Я видѣлъ проходя. Завтра же опять все на васъ обрушится, до послѣдняго куска хлѣба; это уже нелѣпо-съ. А потому и подписка, по моему личному взгляду, должна произойти такъ, чтобы несчастная вдова, такъ сказать, и не знала о деньгахъ, а знали бы, напримѣръ, только вы. Такъ ли я говорю?

— Я не знаю-съ. Это только она сегодня-съ, такъ... это разъ въ жизни... ей ужъ очень хотѣлось помянуть, честь оказать, память... а она очень умная-съ. А, впрочемъ, какъ вамъ угодно-съ, и я очень, очень, очень буду... они всѣ будутъ вамъ... и васъ Богъ-съ... и сироты-съ...

Соня не договорила и заплакала.

— Такъ-съ. Ну-съ, такъ имѣйте въ виду-съ; а теперь благоволите принять, для интересовъ вашей родственницы, на первый случай, посильную сумму отъ меня лично. Весьма и весьма желаю, чтобъ имя мое при семъ не было упомянуто. Вотъ-съ...

имѣя, такъ сказать, самъ заботы, болѣе не въ состояніи . . .

И Петръ Петровичъ протянулъ Сонѣ десятирублевый кредитный билетъ, тщательно развернувъ. Соня взяла, вспыхнула, вскочила, что-то пробормотала и поскорѣй стала откланиваться. Петръ Петровичъ торжественно проводилъ ее до дверей. Она выскочила, наконецъ, изъ комнаты, вся взволнованная и измученная, и воротилась къ Катеринѣ Ивановнѣ въ чрезвычайномъ смущеніи.

Во все время этой сцены Андрей Семеновичъ то стоялъ у окна, то ходилъ по комнатѣ, не желая прерывать разговора; когда же Соня ушла, онъ вдругъ подошелъ къ Петру Петровичу и торжественно протянулъ ему руку:

— Я все слышалъ и все *видѣлъ,* — сказалъ онъ, особенно упирая на послѣднее слово. — Это благородно, то есть я хотѣлъ сказать, гуманно! Вы желали избѣгнуть благодарности, я видѣлъ! И хотя, признаюсь вамъ, я не могу сочувствовать, по принципу, частной благотворительности, потому что она не только не искореняетъ зла радикально, но даже питаетъ его еще болѣе, тѣмъ не менѣе не могу не признаться, что смотрѣлъ на вашъ поступокъ съ удовольствіемъ, — да, да, мнѣ это нравится.

— Э, все это вздоръ! — бормоталъ Петръ Петровичъ, нѣсколько въ волненіи и какъ-то приглядываясь къ Лебезятникову.

— Нѣтъ, не вздоръ! Человѣкъ, оскорбленный и раздосадованный, какъ вы, вчерашнимъ случаемъ, и въ то же время способный думать о несчастіи другихъ, — такой человѣкъ-съ . . . хотя поступками своими онъ дѣлаетъ соціальную ошибку, — тѣмъ не менѣе . . . достоинъ уваженія! Я

даже не ожидалъ отъ васъ, Петръ Петровичъ, тѣмъ болѣе, что по вашимъ понятіямъ, о! какъ еще мѣшаютъ вамъ ваши понятія! Какъ волнуетъ, напримѣръ, васъ эта вчерашняя неудача, — восклицалъ добренькій Андрей Семеновичъ, опять почувствовавъ усиленное расположеніе къ Петру Петровичу, — и къ чему, къ чему вамъ непремѣнно этотъ бракъ, этотъ *законный* бракъ, благороднѣйшій Петръ Петровичъ? Къ чему вамъ непремѣнно эта *законность* въ бракѣ? Ну, если хотите, такъ бейте меня, а я радъ, радъ, что онъ не удался, что вы свободны, что вы не совсѣмъ еще погибли для человѣчества, радъ... Видите ли: я высказался!

— Къ тому-съ, что въ вашемъ гражданскомъ бракѣ я не хочу роговъ носить и чужихъ дѣтей разводить, вотъ къ чему-съ мнѣ законный бракъ надобенъ, — чтобы что-нибудь отвѣтить, сказалъ Лужинъ. Онъ былъ чѣмъ-то особенно занятъ и задумчивъ.

— Дѣтей? Вы коснулись дѣтей? — вздрогнулъ Андрей Семеновичъ, какъ боевой конь заслышавшій военную трубу, — дѣти — вопросъ соціальный и вопросъ первой важности, я согласенъ; но вопросъ о дѣтяхъ разрѣшится иначе. Нѣкоторые даже совершенно отрицаютъ дѣтей, какъ всякій намекъ на семью. Мы поговоримъ о дѣтяхъ послѣ, а теперь займемся рогами! Признаюсь васъ, это мой слабый пунктъ. Это скверное, гусарское, Пушкинское выраженіе даже немыслимо въ будущемъ лексиконѣ. Да и что̀ такое рога? О, какое заблужденіе! Какіе рога? Зачѣмъ рога? Какой вздоръ! Напротивъ, въ гражданскомъ-то бракѣ ихъ и не будетъ! Рога, это только естественное слѣдствіе всякаго законнаго брака, такъ сказать, поправка

его, протестъ, такъ что въ этомъ смыслѣ они даже нисколько не унизительны... И если я когда-нибудь, — предположивъ нелѣпость, — буду въ законномъ бракѣ, то я даже радъ буду вашимъ растреклятымъ рогамъ; я тогда скажу женѣ моей: «другъ мой, до сихъ поръ я только любилъ тебя, теперь же я тебя уважаю, потому что ты сумѣла протестовать!» Вы смѣетесь? Это потому что вы не въ силахъ оторваться отъ предразсудковъ! Чертъ возьми, я вѣдь понимаю, въ чемъ именно непріятность, когда надуютъ въ законномъ: но вѣдь это только подлое слѣдствіе подлаго факта, гдѣ унижены и тотъ и другой. Когда же рога ставятся открыто, какъ въ гражданскомъ бракѣ, тогда уже ихъ не существуетъ, они немыслимы и теряютъ даже названіе роговъ. Напротивъ, жена ваша докажетъ вамъ только, какъ она же уважаетъ васъ, считая васъ неспособнымъ воспротивиться ея счастію и на столько развитымъ, чтобы не мстить ей за новаго мужа. Чертъ возьми, я иногда мечтаю, что если бы меня выдали замужъ, тьфу! если бъ я женился (по гражданскому ли, по законному ли, все равно), я бы, кажется, самъ привелъ къ женѣ любовника, если бъ она долго его не заводила: «Другъ мой, сказалъ бы я ей, я тебя люблю, но еще сверхъ того желаю, чтобы ты меня уважала, — вотъ!» Такъ ли, такъ ли я говорю?..

Петръ Петровичъ хихикалъ слушая, но безъ особаго увлеченія. Онъ даже мало и слушалъ. Онъ, дѣйствительно, что-то обдумывалъ другое, и даже Лебезятниковъ, наконецъ, это замѣтилъ. Петръ Петровичъ былъ даже въ волненіи, потиралъ руки, задумывался. Все это Андрей Семеновичъ послѣ сообразилъ и припомнилъ...

II.

Трудно было бы въ точности обозначить причины, вслѣдствіе которыхъ въ разстроенной головѣ Катерины Ивановны зародилась идея этихъ безтолковыхъ поминокъ. Дѣйствительно, на нихъ ухлопаны были чуть ли не десять рублей изъ двадцати слишкомъ, полученныхъ отъ Раскольникова собственно на похороны Мармеладова. Можетъ быть, Катерина Ивановна считала себя обязанною передъ покойникомъ почтить его память «какъ слѣдуетъ», чтобы знали всѣ жильцы и Амалія Ивановна въ особенности, что онъ былъ «не только ихъ совсѣмъ не хуже, а, можетъ быть, еще и гораздо получше-съ», и что никто изъ нихъ не имѣетъ права предъ нимъ «свой носъ задирать». Можетъ быть, тутъ всего болѣе имѣла вліянія та особенная *гордость бѣдныхъ*, вслѣдствіе которой, при нѣкоторыхъ общественныхъ обрядахъ, обязательныхъ въ нашемъ быту для всѣхъ и каждаго, многіе бѣдняки таращатся изъ послѣднихъ силъ и тратятъ послѣднія сбереженныя копейки, чтобы только быть «не хуже другихъ» и чтобы «не осудили» ихъ какъ-нибудь тѣ другіе. Весьма вѣроятно и то, что Катеринѣ Ивановнѣ захотѣлось, именно при этомъ случаѣ, именно въ ту минуту, когда она, казалось бы, всѣми на свѣтѣ оставлена, показать всѣмъ этимъ «ничтожнымъ и сквернымъ жильцамъ», что она не только «умѣетъ жить и умѣетъ принять», но что совсѣмъ даже не для такой доли и была воспитана, а воспитана была въ «благородномъ, можно даже сказать въ аристократическомъ полковничьемъ домѣ», и ужъ вовсе не для того готовилась, чтобы самой мести полъ и мыть по ночамъ дѣтскія тряпки. Эти пароксизмы

гордости и тщеславія посѣщаютъ иногда самыхъ бѣдныхъ и забитыхъ людей и, по временамъ, обращаются у нихъ въ раздражительную, неудержимую потребность. А Катерина Ивановна была сверхъ того и не изъ забитыхъ: ее можно было совсѣмъ убить обстоятельствами, но *забить* ее нравственно, то есть запугать и подчинить себѣ ея волю, нельзя было. Сверхъ того Сонечка весьма основательно про нее говорила, что у ней умъ мѣшается. Положительно и окончательно этого еще, правда, нельзя было сказать, но, дѣйствительно, въ послѣднее время, во весь послѣдній годъ, ея бѣдная голова слишкомъ измучилась, чтобы хоть отчасти не повредиться. Сильное развитіе чахотки, какъ говорятъ медики, тоже способствуетъ помѣшательству умственныхъ способностей.

Винъ во множественномъ числѣ и многоразличныхъ сортовъ не было, *мадеры* тоже: это было преувеличено, но вино было. Были водка, ромъ и лиссабонское, все сквернѣйшаго качества, но всего въ достаточномъ количествѣ. Изъ яствъ, кромѣ кутьи, было три-четыре блюда (между прочимъ и блины), все съ кухни Амаліи Ивановны, да сверхъ того ставились разомъ два самовара для предполагавшихся послѣ обѣда чаю и пуншу. Закупками распорядилась сама Катерина Ивановна, съ помощью одного жильца, какого-то жалкаго полячка, Богъ знаетъ для чего проживавшаго у г-жи Липпевехзель, который тотчасъ же прикомандировался на посылки къ Катеринѣ Ивановнѣ и бѣгалъ весь вчерашній день и все это утро, сломя голову и высунувъ языкъ, кажется, особенно стараясь, чтобы замѣтно было это послѣднее обстоятельство. За каждыми пустяками онъ поминутно прибѣгалъ къ

самой Катеринѣ Ивановнѣ, бѣгалъ даже отыскивать ее въ Гостиный дворъ, называлъ ее безпрестанно: «пани хорунжина», и надоѣлъ ей, наконецъ, какъ рѣдька, хотя сначала она и говорила, что безъ этого «услужливаго и великодушнаго» человѣка она бы совсѣмъ пропала. Въ свойствѣ характера Катерины Ивановны было поскорѣе нарядить перваго встрѣчнаго и поперечнаго въ самыя лучшія и яркія краски, захвалить его такъ, что иному становилось даже совѣстно, придумать въ его хвалу разныя обстоятельства, которыя совсѣмъ и не существовали, совершенно искренно и чистосердечно повѣрить самой въ ихъ дѣйствительность и потомъ вдругъ разомъ разочароваться, оборвать, оплевать и выгнать въ толчки человѣка, которому она, только еще нѣсколько часовъ назадъ, буквально поклонялась. Отъ природы была она характера смѣшливаго, веселаго и миролюбиваго, но отъ безпрерывныхъ несчастій и неудачъ она до того *яростно* стала желать и требовать, чтобы всѣ жили въ мирѣ и радости и *не смѣли* жить иначе, что самый легкій диссонансъ въ жизни, самая малѣйшая неудача, стали приводить ее тотчасъ же чуть не въ изступленіе, и она въ одинъ мигъ, послѣ самыхъ яркихъ надеждъ и фантазій начинала клясть судьбу, рвать и метать все, что̀ ни попадало подъ руку, и колотиться головой объ стѣну. Амалія Ивановна тоже вдругъ пріобрѣла почему-то необыкновенное значеніе и необыкновенное уваженіе отъ Катерины Ивановны, единственно потому, можетъ быть, что затѣялись эти поминки и что Амалія Ивановна всѣмъ сердцемъ рѣшилась участвовать во всѣхъ хлопотахъ: она взялась накрыть столъ, доставить бѣлье, посуду и проч. и приготовить на своей кух-

нѣ кушанье. Ее уполномочила во всемъ и оставила по себѣ Катерина Ивановна, сама отправляясь на кладбище. Дѣйствительно, все было приготовлено на славу: столъ былъ накрытъ даже довольно чисто, посуда, вилки, ножи, рюмки, стаканы, чашки, все это, конечно, было сборное, разнофасонное и разнокалиберное, отъ разныхъ жильцовъ, но все было къ извѣстному часу на своемъ мѣстѣ, и Амалія Ивановна, чувствуя, что отлично исполнила дѣло, встрѣтила возвратившихся даже съ нѣкоторою гордостью, вся разодѣтая, въ чепцѣ съ новыми траурными лентами и въ черномъ платьѣ. Эта гордость, хотя и заслуженная, не понравилась почему-то Катеринѣ Ивановнѣ: «въ самомъ дѣлѣ, точно безъ Амаліи Ивановны и стола бы не сумѣли накрыть!» Не понравился ей тоже и чепецъ съ новыми лентами: «ужъ не гордится ли, чего добраго, эта глупая нѣмка тѣмъ, что она хозяйка, и изъ милости согласилась помочь бѣднымъ жильцамъ? Изъ милости! Прошу покорно! У папеньки Катерины Ивановны, который былъ полковникъ и чуть-чуть не губернаторъ, столъ накрывался иной разъ на сорокъ персонъ, такъ что какую-нибудь Амалію Ивановну, или лучше сказать Людвиговну, туда и на кухню бы не пустили...» Впрочемъ, Катерина Ивановна положила до времени не высказывать своихъ чувствъ, хотя и рѣшила въ своемъ сердцѣ, что Амалію Ивановну непремѣнно надо будетъ сегодня же осадить и напомнить ей ея настоящее мѣсто, а то она Богъ знаетъ что̀ объ себѣ замечтаетъ, покамѣстъ же обошлась съ ней только холодно. Другая непріятность тоже отчасти способствовала раздраженію Катерины Ивановны: на похоронахъ, изъ жильцовъ, званыхъ на похороны, кромѣ полячка̀,

который успѣлъ-таки забѣжать и на кладбище, никто почти не былъ; къ поминкамъ же, то есть къ закускѣ, явились изъ нихъ все самые незначительные и бѣдные, многіе изъ нихъ не въ своемъ даже видѣ, такъ, дрянь какая-то. Которые же изъ нихъ постарше и посолиднѣе, тѣ всѣ, какъ нарочно, будто сговорившись, манкировали. Петръ Петровичъ Лужинъ, напримѣръ, самый, можно сказать, солиднѣйшій изъ всѣхъ жильцовъ, не явился, а между тѣмъ, еще вчера же вечеромъ, Катерина Ивановна уже успѣла наговорить всѣмъ на свѣтѣ, то есть Амаліи Ивановнѣ, Полечкѣ, Сонѣ и полячку, что это благороднѣйшій, великодушнѣйшій человѣкъ, съ огромнѣйшими связями и съ состояніемъ, бывшій другъ ея перваго мужа, принятый въ домѣ ея отца и который обѣщалъ употребить всѣ средства, чтобы выхлопотать ей значительный пенсіонъ. Замѣтимъ здѣсь, что если Катерина Ивановна и хвалилась чьими-нибудь связями и состояніемъ, то это безъ всякаго интереса, безо всякаго личнаго расчета, совершенно безкорыстно, такъ сказать, отъ полноты сердца, изъ одного только удовольствія восхвалить и придать еще болѣе цѣны хвалимому. За Лужинымъ, и, вѣроятно, «беря съ него примѣръ», не явился и «этотъ скверный мерзавецъ Лебезятниковъ. Уже этотъ-то что́ объ себѣ думаетъ? Его только изъ милости пригласили, и то потому что онъ съ Петромъ Петровичемъ въ одной комнатѣ стоитъ и знакомый его, такъ неловко было не пригласить». Не явилась тоже и одна тонная дама съ своею «перезрѣлою дѣвой», дочерью, которыя хотя и проживали всего только недѣли съ двѣ въ нумерахъ у Амаліи Ивановны, но нѣсколько уже разъ жаловались на шумъ и крикъ, поднимавшійся изъ

комнаты Мармеладовыхъ, особенно когда покойникъ возвращался пьяный домой, о чемъ, конечно, стало уже извѣстно Катеринѣ Ивановнѣ, черезъ Амалію же Ивановну, когда та, бранясь съ Катериной Ивановной и грозясь прогнать всю семью, кричала во все горло, что они безпокоятъ «благородныхъ жильцовъ, которыхъ ноги не стоятъ». Катерина Ивановна нарочно положила теперь пригласить эту даму и ея дочь, которыхъ «ноги она будто бы не стоила», тѣмъ болѣе, что до сихъ поръ, при случайныхъ встрѣчахъ, та высокомѣрно отвертывалась, — такъ вотъ, чтобы знала же она, что здѣсь «благороднѣе мыслятъ и чувствуютъ, и приглашаютъ, не помня зла», и чтобы видѣли онѣ, что Катерина Ивановна и не въ такой долѣ привыкла жить. Объ этомъ непремѣнно предполагалось имъ объяснить за столомъ, равно какъ и о губернаторствѣ покойнаго папеньки, а вмѣстѣ съ тѣмъ косвенно замѣтить, что нечего было при встрѣчахъ отворачиваться и что это было чрезвычайно глупо. Не пришелъ тоже и толстый подполковникъ (въ сущности отставной штабсъ-капитанъ), но оказалось, что онъ «безъ заднихъ ногъ» еще со вчерашняго утра. Однимъ словомъ, явились только: полячокъ, потомъ одинъ плюгавенькій канцеляристъ безъ рѣчей, въ засаленномъ фракѣ, въ угряхъ и съ противнымъ запахомъ; потомъ еще одинъ глухой и почти совсѣмъ слѣпой старичокъ, когда-то служившій въ какомъ-то почтамтѣ и котораго кто-то, съ незапамятныхъ временъ и неизвѣстно для чего, содержалъ у Амаліи Ивановны. Явился тоже одинъ пьяный отставной поручикъ, въ сущности провіантскій чиновникъ, съ самымъ неприличнымъ и громкимъ хохотомъ, и «представьте себѣ», безъ жилета!

Одинъ какой-то сѣлъ прямо за столъ, даже не поклонившись Катеринѣ Ивановнѣ, и, наконецъ, одна личность, за неимѣніемъ платья, явилась было въ халатѣ, но ужъ это было до такой степени неприлично, что стараніями Амаліи Ивановны и полячка успѣли-таки его вывести. Полячокъ, впрочемъ, привелъ съ собою еще какихъ-то двухъ другихъ полячковъ, которые вовсе никогда и не жили у Амаліи Ивановны и которыхъ никто до сихъ поръ въ нумерахъ не видалъ. Все это чрезвычайно непріятно раздражило Катерину Ивановну. «Для кого же послѣ этого дѣлались всѣ приготовленія?» Даже дѣтей, чтобы выгадать мѣсто, посадили не за столъ, и безъ того занявшій всю комнату, а накрыли имъ въ заднемъ углу на сундукѣ, при чемъ обоихъ маленькихъ усадили на скамейку, а Полечка, какъ большая, должна была за ними присматривать, кормить ихъ и утирать имъ, «какъ благороднымъ дѣтямъ», носики. Однимъ словомъ, Катерина Ивановна поневолѣ должна была встрѣтить всѣхъ съ удвоенною важностью и даже съ высокомѣріемъ. Особенно строго оглядѣла она нѣкоторыхъ и свысока пригласила сѣсть за столъ. Считая почему-то, что за всѣхъ неявившихся должна быть въ отвѣтѣ Амалія Ивановна, она вдругъ стала обращаться съ ней до крайности небрежно, что та немедленно замѣтила и до крайности была этимъ пикирована. Такое начало не предвѣщало хорошаго конца. Наконецъ усѣлись. Раскольниковъ вошелъ почти въ ту самую минуту, какъ воротились съ кладбища. Катерина Ивановна ужасно обрадовалась ему, во-первыхъ потому, что онъ былъ единственный «образованный гость» изъ всѣхъ гостей и, «какъ извѣстно, черезъ два года готовился занять

въ здѣшнемъ университетѣ профессорскую каѳедру», а во-вторыхъ потому, что онъ немедленно и почтительно извинился передъ нею, что, несмотря на все желаніе, не могъ быть на похоронахъ. Она такъ на него и накинулась, посадила его за столъ подлѣ себя по лѣвую руку (по правую сѣла Амалія Ивановна), и несмотря на безпрерывную суету и хлопоты о томъ, чтобы правильно разносилось кушанье и всѣмъ доставалось, несмотря на мучительный кашель, который поминутно прерывалъ и душилъ ее и, кажется, особенно укоренился въ эти послѣдніе два дня, безпрерывно обращалась къ Раскольникову и полушепотомъ спѣшила излить передъ нимъ всѣ накопившіяся въ ней чувства и все справедливое негодованіе свое на неудавшіяся поминки: при чемъ негодованіе смѣнялось часто самымъ веселымъ, самымъ неудержимымъ смѣхомъ надъ собравшимися гостями, но преимущественно надъ самою хозяйкой.

— Во всемъ эта кукушка виновата. Вы понимаете, о комъ я говорю: объ ней, объ ней! — и Катерина Ивановна закивала ему на хозяйку. — Смотрите на нее: вытаращила глаза, чувствуетъ, что мы о ней говоримъ, да не можетъ понять, и глаза вылупила. Фу, сова! ха-ха-ха!.. Кхи-кхи-кхи! И что это она хочетъ показать своимъ чепчикомъ! Кхи-кхи-кхи! Замѣтили вы, ей все хочется, чтобы всѣ считали, что она покровительствуетъ и мнѣ честь дѣлаетъ, что присутствуетъ. Я просила ее, какъ порядочную, пригласить народъ получше и именно знакомыхъ покойнаго, а смотрите, кого она привела: шуты какіе-то! Чумички! Посмотрите на этого съ нечистымъ лицомъ: это какая-то сопля на двухъ ногахъ! А эти полячишки... ха-ха-ха!

Кхи-кхи-кхи! Никто, никто ихъ никогда здѣсь не видывалъ, и я никогда не видала; ну, зачѣмъ они пришли, я васъ спрошу? Сидятъ чинно рядышкомъ. — Пане, гей! — закричала она вдругъ одному изъ нихъ: — взяли вы блиновъ? Возьмите еще! Пива выпейте, пива! Водки не хотите ли? Смотрите: вскочилъ, раскланивается, смотрите, смотрите: должно быть, совсѣмъ голодные, бѣдные! Ничего, пусть поѣдятъ. Не шумятъ, по крайней мѣрѣ, только... только, право, я боюсь за хозяйскія серебряныя ложки!.. — Амалія Ивановна! — обратилась она вдругъ къ ней, почти вслухъ, — если на случай покрадутъ ваши ложки, то я вамъ за нихъ не отвѣчаю, предупреждаю заранѣе! — Ха-ха-ха! — залилась она, обращаясь опять къ Раскольникову, опять кивая ему на хозяйку и радуясь своей выходкѣ. — Не поняла, опять не поняла! Сидитъ разиня ротъ, смотрите: сова, сова настоящая, сычиха въ новыхъ лентахъ, ха-ха-ха!

Тутъ смѣхъ опять превратился въ нестерпимый кашель, продолжавшійся пять минутъ. На платкѣ осталось нѣсколько крови, на лбу выступили капли пота. Она молча показала кровь Раскольникову, и, едва отдыхнувшись, тотчасъ же зашептала ему опять съ чрезвычайнымъ одушевленіемъ и съ красными пятнами на щекахъ:

— Посмотрите, я дала ей самое тонкое, можно сказать, порученіе пригласить эту даму и ея дочь, понимаете, о комъ я говорю? Тутъ надобно вести себя самымъ деликатнѣйшимъ манеромъ, дѣйствовать самымъ искуснымъ образомъ, а она сдѣлала такъ, что эта пріѣзжая дура, эта заносчивая тварь, эта ничтожная провинціалка, потому только что она какая-то тамъ вдова маіора и пріѣхала хлопо-

тать о пенсіи и обивать пороги по присутственнымъ мѣстамъ, что она въ пятьдесятъ пять лѣтъ сурмится, бѣлится и румянится (это извѣстно) ... и такая-то тварь не только не заблагоразсудила явиться, но даже не прислала извиниться, коли не могла придти, какъ въ такихъ случаяхъ самая обыкновенная вѣжливость требуетъ! Понять не могу, почему не пришелъ тоже Петръ Петровичъ? Но гдѣ же Соня? Куда ушла? А вотъ и она, наконецъ! Что, Соня, гдѣ была? Странно, что ты даже на похоронахъ отца такъ неаккуратна. Родіонъ Романовичъ, пустите ее подлѣ себя. Вотъ твое мѣсто, Сонечка ... чего хочешь, бери. Заливного возьми, это лучше. Сейчасъ блины принесутъ. А дѣтямъ дали? Полечка, все ли у васъ тамъ есть? Кхи-кхи-кхи! Ну, хорошо. Будь умница, Леня, а ты, Коля, не болтай ножками; сиди, какъ благородный ребенокъ долженъ сидѣть. Что ты говоришь, Сонечка?

Соня поспѣшила тотчасъ же передать ей извиненіе Петра Петровича, стараясь говорить вслухъ, чтобы всѣ могли слышать, и употребляя самыя отборно-почтительныя выраженія, нарочно даже подсочиненныя отъ лица Петра Петровича и разукрашенныя ею. Она прибавила, что Петръ Петровичъ велѣлъ особенно передать, что онъ, какъ только ему будетъ возможно, немедленно прибудетъ, чтобы поговорить *о дѣлахъ* наединѣ и условиться о томъ, что можно сдѣлать и предпринять въ дальнѣйшемъ и проч., и проч.

Соня знала, что это умиритъ и успокоитъ Катерину Ивановну, польститъ ей, а, главное, гордость ея будетъ удовлетворена. Она сѣла подлѣ Раскольникова, которому наскоро поклонилась, и

мелькомъ, любопытно на него поглядѣла. Впрочемъ, во все остальное время какъ-то избѣгала и смотрѣть на него, и говорить съ нимъ. Она была какъ будто даже разсѣяна, хотя такъ и смотрѣла въ лицо Катеринѣ Ивановнѣ, чтобъ угодить ей. Ни она, ни Катерина Ивановна не были въ траурѣ, за неимѣніемъ платьевъ; на Сонѣ было какое-то коричневое, потемнѣе, а на Катеринѣ Ивановнѣ единственное ея платье, ситцевое, темненькое съ полосками. Извѣстіе о Петрѣ Петровичѣ прошло какъ по маслу. Выслушавъ важно Соню, Катерина Ивановна съ той же важностью освѣдомилась: какъ здоровье Петра Петровича? Затѣмъ, немедленно и чуть не вслухъ, *прошептала* Раскольникову, что, дѣйствительно, странно было бы уважаемому и солидному человѣку, какъ Петръ Петровичъ, попасть въ такую «необыкновенную компанію», несмотря даже на всю его преданность ея семейству и на старую дружбу его съ ея папенькой.

— Вотъ почему я особенно вамъ благодарна, Родіонъ Романычъ, что вы не погнушались моимъ хлѣбомъ-солью, даже и при такой обстановкѣ, — прибавила она почти вслухъ, — впрочемъ, увѣрена, что только особенная дружба ваша къ моему бѣдному покойнику побудила васъ сдержать ваше слово.

Затѣмъ она еще разъ гордо и съ достоинствомъ осмотрѣла своихъ гостей, и вдругъ съ особенною заботливостью освѣдомилась громко и черезъ столъ у глухого старичка: «не хочетъ ли онъ еще жаркого и давали ли ему лиссабонскаго?» Старичокъ не отвѣтилъ и долго не могъ понять, о чемъ его спрашиваютъ, хотя сосѣди для смѣху даже стали его расталкивать. Онъ только озирался кру-

гомъ разиня ротъ, чѣмъ еще больше поджегъ общую веселость.

— Вотъ какой олухъ! Смотрите, смотрите! И на что̀ его привели? Что же касается до Петра Петровича, то я всегда была въ немъ увѣрена, — продолжала Катерина Ивановна Раскольникову, — и ужъ, конечно, онъ не похожъ . . .—рѣзко и громко, и съ чрезвычайно строгимъ видомъ обратилась она къ Амаліи Ивановнѣ, отчего та даже оробѣла, — не похожъ на тѣхъ вашихъ расфуфыренныхъ шлепохвостницъ, которыхъ у папеньки въ кухарки на кухню не взяли бы, а покойникъ мужъ, ужъ, конечно, имъ бы честь сдѣлалъ, принимая ихъ, и то развѣ только по неистощимой своей добротѣ.

— Да-съ, любилъ-съ выпить; это любили-съ, пивали-съ! — крикнулъ вдругъ отставной провіантскій, осушая двѣнадцатую рюмку водки.

— Покойникъ мужъ, дѣйствительно, имѣлъ эту слабость, и это всѣмъ извѣстно, — такъ и вцѣпилась вдругъ въ него Катерина Ивановна, — но это былъ человѣкъ добрый и благородный, любившій и уважавшій семью свою; одно худо, что по добротѣ своей слишкомъ довѣрялся всякимъ развратнымъ людямъ и ужъ, Богъ знаетъ, съ кѣмъ онъ не пилъ, съ тѣми, которые даже подошвы его не стоили! Вообразите, Родіонъ Романовичъ, въ карманѣ у него пряничнаго пѣтушка нашли: мертво-пьяный идетъ, а про дѣтей помнитъ.

— Пѣ-туш-ка? Вы изволили сказать: пѣ-тушка? — крикнулъ провіантскій господинъ.

Катерина Ивановна не удостоила его отвѣтомъ. Она о чемъ-то задумалась и вздохнула.

— Вотъ вы навѣрно думаете, какъ и всѣ, что я съ нимъ слишкомъ строга была, — продолжала

она, обращаясь къ Раскольникову. — А вѣдь это не такъ! Онъ меня уважалъ, онъ меня очень, очень уважалъ! Доброй души былъ человѣкъ! И такъ его жалко становилось иной разъ! Сидитъ, бывало, смотритъ на меня изъ угла, такъ жалко станетъ его, хотѣлось бы приласкать, а потомъ и думаешь про себя: «приласкаешь, а онъ опять напьется», только строгостью сколько-нибудь и удержать можно было.

— Да-съ, бывало-съ дранье вихровъ-съ, бывало-съ неоднократно-съ, — проревѣлъ опять провіантскій и влилъ въ себя еще рюмку водки.

— Не только драньемъ вихровъ, но даже и помеломъ было бы полезно обойтись съ иными дураками. Я не о покойникѣ теперь говорю! — отрѣзала Катерина Ивановна провіантскому.

Красныя пятна на щекахъ ея рдѣли все сильнѣе и сильнѣе, грудь ея колыхалась. Еще минута, и она уже готова была начать исторію. Многіе хихикали, многимъ видно было это пріятно. Провіантскаго стали подталкивать и что-то шептать ему. Ихъ, очевидно, хотѣли стравить.

— А па-а-азвольте спросить, это вы насчетъ чего-съ, — началъ провіантскій, — то есть на чей... благородный счетъ... вы изволили сейчасъ... А впрочемъ не надо! Вздоръ! Вдова! Вдовица! Прощаю... Пасъ! — и онъ стукнулъ опять водки.

Раскольниковъ сидѣлъ и слушалъ молча и съ отвращеніемъ. Ѣлъ же онъ только развѣ изъ учтивости прикасаясь къ кускамъ, которые поминутно накладывала на его тарелку Катерина Ивановна, и то только чтобъ ея не обидѣть. Онъ пристально приглядывался къ Сонѣ. Но Соня становилась все тревожнѣе и озабоченнѣе; она тоже

предчувствовала, что поминки мирно не кончатся, и со страхомъ слѣдила за возраставшивъ раздраженіемъ Катерины Ивановны. Ей, между прочимъ, было извѣстно, что главною причиной, по которой обѣ пріѣзжія дамы такъ презрительно обошлись съ приглашеніемъ Катерины Ивановны, была она, Соня. Она слышала отъ самой Амаліи Ивановны, что мать даже обидѣлась приглашеніемъ и предложила вопросъ: «Какимъ образомъ она могла бы посадить рядомъ съ *этой дѣвицей* свою дочь?» Соня предчувствовала, что Катеринѣ Ивановнѣ какъ-нибудь уже это извѣстно, а обида ей, Сонѣ, значила для Катерины Ивановны болѣе чѣмъ обида ей лично, ея дѣтямъ, ея папенькѣ, однимъ словомъ, была обидой смертельною, и Соня знала, что ужъ Катерина Ивановна теперь не успокоится, «пока не докажетъ этимъ шлепохвосткамъ, что онѣ обѣ», и т. д., и т. д. Какъ нарочно, кто-то переслалъ съ другого конца стола Сонѣ тарелку, съ вылѣпленными на ней, изъ чернаго хлѣба, двумя сердцами, пронзенными стрѣлой. Катерина Ивановна вспыхнула и тотчасъ же громко замѣтила, черезъ столъ, что переславшій, конечно, «пьяный оселъ». Амалія Ивановна, тоже предчувствовавшая что-то не доброе, а вмѣстѣ съ тѣмъ оскорбленная до глубины души высокомѣріемъ Катерины Ивановны, чтобы отвлечь непріятное настроеніе общества въ другую сторону и кстати ужъ, чтобъ поднять себя въ общемъ мнѣніи, начала вдругъ, ни съ того, ни съ сего, разсказывать, что какой-то знакомый ея, «Карль изъ аптеки», ѣздилъ ночью на извозчикѣ и что «извозчикъ хотѣлъ его убиваль, и что Карль его ошень, ошень просиль, чтобъ онъ его не убиваль, и плакаль, и руки сложиль, и испу-

галь, и отъ страхъ ему сердце пронзиль». Катерина Ивановна хоть и улыбнулась, но тотчасъ же замѣтила, что Амаліи Ивановнѣ не слѣдуетъ по-русски анекдоты разсказывать. Та еще больше обидѣлась и возразила, что ея «фатеръ аусъ Берлинъ буль ошень, ошень важны шеловѣкъ и все руки по карманамъ ходиль». Смѣшливая Катерина Ивановна не вытерпѣла и ужасно расхохоталась, такъ что Амалія Ивановна стала уже терять послѣднее терпѣніе и едва крѣпилась.

— Вотъ сычиха-то! — зашептала тотчасъ же опять Катерина Ивановна Раскольникову, почти развеселившись, — хотѣла сказать: носилъ руки въ карманахъ, а вышло, что онъ по карманамъ лазилъ, кхи-кхи! И замѣтили ль вы, Родіонъ Романычъ, разъ навсегда, что всѣ эти петербургскіе иностранцы, то есть, главное, нѣмцы, которые къ намъ откудова-то пріѣзжаютъ, всѣ глупѣе насъ! Ну согласитесь, ну можно ли разсказывать о томъ, что «Карль изъ аптеки страхомъ сердце пронзиль», и что онъ (соплякъ!), вмѣсто того чтобы связать извозчика, «руки сложиль и плакаль, и ошень просиль». Ахъ дурында! И вѣдь думаетъ, что это очень трогательно, и не подозрѣваетъ, какъ она глупа! По-моему, этотъ пьяный провіантскій гораздо ея умнѣе; по крайней мѣрѣ, ужъ видно, что забулдыга, послѣдній умъ пропилъ, а вѣдь эти всѣ такіе чинные, серьезные... Ишь сидитъ, глаза вылупила. Сердится! Сердится! Ха-ха-ха! Кхи-кхи-кхи!

Развеселившись, Катерина Ивановна тотчасъ же увлеклась въ разныя подробности и вдругъ заговорила о томъ, какъ при помощи выхлопотанной пенсіи она непремѣнно заведетъ въ своемъ родномъ городѣ Т... пансіонъ для благородныхъ дѣвицъ

Объ этомъ еще не было сообщено Раскольникову самою Катериной Ивановной, и она тотчасъ же увлеклась въ самыя соблазнительныя подробности. Неизвѣстно какимъ образомъ вдругъ очутился въ ея рукахъ тотъ самый «похвальный листъ», о которомъ увѣдомлялъ Раскольникова еще покойникъ Мармеладовъ, объясняя ему въ распивочной, что Катерина Ивановна, супруга его, при выпускѣ изъ института, танцовала съ шалью «при губернаторѣ и при прочихъ лицахъ». Похвальный листъ этотъ, очевидно, долженъ былъ теперь послужить свидѣтельствомъ о правѣ Катерины Ивановны самой завести пансіонъ, но главное, былъ припасенъ съ тою цѣлью, чтобъ окончательно срѣзать «обѣихъ расфуфыренныхъ шлепохвостницъ», на случай если бъ онѣ пришли на поминки, и ясно доказать имъ, что Катерина Ивановна изъ самаго благороднаго, «можно даже сказать аристократическаго дома, полковничья дочь и ужъ навѣрно получше иныхъ искательницъ приключеній, которыхъ такъ много расплодилось въ послѣднее время». Похвальный листъ тотчасъ же пошелъ по рукамъ пьяныхъ гостей, чему Катерина Ивановна не препятствовала, потому что въ немъ, дѣйствительно, было обозначено, en toutes lettres, что она дочь надворнаго совѣтника и кавалера, а слѣдовательно, и въ самомъ дѣлѣ почти полковничья дочь. Воспламенившись, Катерина Ивановна немедленно распространилась о всѣхъ подробностяхъ будущаго прекраснаго и спокойнаго житья-бытья въ Т . . . ; объ учителяхъ гимназіи, которыхъ она пригласитъ для уроковъ въ свой пансіонъ; объ одномъ почтенномъ старичкѣ, французѣ Манго, который училъ по-французски еще самое Катерину Ивановну въ институтѣ, и ко-

торый еще и теперь доживаетъ свой вѣкъ въ Т... и навѣрно пойдетъ къ ней за самую сходную плату. Дошло, наконецъ, дѣло и до Сони, «которая отправится въ Т... вмѣстѣ съ Катериной Ивановной и будетъ ей тамъ во всемъ помогать». Но тутъ вдругъ кто-то фыркнулъ въ концѣ стола. Катерина Ивановна хоть и постаралась тотчасъ же сдѣлать видъ, что съ пренебреженіемъ не замѣчаетъ возникшаго въ концѣ стола смѣха, но тотчасъ же, нарочно возвысивъ голосъ, стала съ одушевленіемъ говорить о несомнѣнныхъ способностяхъ Софьи Семеновны служить ей помощницей, «о ея кротости, терпѣніи, самоотверженіи, благородствѣ и образованіи», при чемъ потрепала Соню по щечкѣ, и привставъ, горячо два раза ее поцѣловала. Соня вспыхнула, а Катерина Ивановна вдругъ расплакалась, тутъ же замѣтивъ про самое себя, что «она слабонервная дура и что ужъ слишкомъ разстроена, что пора кончать, и такъ какъ закуска ужъ кончена, то разносить бы чай». Въ эту самую минуту Амалія Ивановна, уже окончательно обиженная тѣмъ, что во всемъ разговорѣ она не принимала ни малѣйшаго участія и что ее даже совсѣмъ не слушаютъ, вдругъ рискнула на послѣднюю попытку и, съ потаенною тоской, осмѣлилась сообщить Катеринѣ Ивановнѣ одно чрезвычайно дѣльное и глубокомысленное замѣчаніе о томъ, что въ будущемъ пансіонѣ надо обращать особенное вниманіе на чистое бѣлье дѣвицъ (ди вѣше) и что «непремѣнъ долженъ буль одна такая хороши дамъ (ди даме), чтобъ карашо про бѣлье смотрѣль», и второе «чтобъ всѣ молоды дѣвицъ тихонько по ночамъ никакой романъ не читаль». Катерина Ивановна, которая, дѣйствительно, была разстроена и

очень устала и которой уже совсѣмъ надоѣли поминки, тотчасъ же «отрѣзала» Амаліи Ивановнѣ, что та «мелетъ вздоръ» и ничего не понимаетъ; что заботы объ ди веше дѣло кастелянши, а не директрисы благороднаго пансіона, а что касается до чтенія романовъ, такъ ужъ это просто даже неприличности, и что она проситъ ее замолчать. Амалія Ивановна вспыхнула и, озлобившись, замѣтила, что она только «добра желаль» и что она «много ошень добра желаль», а что ей «за квартиръ давно ужъ гельдъ не платиль». Катерина Ивановна тотчасъ же «осадила» ее, сказавъ, что она лжетъ, говоря, что «добра желаль», потому что еще вчера, когда покойникъ еще на столѣ лежалъ, она ее за квартиру мучила. На это Амалія Ивановна весьма послѣдовательно замѣтила, что она «тѣхъ дамъ приглашаль, но что тѣ дамъ не пришель, потому что тѣ дамъ благородный дамъ, и не могутъ пришель къ неблагородный дамъ». Катерина Ивановна тотчасъ же «подчеркнула» ей, что такъ какъ она чумичка, то и не можетъ судить о томъ, что такое истинное благородство. Амалія Ивановна не снесла и тотчасъ же заявила, что ея «фатеръ аусъ Берлинъ буль ошень, ошень важны шеловѣкъ и обѣ рукъ по карманъ ходиль и все дѣлалъ этакъ: пуфъ! пуфъ!» и чтобы дѣйствительнѣе представить своего фатера, Амалія Ивановна привскочила со стула, засунула свои обѣ руки въ карманы, надула щеки и стала издавать какіе-то неопредѣленные звуки ртомъ, похожіе на пуфъ-пуфъ, при громкомъ хохотѣ всѣхъ жильцовъ, которые нарочно поощряли Амалію Ивановну своимъ одобреніемъ, предчувствуя схватку. Но этого уже не могла вытерпѣть Катерина Ивановна и немедленно,

во всеуслышаніе, «отчеканила», что у Амаліи Ивановны можетъ никогда и фатера-то не было, а что просто Амалія Ивановна — петербургская пьяная чухонка и навѣрно гдѣ-нибудь прежде въ кухаркахъ жила, а, пожалуй, и того хуже. Амалія Ивановна покраснѣла какъ ракъ и завизжала, что это можетъ быть у Катерины Ивановны «совсѣмъ фатеръ не буль; а что у ней буль фатеръ аусъ Берлинъ, и таки длинны сюртукъ носиль, и все дѣлаль: пуфъ, пуфъ, пуфъ!» Катерина Ивановна съ презрѣніемъ замѣтила, что ея происхожденіе всѣмъ извѣстно, и что въ этомъ самомъ похвальномъ листѣ обозначено печатными буквами, что отецъ ея полковникъ; а что отецъ Амаліи Ивановны (если только у ней былъ какой-нибудь отецъ) навѣрно какой-нибудь петербургскій чухонецъ, молоко продавалъ; а вѣрнѣе всего, что и совсѣмъ отца не было, потому что еще до сихъ поръ неизвѣстно, какъ зовутъ Амалію Ивановну по батюшкѣ: Ивановна или Людвиговна? Тутъ Амалія Ивановна, разсвирѣпѣвъ окончательно и ударяя кулакомъ по столу, принялась визжать, что она Амаль-Иванъ, а не Людвиговна, что ея фатеръ «звалъ Іоганъ и что онъ буль бурмейстеръ, а что фатеръ Катерины Ивановны «совсѣмъ никогда буль бурмейстеръ». Катерина Ивановна встала со стула и строго, повидимому, спокойнымъ голосомъ (хотя вся блѣдная и съ глубоко подымавшеюся грудью), замѣтила ей, что если она хоть только одинъ еще разъ осмѣлится «сопоставить на одну доску своего дряннаго фатеришку съ ея папенькой, то она, Катерина Ивановна, сорветъ съ нея чепчикъ и растопчетъ его ногами». Услышавъ это, Амалія Ивановна забѣгала по комнатѣ, крича изо всѣхъ силъ, что она хозяйка и

чтобъ Катерина Ивановна «въ сію минутъ съѣзжаль съ квартиръ»; затѣмъ бросилась для чего-то обирать со стола серебряныя ложки. Поднялся гамъ и грохотъ; дѣти заплакали. Соня бросилась было удерживать Катерину Ивановну; но когда Амалія Ивановна вдругъ закричала что-то про желтый билетъ, Катерина Ивановна отпихнула Соню и пустилась къ Амаліи Ивановнѣ, чтобы немедленно привести свою угрозу, насчетъ чепчика, въ исполненіе. Въ эту минуту отворилась дверь, и на порогѣ комнаты вдругъ показался Петръ Петровичъ Лужинъ. Онъ стоялъ и строгимъ, внимательнымъ взглядомъ оглядывалъ всю компанію. Катерина Ивановна бросилась къ нему.

III.

— Петръ Петровичъ! — закричала она, — защитите меня хоть вы! Внушите этой глупой твари, что не смѣетъ она такъ обращаться съ благородной дамой въ несчастіи, что на это есть судъ... я къ самому генералъ-губернатору... Она отвѣтитъ... Помня хлѣбъ-соль моего отца, защитите сиротъ.

— Позвольте, сударыня... Позвольте, позвольте, сударыня, — отмахивался Петръ Петровичъ, — папеньки вашего, какъ и извѣстно вамъ, я совсѣмъ не имѣлъ чести знать... позвольте, сударыня! (кто-то громко захохоталъ) а въ вашихъ безпрерывныхъ распряхъ съ Амаліей Ивановной я участвовать не намѣренъ-съ... Я по своей надобности... и желаю объясниться, немедленно, съ падчерицей вашей, Софьей... Ивановной... Кажется такъ-съ? Позвольте пройти-съ...

И Петръ Петровичъ, обойдя бочкомъ Катерину

Ивановну, направился въ противоположный уголъ, гдѣ находилась Соня.

Катерина Ивановна какъ стояла на мѣстѣ, такъ и осталась, точно громомъ пораженная. Она понять не могла, какъ могъ Петръ Петровичъ отречься отъ хлѣба-соли ея папеньки. Выдумавъ разъ эту хлѣбъ-соль, она уже ей свято сама вѣрила. Поразилъ ее и дѣловой, сухой, полный даже какой-то презрительной угрозы тонъ Петра Петровича. Да и всѣ какъ-то притихли, мало-по-малу, при его появленіи. Кромѣ того, что этотъ «дѣловой и серьезный» человѣкъ слишкомъ ужъ рѣзко не гармонировалъ со всею компаніей, кромѣ того, видно было, что онъ за чѣмъ-то важнымъ пришелъ, что, вѣроятно, какая-нибудь необыкновенная причина могла привлечь его въ такую компанію, и что, стало быть, сейчасъ что-то случится, что-то будетъ. Раскольниковъ, стоявшій подлѣ Сони, посторонился пропустить его; Петръ Петровичъ, казалось, совсѣмъ его не замѣтилъ. Черезъ минуту на порогѣ показался и Лебезятниковъ; въ комнату онъ не вошелъ, но остановился тоже съ какимъ-то особеннымъ любопытствомъ, почти съ удивленіемъ; но, казалось, долго чего-то понять не могъ.

— Извините, что я, можетъ быть, прерываю, но дѣло довольно важное-съ, — замѣтилъ Петръ Петровичъ какъ-то вообще, и не обращаясь ни къ кому въ особенности; — я даже и радъ при публикѣ. Амалія Ивановна, прошу васъ покорнѣйше, въ качествѣ хозяйки квартиры, обратить вниманіе на мой послѣдующій разговоръ съ Софьей Ивановной. Софья Ивановна,—продолжалъ онъ, обращаясь прямо къ чрезвычайно удивленной и испуганной Сонѣ, — со стола моего, въ комнатѣ друга моего,

Андрея Семеновича Лебезятникова, тотчасъ вслѣдъ за посѣщеніемъ вашимъ, исчезъ принадлежавшій мнѣ государственный кредитный билетъ сторублеваго достоинства. Если бы какимъ бы то ни было образомъ вы знаете и укажете намъ, гдѣ онъ теперь находится, то, увѣряю васъ честнымъ словомъ, и беру всѣхъ въ свидѣтели, что дѣло тѣмъ только и кончится. Въ противномъ же случаѣ, принужденъ буду обратиться къ мѣрамъ весьма серьезнымъ, тогда . . . пеняйте уже на себя-съ.

Совершенное молчаніе воцарилось въ комнатѣ. Даже плакавшія дѣти затихли. Соня стояла мертво блѣдная, смотрѣла на Лужина и ничего не могла отвѣчать. Она какъ будто еще и не понимала. Прошло нѣсколько секундъ.

— Ну-съ, такъ какъ же-съ? — спросилъ Лужинъ, пристально смотря на нее.

— Я не знаю . . . — Я ничего не знаю . . . — слабымъ голосомъ проговорила, наконецъ, Соня.

— Нѣтъ? Не знаете? — переспросилъ Лужинъ, и еще нѣсколько секундъ помолчалъ. — Подумайте, мадемуазель, — началъ онъ строго, но все еще какъ будто увѣщевая, — обсудите, я согласенъ вамъ дать еще время на размышленіе. Извольте видѣть-съ: если бъ я не былъ такъ увѣренъ, то ужъ разумѣется, при моей опытности, не рискнулъ бы такъ прямо васъ обвинить; ибо за подобное, прямое и гласное, но ложное, или даже только ошибочное обвиненіе, я, въ нѣкоторомъ смыслѣ, самъ отвѣчаю. Я это знаю-съ. Утромъ сегодня я размѣнялъ, для своихъ надобностей, нѣсколько пятипроцентныхъ билетовъ, на сумму, номинально, въ три тысячи рублей. Разсчетъ у меня записанъ въ бумажникѣ. Придя домой, я, — свидѣтель тому

Андрей Семеновичъ, — сталъ считать деньги, и, сосчитавъ двѣ тысячи триста рублей, спряталъ ихъ въ бумажникъ, а бумажникъ въ боковой карманъ сюртука. На столѣ оставалось около пятисотъ рублей, кредитными билетами, и между ними три билета, во сто рублей каждый. Въ эту минуту прибыли вы (по моему зову) — и все время у меня пребывали потомъ въ чрезвычайномъ смущеніи, такъ что даже три раза, среди разговора, вставали и спѣшили почему-то уйти, хотя разговоръ нашъ еще не былъ оконченъ. Андрей Семеновичъ можетъ все это засвидѣтельствовать. Вѣроятно, вы сами, мадемуазель, не откажетесь подтвердить и заявить, что призывалъ я васъ, черезъ Андрея Семеновича, единственно для того только, чтобы переговорить съ вами о сиротскомъ и безпомощномъ положеніи вашей родственницы, Катерины Ивановны (къ которой я не могъ придти на поминки), и о томъ, какъ бы полезно было устроить въ ея пользу что-нибудь въ родѣ подписки, лотереи или тому подобнаго. Вы меня благодарили и даже прослезились (я разсказываю все такъ какъ было; чтобы, во-первыхъ, напомнить вамъ, а во-вторыхъ, показать вамъ, что изъ памяти моей не изгладилась ни малѣйшая черта). Затѣмъ я взялъ со стола десятирублевый кредитный билетъ и подалъ вамъ, отъ своего имени, для интересовъ вашей родственницы, и въ видахъ перваго вспоможенія. Все это видѣлъ Андрей Семеновичъ. Затѣмъ, я васъ проводилъ до дверей, — все въ томъ же, съ вашей стороны, смущеніи, — послѣ чего, оставшись наединѣ съ Андреемъ Семеновичемъ и переговоривъ съ нимъ минутъ около десяти, — Андрей Семеновичъ вышелъ, я же снова обратился къ столу, съ лежав-

шими на немъ деньгами, съ цѣлью, сосчитавъ ихъ, отложить, какъ предполагалъ я прежде, особо. Къ удивленію моему, одного сторублеваго билета, въ числѣ прочихъ, не оказалось. Извольте же разсудить: заподозрить Андрея Семеновича я ужъ никакъ не могу-съ; даже предположенія стыжусь. Ошибиться въ счетѣ я тоже не могъ, потому что, за минуту передъ вашимъ приходомъ, окончивъ всѣ счеты, я нашелъ итогъ вѣрнымъ. Согласитесь сами, что, припоминая ваше смущеніе, торопливость уйти и то, что вы держали руки, нѣкоторое время, на столѣ; взявъ, наконецъ, въ соображеніе общественное положеніе ваше и сопряженныя съ нимъ привычки, я, такъ сказать, съ ужасомъ, и даже противъ воли моей, *принужденъ* былъ остановиться на подозрѣніи, — конечно, жестокомъ, но — справедливомъ-съ! Прибавлю еще и повторю, что, несмотря на всю мою *очевидную* увѣренность, понимаю, что все-таки, въ теперешнемъ обвиненіи моемъ, присутствуетъ нѣкоторый для меня рискъ. Но, какъ видите, я не оставилъ втунѣ; я возсталъ и скажу вамъ отчего: единственно, сударыня, единственно по причинѣ чернѣйшей неблагодарности вашей! Какъ? Я же васъ приглашаю въ интересахъ бѣднѣйшей родственницы вашей, я же предоставляю вамъ посильное подаяніе мое въ десять рублей, и вы же, тутъ же, сейчасъ же, платите мнѣ за все это подобнымъ поступкомъ! Нѣтъ-съ, это ужъ не хорошо-съ! Необходимъ урокъ-съ. Разсудите же; мало того, какъ истинный другъ вашъ, прошу васъ (ибо лучшаго друга не можетъ быть у васъ въ эту минуту), опомнитесь! Иначе, буду неумолимъ! Ну-съ, итакъ?

— Я ничего не брала у васъ, — прошептала въ

ужасѣ Соня, — вы дали мнѣ десять рублей, вотъ они, возьмите ихъ. Соня вынула изъ кармана платокъ, отыскала узелокъ, развязала его, вынула десятирублевую бумажку и протянула руку Лужину.

— А въ остальныхъ ста рубляхъ вы такъ и не признаетесь? — укоризненно и настойчиво произнесъ онъ, не принимая билета.

Соня осмотрѣлась кругомъ. Всѣ глядѣли на нее съ такими ужасными, строгими, насмѣшливыми, лицами. Она взглянула на Раскольникова . . . тотъ стоялъ у стѣны, сложивъ накрестъ руки, и огненнымъ взглядомъ смотрѣлъ на нее.

— О, Господи! — вырвалось у Сони.

— Амалія Ивановна, надо будетъ дать знать въ полицію, а потому, покорнѣйше прошу васъ, пошлите покамѣстъ за дворникомъ, — тихо и даже ласково проговорилъ Лужинъ.

— Готъ деръ бармгерциге! — Я такъ и зналъ, что она вороваль! — всплеснула руками Амалія Ивановна.

— Вы такъ и знали? — подхватилъ Лужинъ, — стало быть, уже и прежде имѣли хотя бы нѣкоторыя основанія такъ заключать. Прошу васъ, почтеннѣйшая Амалія Ивановна, запомнить слова ваши, произнесенныя, впрочемъ, при свидѣтеляхъ

Со всѣхъ сторонъ поднялся вдругъ громкій говоръ. Всѣ зашевелились.

— Ка-а-къ! — вскрикнула вдругъ, опомнившись, Катерина Ивановна, и, — точно сорвалась, — бросилась къ Лужину, — какъ! Вы ее въ покражѣ обвиняете? Это Соню-то? Ахъ, подлецы, подлецы!— И бросившись къ Сонѣ, она, какъ въ тискахъ, обняла ее изсохшими своими руками.

— Соня! Какъ ты смѣла брать отъ него десять

рублей! О, глупая! Подай сюда! Подай сейчасъ эти десять рублей — вотъ!

И выхвативъ у Сони бумажку, Катерина Ивановна скомкала ее въ рукахъ и бросила наотмашь прямо въ лицо Лужина. Катышекъ попалъ въ глазъ и отскочилъ на полъ. Амалія Ивановна бросилась поднимать деньги. Петръ Петровичъ разсердился.

— Удержите эту сумасшедшую! — закричалъ онъ.

Въ дверяхъ, въ эту минуту, рядомъ съ Лебезятниковымъ, показалось и еще нѣсколько лицъ, между которыми выглядывали и обѣ пріѣзжія дамы.

— Какъ! Сумасшедшую? Это я-то сумасшедшая? Дурракъ! — взвизгнула Катарина Ивановна.— Самъ ты дуракъ, крючекъ судейскій, низкій человѣкъ! Соня, Соня возьметъ у него деньги! Это Соня-то воровка! Да она еще тебѣ дастъ, дуракъ! — и Катерина Ивановна истерически захохотала. — Видали ль вы дурака? — бросалась она во всѣ стороны, показывая всѣмъ на Лужина. — Какъ! И ты тоже? — увидала она вдругъ хозяйку, — и ты туда же, колбасница, подтверждаешь, что она «вороваль», подлая ты прусская куриная нога въ кринолинѣ! Ахъ вы! Ахъ вы! Да она и изъ комнаты-то не выходила и какъ пришла отъ тебя, подлеца, тутъ же рядомъ подлѣ Родіона Романовича и сѣла! . . Обыщите ее! Коль она никуда не выходила, стало быть, деньги должны быть при ней! Ищи же, ищи, ищи! Только если ты не найдешь, то ужъ извини, голубчикъ, отвѣтишь! Къ Государю, къ Государю, къ самому Царю побѣгу, милосердому, въ ноги брошусь, сейчасъ же, сегодня же! Я — сирота! Меня пустятъ! Ты думаешь, не пустятъ!

Врешь, дойду! Дойду-у! Это ты на то, что она кроткая, расчитывалъ? Ты на это-то понадѣялся? Да я, братъ, зато бойкая! Оборвешься! Ищи же, ищи, ищи, ну, ищи!!

И Катерина Ивановна, въ изступленіи, теребила Лужина, таща его къ Сонѣ.

— Я готовъ-съ, и отвѣчаю ... но уймитесь, сударыня, уймитесь! Я слишкомъ вижу, что вы бойкая! .. Это ... это ... это какъ же-съ? — бормоталъ Лужинъ, — это слѣдуетъ при полиціи-съ ... хотя, впрочемъ, и теперь свидѣтелей слишкомъ достаточно ... Я готовъ-съ ... Но во всякомъ случаѣ затруднительно мужчинѣ ... по причинѣ пола ... Если жъ съ помощью Амаліи Ивановны ... хотя, впрочемъ, такъ дѣло не дѣлается ... Это какъ же-съ?

— Кого хотите! Пусть кто хочетъ, тотъ и обыскиваетъ! — кричала Катерина Ивановна; — Соня, вывороти имъ карманы! Вотъ, вотъ! Смотри, извергъ, вотъ пустой, здѣсь платокъ лежалъ, карманъ, пустой, видишь! Вотъ другой карманъ, вотъ, вотъ! Видишь! Видишь!

И Катерина Ивановна не то что вывернула, а такъ и выхватила оба кармана, одинъ за другимъ наружу. Но изъ второго, праваго, кармана вдругъ выскочила бумажка, и, описавъ въ воздухѣ параболу, упала къ ногамъ Лужина. Это всѣ видѣли; многіе вскрикнули, Петръ Петровичъ нагнулся, взялъ бумажку двумя пальцами съ пола, поднялъ всѣмъ на видъ и развернулъ. Это былъ сторублевый кредитный билетъ, сложенный въ восьмую долю. Петръ Петровичъ обвелъ кругомъ свою руку, показывая всѣмъ билетъ.

— Воровка! Вонъ съ квартиръ! Полисъ, по-

лисъ! — завопила Амалія Ивановна: — ихъ надо Сибирь прогналь! Вонъ!

Со всѣхъ сторонъ полетѣли восклицанія. Раскольниковъ молчалъ, не спуская глазъ съ Сони, изрѣдка, но быстро переводя ихъ на Лужина. Соня стояла на томъ же мѣстѣ, какъ безъ памяти. Она почти даже не была и удивлена. Вдругъ краска залила ей все лицо; она вскрикнула и закрылась руками.

— Нѣтъ, это не я! Я не брала! Я не знаю! — закричала она разрывающимъ сердце воплемъ и бросилась къ Катеринѣ Ивановнѣ. Та схватила ее и крѣпко прижала къ себѣ, какъ будто грудью желая защитить ее ото всѣхъ.

— Соня! Соня! Я не вѣрю! Видишь, я не вѣрю! — кричала (несмотря на всю очевидность) Катерина Ивановна, сотрясая ее въ рукахъ своихъ, какъ ребенка, цѣлуя ее безсчетно, ловя ея руки и, такъ и впиваясь, цѣлуя ихъ. — Чтобъ ты взяла! Да что это за глупые люди! О, Господи! Глупые вы, глупые, — кричала она, обращаясь ко всѣмъ, — да вы еще не знаете, не знаете, какое это сердце, какая эта дѣвушка! Она возьметъ, она! Да она свое послѣднее платье скинетъ, продастъ, босая пойдетъ, а вамъ отдастъ, коль вамъ надо будетъ, вотъ она какая! Она и желтый-то билетъ получила, потому что мои же дѣти съ голоду пропадали, себя за насъ продала!.. Ахъ, покойникъ, покойникъ! Ахъ, покойникъ, покойникъ! Видишь? Видишь? Вотъ тебѣ поминки! Господи! Да защитите же ее, что жъ вы стоите всѣ! Родіонъ Романычъ! Вы-то чего жъ не заступитесь? Вы тоже что ль вѣрите? Мизинца вы ея не стоите, всѣ, всѣ, всѣ, всѣ! Господи! Да защити жъ, наконецъ!

Плачъ бѣдной, чахоточной, сиротливой Катерины Ивановны произвелъ, казалось, сильный эффектъ на публику. Тутъ было столько жалкаго, столько страдающаго въ этомъ искривленномъ болью, высохшемъ чахоточномъ лицѣ, въ этихъ изсохшихъ, запекшихся кровью губахъ, въ этомъ хрипло-кричащемъ голосѣ, въ этомъ плачѣ навзрыдъ, подобномъ дѣтскому плачу, въ этой довѣрчивой, дѣтской и вмѣстѣ съ тѣмъ отчаянной мольбѣ защитить, что, казалось, всѣ пожалѣли несчастную. По крайней мѣрѣ, Петръ Петровичъ тотчасъ же *пожалѣлъ:*

— Сударыня! Сударыня! — восклицалъ онъ внушительнымъ голосомъ, — до васъ этотъ фактъ не касается! Никто не рѣшится васъ обвинить въ умыслѣ, или въ соглашеніи, тѣмъ паче, что вы же и обнаружили, выворотивъ карманъ: стало быть, ничего не предполагали. Весьма и весьма готовъ сожалѣть, если, такъ сказать, нищета подвигла и Софью Семеновну, но для чего же, мадемуазель, вы не хотѣли сознаться? Позора убоялись? Первый шагъ? Потерялись, можетъ быть? Дѣло понятное-съ... Но однако, для чего жъ было пускаться въ такія качества! Господа! — обратился онъ ко всѣмъ присутствующимъ, — господа! Сожалѣя и, такъ сказать, соболѣзнуя, я, пожалуй, готовъ простить, даже теперь, несмотря на полученныя личныя оскорбленія. Да послужитъ же мадемуазель, теперешній стыдъ вамъ урокомъ на будущее, — обратился онъ къ Сонѣ, — а я дальнѣйшее оставлю втунѣ и, такъ и быть, прекращаю. Довольно!

Петръ Петровичъ искоса посмотрѣлъ на Раскольникова. Взгляды ихъ встрѣтились. Горящій взглядъ Раскольникова готовъ былъ испепелить его.

Между тѣмъ, Катерина Ивановна, казалось, ничего больше и не слыхала: она обнимала и цѣловала Соню, какъ безумная. Дѣти тоже обхватили со всѣхъ сторонъ Соню своими ручонками, а Полечка, — не совсѣмъ понимавшая, впрочемъ, въ чемъ дѣло, — казалось, вся такъ и утопла въ слезахъ, надрываясь отъ рыданій и спрятавъ свое распухшее отъ плача хорошенькое личико на плечѣ Сони.

— Какъ это низко! — раздался вдругъ громкій голосъ въ дверяхъ.

Петръ Петровичъ быстро оглянулся.

— Какая низость! — повторилъ Лебезятниковъ, пристально смотря ему въ глаза.

Петръ Петровичъ даже какъ будто вздрогнулъ. Это замѣтили всѣ. (Потомъ объ этомъ вспоминали.) Лебезятинковъ шагнулъ въ комнату.

— И вы осмѣлились меня въ свидѣтели поставить? — сказалъ онъ, подходя къ Петру Петровичу.

— Что это значитъ, Андрей Семеновичъ! Про что̀ вы такое говорите? — пробормоталъ Лужинъ.

— То значитъ, что вы... клеветникъ, вотъ что̀ значатъ мои слова! — горячо проговорилъ Лебезятниковъ, строго смотря на него своими подслѣповатыми глазками. Онъ былъ ужасно разсерженъ. Раскольниковъ такъ и впился въ него глазами, какъ бы подхватывая и взвѣшивая каждое слово. Опять снова воцарилось молчаніе. Петръ Петровичъ почти даже потерялся, особенно въ первое мгновеніе.

— Если это вы мнѣ... — началъ онъ, заикаясь, — да что съ вами? Въ умѣ ли вы?

— Я-то въ умѣ-съ, а вотъ вы такъ... мошенникъ! Ахъ, какъ это низко! Я все слушалъ, я на-

рочно все ждалъ, чтобы все понять, потому что, признаюсь, даже до сихъ поръ оно не совсѣмъ логично... Но для чего вы все это сдѣлали — не понимаю.

— Да что я сдѣлалъ такое! Перестанете ли вы говорить вашими вздорными загадками? Или вы, можетъ, выпивши?

— Это вы, низкій человѣкъ, можетъ быть, пьете, а не я! Я и водки совсѣмъ никогда не пью, потому что это не въ моихъ убѣжденіяхъ! Вообразите, онъ, онъ самъ, своими собственными руками отдалъ этотъ сторублевый билетъ Софьѣ Семеновнѣ, — я видѣлъ, я свидѣтель, я присягу приму! Онъ, онъ! — повторялъ Лебезятниковъ, обращаясь ко всѣмъ и каждому.

— Да вы рехнулись иль нѣтъ, молокососъ? — взвизгнулъ Лужинъ, — она здѣсь сама предъ вами, налицо; — она сама здѣсь, сейчасъ, при всѣхъ подтвердила, — что кромѣ десяти рублей ничего отъ меня не получала. Какимъ же образомъ могъ я ей передать, послѣ этого?

— Я видѣлъ, видѣлъ! — кричалъ и подтверждалъ Лебезятниковъ, — и хоть это противъ моихъ убѣжденій, но я готовъ сей же часъ принять въ судѣ какую угодно присягу, потому что я видѣлъ, какъ вы ей тихонько подсунули! Только я-то дуракъ, подумалъ, что вы изъ благодѣянія подсунули! Въ дверяхъ, прощаясь съ нею, когда она повернулась и когда вы ей жали одной рукой руку, другою, лѣвой, вы и положили ей тихонько въ карманъ бумажку. Я видѣлъ! Видѣлъ!

Лужинъ поблѣднѣлъ.

— Что вы врете! — дерзко вскричалъ онъ, — да и какъ вы могли, стоя у окна, разглядѣть бу-

мажку? Вамъ померещилось . . . на подслѣпые глаза. Вы бредите!

— Нѣтъ, не померещилось! И хоть я и далеко стоялъ, но я все, все видѣлъ, и хоть отъ окна дѣйствительно, трудно разглядѣть бумажку, — это вы правду говорите, — но я, по особому случаю, зналъ навѣрно, что это именно сторублевый билетъ, потому что, когда вы стали давать Софьѣ Семеновнѣ десятирублевую бумажку, — я видѣлъ самъ, — вы тогда же взяли со стола сторублевый билетъ (это я видѣлъ, потому что я тогда близко стоялъ, и такъ какъ у меня тотчасъ явилась одна мысль, то потому я и не забылъ, что у васъ въ рукахъ билетъ). Вы его сложили и держали, зажавъ въ рукѣ, все время. Потомъ я было опять забылъ, но когда вы стали вставать, то изъ правой переложили въ лѣвую и чуть не уронили; я тутъ опять вспомнилъ, потому что мнѣ тутъ опять пришла та же мысль, именно, что вы хотите, тихонько отъ меня, благодѣяніе ей сдѣлать. Можете представить, какъ я сталъ слѣдить, — ну и увидѣлъ, какъ удалось вамъ всунуть ей въ карманъ. Я видѣлъ, видѣлъ я присягу приму!

Лебезятниковъ чуть не задыхался. Со всѣхъ сторонъ стали раздаваться разнообразныя восклицанія, всего больше означавшія удивленіе; но послышались восклицанія, принимавшія и грозный тонъ. Всѣ затѣснились къ Петру Петровичу. Катерина Ивановна кинулась къ Лебезятникову.

— Андрей Семеновичъ! Я въ васъ ошиблась! Защитите ее! Одинъ вы за нее! Она сирота, васъ Богъ послалъ! Андрей Семеновичъ, голубчикъ, батюшка!

И Катерина Ивановна, почти не помня, что дѣлаетъ, бросилась передъ нимъ на колѣни.

— Дичь! — завопилъ взбѣшенный до ярости Лу-

жинъ, — дичь вы все мелете, сударь. «Забылъ, вспомнилъ, забылъ» — что такое! Стало быть, я нарочно ей подложилъ? Для чего? Съ какою цѣлью? Что общаго у меня съ этой...

— Для чего? Вотъ этого-то я и самъ не понимаю, а что я разсказываю истинный фактъ, то это вѣрно! Я до того не ошибаюсь, мерзкій, преступный вы человѣкъ, что именно помню, какъ по этому поводу мнѣ тотчасъ же тогда въ голову вопросъ пришелъ, именно въ то время, какъ я васъ благодарилъ и руку вамъ жалъ. Для чего же именно вы положили ей украдкой въ карманъ? То есть почему именно украдкой? Неужели потому только, что хотѣли отъ меня скрыть, зная, что я противныхъ убѣжденій и отрицаю частную благотворительность, ничего не исцѣляющую радикально? Ну, и рѣшилъ, что вамъ, дѣйствительно, передо мной совѣстно такіе куши давать и, кромѣ того, можетъ быть, подумалъ я, онъ хочетъ ей сюрпризъ сдѣлать, удивить ее, когда она найдетъ у себя въ карманѣ цѣлыхъ сто рублей. (Потому что иные благотворители очень любятъ этакъ размазывать свои благодѣянія; я знаю). Потомъ мнѣ тоже подумалось, что вы хотите ее испытать, то есть придетъ ли она, найдя, благодарить! Потомъ, что хотите избѣжать благодарности и чтобъ, ну, какъ это тамъ говорится: чтобъ правая рука, что ль, не знала... однимъ словомъ какъ-то этакъ... Ну, да мало ль мнѣ мыслей тогда пришло въ голову, такъ что я положилъ все это обдумать потомъ, но все-таки почелъ неделикатнымъ обнаружить передъ вами, что знаю секретъ. Но однако мнѣ тотчасъ же пришелъ въ голову опять еще вопросъ: что Софья Семеновна, прежде чѣмъ замѣтить, пожа-

луй, чего добраго, потеряетъ деньги; вотъ почему я рѣшился пойти сюда, вызвать ее и увѣдомить, что ей положили въ карманъ сто рублей. Да мимоходомъ зашелъ прежде въ нумеръ къ г-жамъ Кобылятниковымъ, чтобъ занести имъ *Общій выводъ положительнаго метода* и особенно рекомендовать статью Пидерита (а, впрочемъ, тоже и Вагнера); потомъ прихожу сюда, а тутъ вотъ ужъ какая исторія! Ну могъ ли, могъ ли я имѣть всѣ эти мысли и разсужденія, если бъ я, дѣйствительно, не видалъ, что вы вложили ей въ карманъ сто рублей?

Когда Андрей Семеновичъ кончилъ свои многословныя разсужденія, съ такимъ логическимъ выводомъ въ заключеніи рѣчи, то ужасно усталъ, и даже потъ катился съ его лица. Увы, онъ и по-русски не умѣлъ объясняться порядочно (не зная, впрочемъ, никакого другого языка), такъ что онъ весь, какъ-то разомъ, истощился, даже какъ будто похудѣлъ послѣ своего адвокатскаго подвига. Тѣмъ не менѣе рѣчь его произвела чрезвычайный эффектъ. Онъ говорилъ съ такимъ азартомъ, съ такимъ убѣжденіемъ, что ему, видимо, всѣ вѣрили. Петръ Петровичъ почувствовалъ, что дѣло плохо.

— Какое мнѣ дѣло, что вамъ въ голову пришли тамъ какіе-то глупые вопросы, — вскричалъ онъ.— Это не доказательство-съ! Вы могли все это сбредить во снѣ, вотъ и все-съ! А я вамъ говорю, что вы лжете, сударь! Лжете и клевещете изъ какого-либо зла на меня, и именно по насердкѣ за то, что я не соглашался на ваши вольнодумныя и безбожныя соціальныя предложенія, вотъ что-съ!

Но этотъ вывертъ не принесъ пользы Петру Петровичу. Напротивъ, послышался со всѣхъ сторонъ ропотъ.

— А, ты вотъ куда заѣхалъ! — крикнулъ Лебезятниковъ. — Врешь! Зови полицію, а я присягу приму! Одного только понять не могу: для чего онъ рискнулъ на такой низкій поступокъ! О жалкій, подлый человѣкъ!

— Я могу объяснить, для чего онъ рискнулъ на такой поступокъ, и, если надо, самъ присягу приму! — твердымъ голосомъ произнесъ, наконецъ, Раскольниковъ и выступилъ впередъ.

Онъ былъ, повидимому, твердъ и спокоенъ. Всѣмъ какъ-то ясно стало, при одномъ только взглядѣ на него, что онъ, дѣйствительно, знаетъ въ чемъ дѣло, и что дошло до развязки.

— Теперь я совершенно все себѣ уяснилъ, — продолжалъ Раскольниковъ, обращаясь прямо къ Лебезятникову. — Съ самаго начала исторіи я уже сталъ подозрѣвать, что тутъ какой-то мерзкій подвохъ; я сталъ подозрѣвать вслѣдствіе нѣкоторыхъ особыхъ обстоятельствъ, только мнѣ одному извѣстныхъ, которыя я сейчасъ и объясню всѣмъ: въ нихъ все дѣло! Вы же, Андрей Семеновичъ, вашимъ драгоцѣннымъ показаніемъ окончательно уяснили мнѣ все. Прошу всѣхъ, всѣхъ прослушать. Этотъ господинъ (онъ указалъ на Лужина) сватался недавно къ одной дѣвицѣ, и именно къ моей сестрѣ, Авдотьѣ Романовнѣ Раскольниковой. Но пріѣхавъ въ Петербургъ, онъ, третьяго дня, при первомъ нашемъ свиданіи, со мной поссорился, и я выгналъ его отъ себя, чему есть два свидѣтеля. Этотъ человѣкъ очень золъ . . . Третьяго дня я еще и не зналъ, что онъ здѣсь стоитъ въ нумерахъ, у васъ, Андрей Семеновичъ, и что, стало быть, въ тотъ же самый день какъ мы поссорились, то есть третьяго же дня, онъ былъ свидѣтелемъ того, какъ я передалъ, въ

качествѣ пріятеля покойнаго господина Мармеладова, супругѣ его Катеринѣ Ивановнѣ нѣсколько денегъ на похороны. Онъ тотчасъ же написалъ моей матери записку и увѣдомилъ ее, что я отдалъ всѣ деньги не Катеринѣ Ивановнѣ, а Софьѣ Семеновнѣ, и при этомъ въ самыхъ подлыхъ выраженіяхъ упомянулъ о... о характерѣ Софьи Семеновны, то есть намекнулъ на характеръ отношеній моихъ къ Софьѣ Семеновнѣ. Все это, какъ вы понимаете, съ цѣлью поссорить меня съ матерью и сестрой, внушивъ имъ, что я расточаю, съ неблагородными цѣлями, ихъ послѣднія деньги, которыми онѣ мнѣ помогаютъ. Вчера вечеромъ, при матери и сестрѣ и въ его присутствіи, я возстановилъ истину, доказавъ, что передалъ деньги Катеринѣ Ивановнѣ на похороны, а не Софьѣ Семеновнѣ, и что съ Софьей Семеновной, третьяго дня, я еще и знакомъ даже не былъ, и даже въ лицо еще ея не видалъ. При этомъ я прибавилъ, что онъ, Петръ Петровичъ Лужинъ, со всѣми своими достоинствами, не стоитъ одного мизинца Софьи Семеновны, о которой онъ такъ дурно отзывается. На его же вопросъ: посадилъ ли бы я Софью Семеновну рядомъ съ моей сестрой? я отвѣтилъ, что я уже это и сдѣлалъ, того же дня. Разозлившись на то, что мать и сестра не хотятъ, по его навѣтамъ, со мною разссориться, онъ, слово за слово, началъ говорить имъ непростительныя дерзости. Произошелъ окончательный разрывъ, и его выгнали изъ дому. Все это происходило вчера вечеромъ. Теперь прошу особеннаго вниманія: представьте себѣ, что если бъ ему удалось теперь доказать, что Софья Семеновна—воровка, то, во-первыхъ, онъ доказалъ бы моей сестрѣ и матери, что былъ почти правъ въ своихъ

подозрѣніяхъ; что онъ справедливо разсердился за то, что я поставилъ на одну доску мою сестру и Софью Семеновну; что, нападая на меня, онъ защищалъ, стало быть, и предохранялъ честь моей сестры, а своей невѣсты. Однимъ словомъ, черезъ все это, онъ даже могъ вновь поссорить меня съ родными, и ужъ, конечно, надѣялся опять войти у нихъ въ милость. Не говорю уже о томъ, что онъ мстилъ лично мнѣ, потому что имѣетъ основаніе предполагать, что честь и счастье Софьи Семеновны очень для меня дороги. Вотъ весь его расчетъ! Вотъ какъ я понимаю это дѣло! Вотъ вся причина и другой быть не можетъ!

Такъ или почти такъ окончилъ Раскольниковъ свою рѣчь, часто прерывавшуюся восклицаніями публики, слушавшей, впрочемъ, очень внимательно. Но несмотря на всѣ перерывы, онъ проговорилъ рѣзко, спокойно, точно, ясно, твердо. Его рѣзкій голосъ, его убѣжденный тонъ и строгое лицо произвели на всѣхъ чрезвычайный эффектъ.

— Такъ, такъ, это такъ! — въ восторгѣ подтверждалъ Лебезятниковъ. — Это должно быть такъ, потому что онъ именно спрашивалъ меня, какъ только вошла къ намъ въ комнату Софья Семеновна, «тутъ ли вы? Не видалъ ли я васъ въ числѣ гостей Катерины Ивановны?» Онъ отозвалъ меня для этого къ окну и тамъ потихоньку спросилъ. Стало быть, ему непремѣнно надо было, чтобы тутъ были вы! Это такъ, это все такъ!

Лужинъ молчалъ и презрительно улыбался. Впрочемъ, онъ былъ очень блѣденъ. Казалось, что онъ обдумывалъ, какъ бы ему вывернуться. Можетъ быть, онъ бы съ удовольствіемъ бросилъ все и ушелъ, но въ настоящую минуту это было почти

невозможно; это значило прямо сознаться въ справедливости взводимыхъ на него обвиненій и въ томъ, что онъ, дѣйствительно, оклеветалъ Софью Семеновну. Къ тому же и публика, и безъ того уже подпившая, слишкомъ волновалась. Провіантскій, хотя, впрочемъ, и не все понимавшій, кричалъ больше всѣхъ и предлагалъ нѣкоторыя, весьма непріятныя для Лужина мѣры. Но были и не пьяные; сошлись и собрались изо всѣхъ комнатъ. Всѣ три полячка ужасно горячились и кричали ему безпрестанно: «пане лайдакъ!» при чемъ бормотали еще какія-то угрозы по-польски. Соня слушала съ напряженіемъ, но какъ будто тоже не все понимала, точно просыпалась отъ обморока. Она только не спускала своихъ глазъ съ Раскольникова, чувствуя, что въ немъ вся ея защита. Катерина Ивановна трудно и хрипло дышала и была, казалось, въ страшномъ изнеможеніи. Всѣхъ глупѣе стояла Амалія Ивановна, разинувъ ротъ и ровно ничего не смысля. Она только видѣла, что Петръ Петровичъ какъ-то попался. Раскольниковъ попросилъ было опять говорить, но ему уже не дали докончить: всѣ кричали и тѣснились около Лужина съ ругательствами и угрозами. Но Петръ Петровичъ не струсилъ. Видя, что уже дѣло по обвиненію Сони вполнѣ проиграно, онъ прямо прибѣгнулъ къ наглости:

— Позвольте, господа, позвольте; не тѣснитесь, дайте пройти! — говорилъ онъ, пробираясь сквозь толпу, — и сдѣлайте одолженіе, не угрожайте; увѣряю васъ, что ничего не будетъ, ничего не сдѣлаете, не робкаго десятка-съ, а, напротивъ, вы же, господа, отвѣтите, что насиліемъ прикрыли уголовное дѣло. Воровка болѣе нежели изобличена, и

я буду преслѣдовать-съ. Въ судѣ не такъ слѣпы и... не пьяны-съ, и не повѣрятъ двумъ отъявленнымъ безбожникамъ, возмутителямъ и вольнодумцамъ, обвиняющимъ меня, изъ личной мести, въ чемъ сами они, по глупости своей, сознаются... Да-съ, позвольте-съ!

— Чтобы тотчасъ же духу вашего не было въ моей комнатѣ; извольте съѣзжать и все между нами кончено! И какъ подумаю, что я же изъ кожи выбивался, ему излагалъ... цѣлыя двѣ недѣли!..

— Да вѣдь я вамъ и самъ, Андрей Семеновичъ, давеча сказалъ, что съѣзжаю, когда вы еще меня удерживали; теперь же прибавлю только, что вы дуракъ-съ. Желаю вамъ вылѣчить вашъ умъ и ваши подслѣпые глаза. Позвольте же, господа-съ!

Онъ протѣснился; но провіантскому не хотѣлось такъ легко его выпустить, съ одними только ругательствами: онъ схватилъ со стола стаканъ, размахнулся и пустилъ его въ Петра Петровича; но стаканъ полетѣлъ прямо въ Амалію Ивановну. Она взвизгнула, а провіантскій, потерявъ отъ размаху равновѣсіе, тяжело повалился подъ столъ. Петръ Петровичъ прошелъ въ свою комнату, и черезъ полчаса его уже не было въ домѣ. Соня, робкая отъ природы, и прежде знала, что ее легче погубить, чѣмъ кого бы то ни было, а ужъ обидѣть ее всякій могъ почти безнаказанно. Но все-таки, до самой этой минуты, ей казалось, что можно какъ-нибудь избѣгнуть бѣды, осторожностью, кротостью, покорностью передъ всѣмъ и каждымъ. Разочарованіе ея было слишкомъ тяжело. Она, конечно, съ терпѣніемъ и почти безропотно могла все перенести, — даже это. Но въ первую минуту ужъ слиш-

комъ тяжело стало. Несмотря на свое торжество и на свое оправданіе, — когда прошелъ первый испугъ и первый столбнякъ, когда она поняла и сообразила все ясно, — чувство безпомощности и обиды мучительно стѣснило ей сердце. Съ ней началась истерика. Наконецъ, не выдержавъ, она бросилась вонъ изъ комнаты и побѣжала домой. Это было почти сейчасъ по уходѣ Лужина. Амалія Ивановна, когда въ нее, при громкомъ смѣхѣ присутствовавшихъ, попалъ стаканъ, — тоже не выдержала въ чужомъ пиру похмѣлья. Съ визгомъ, какъ бѣшеная, кинулась она къ Катеринѣ Ивановнѣ, считая ее во всемъ виноватою:

— Долой съ квартиръ! Сейчасъ! Маршъ! — И съ этими словами начала хватать все, что ни попадалось подъ руку изъ вещей Катерины Ивановны, и скидывать на полъ. Почти и безъ того убитая чуть не въ обморокѣ, задыхавшаяся, блѣдная, Катерина Ивановна вскочила съ постели (на которую упала было въ изнеможеніи) и бросилась на Амалію Ивановну . Но борьба были слишкомъ неравна; та отпихнула ее какъ перышко.

— Какъ! Мало того, что безбожно оклеветали, — эта тварь на меня же! Какъ! Въ день похоронъ мужа гонятъ съ квартиры, послѣ моего хлѣбасоли, на улицу, съ сиротами! Да куда я пойду! — вопила, рыдая и задыхаясь, бѣдная женщина. — Господи! — закричала вдругъ она, засверкавъ глазами, — неужели жъ нѣтъ справедливости! Кого жъ Тебѣ защищать, коль не насъ, сиротъ? А вотъ, увидимъ? Есть на свѣтѣ судъ и правда, есть, я сыщу! Сейчасъ, подожди, безбожная тварь! Полечка, оставайся съ дѣтьми, я ворочусь. Ждите меня, хоть на улицѣ! Увидимъ, есть ли на свѣтѣ правда?

И накинувъ на голову тотъ самый зеленый прадедамовый платокъ, о которомъ упоминалъ въ своемъ разсказѣ покойный Мармеладовъ, Катерина Ивановна протѣснилась сквозь безпорядочную и пьяную толпу жильцовъ, все еще толпившихся въ комнатѣ, и съ воплемъ и со слезами выбѣжала на улицу, — съ неопредѣленною цѣлью гдѣ-то сейчасъ, немедленно и во что бы то ни стало найти справедливость. Полечка въ страхѣ забилась съ дѣтьми въ уголъ на сундукъ, гдѣ, обнявъ обоихъ маленькихъ, вся дрожа, стала ожидать прихода матери. Амалія Ивановна металась по комнатѣ, визжала, причитала, швыряла все, что ни попадалось ей, на полъ и буянила. Жильцы горланили кто въ лѣсъ, кто по дрова, — иные договаривали, что умѣли, о случившемся событіи; другіе ссорились и ругались; иные затянули пѣсни...

«А теперь пора и мнѣ!» — подумалъ Раскольниковъ. — «Нут-ка, Софья Семеновна, посмотримъ, что вы станете теперь говорить!»

И онъ отправился на квартиру Сони.

IV.

Раскольниковъ былъ дѣятельнымъ и бодрымъ адвокатомъ Сони противъ Лужина, несмотря на то, что самъ носилъ столько собственнаго ужаса и страданія въ душѣ. Но, выстрадавъ столько утромъ, онъ точно радъ былъ случаю перемѣнить свои впечатлѣнія, становившіяся невыносимыми, не говоря уже о томъ, насколько личнаго и сердечнаго заключалось въ стремленіи его заступиться за Соню. Кромѣ того, у него было въ виду и страшно тревожило его, особенно минутами, предстоящее свида-

ніе съ Соней; онъ *долженъ былъ* объявить ей, кто убилъ Лизавету, и предчувствовалъ себѣ страшное мученіе, и точно отмахивался отъ него руками. И потому, когда онъ воскликнулъ, выходя отъ Катерины Ивановны: «Ну, что вы скажете теперь, Софья Семеновна?» то, очевидно, находился еще въ какомъ-то внѣшне-возбужденномъ состояніи бодрости, вызова и недавней побѣды надъ Лужинымъ. Но странно случилось съ нимъ. Когда онъ дошелъ до квартиры Капернаумова, то почувствовалъ въ себѣ внезапное обезсиленіе и страхъ. Въ раздумьѣ остановился онъ передъ дверью съ страннымъ вопросомъ: «Надо ли сказывать, кто убилъ Лизавету?» Вопросъ былъ странный, потому что онъ вдругъ, въ то же время, почувствовалъ, что не только нельзя не сказать, но даже и отдалить эту минуту, хотя на время, невозможно. Онъ еще не зналъ почему невозможно; онъ только *почувствовалъ* это, и это мучительное сознаніе своего безсилія передъ необходимостью почти придавило его. Чтобъ уже не разсуждать и не мучиться, онъ быстро отворилъ дверь и съ порога посмотрѣлъ на Соню. Она сидѣла, облокотясь на столикъ и закрывъ лицо руками, но, увидѣвъ Раскольникова, поскорѣй встала и пошла къ нему навстрѣчу, точно ждала его.

— Что бы со мной безъ васъ-то было! — быстро проговорила она, сойдясь съ нимъ среди комнаты. Очевидно, ей только это и хотѣлось поскорѣй сказать ему. Затѣмъ и ждала.

Раскольниковъ прошелъ къ столу и сѣлъ на стулъ, съ котораго она только что встала. Она стала передъ нимъ въ двухъ шагахъ, точь-въ-точь, какъ вчера.

— Что, Соня? — сказалъ онъ и вдругъ почувствовалъ, что голосъ его дрожитъ, — вѣдь все

дѣло-то упиралось на «общественное положеніе и сопричастныя тому привычки». Поняли вы давеча это?

Страданіе выразилось въ лицѣ ея.

— Только не говорите со мной, какъ вчера! — прервала она его. — Пожалуйста, ужъ не начинайте. И такъ мученій довольно...

Она поскорѣй улыбнулась, испугавшись, что, можетъ быть, ему не понравится упрекъ.

— Я сглупа-то оттудова ушла. Что тамъ теперь? Сейчасъ было хотѣла идти, да все думала, что вотъ... вы зайдете.

Онъ разсказалъ ей, что Амалія Ивановна гонитъ ихъ съ квартиры и что Катерина Ивановна побѣжала куда-то «правды искать».

— Ахъ, Боже мой! — вскинулась Соня, — пойдемте поскорѣе...

И она схватила свою мантильку.

— Вѣчно одно и то же! — вскричалъ раздражительно Раскольниковъ. — У васъ только и въ мысляхъ, что они! Побудьте со мной.

— А... Катерина Ивановна?

— А Катерина Ивановна, ужъ, конечно, васъ не минуетъ, зайдетъ къ вамъ сама, коли ужъ выбѣжала изъ дому, — брюзгливо прибавилъ онъ. — Коли васъ не застанетъ, вѣдь вы же останетесь виноваты...

Соня въ мучительной нерѣшимости присѣла на стулъ. Раскольниковъ молчалъ, глядя въ землю и что-то обдумывая.

— Положимъ, Лужинъ теперь не захотѣлъ, — началъ онъ, не взглядывая на Соню. — Ну, а если бъ онъ захотѣлъ или какъ-нибудь въ разсчеты входило, — вѣдь если бы упряталъ васъ въ

острогъ-то, не случись тутъ меня, да Лебезятникова! А?

— Да, — сказала она слабымъ голосомъ, — да! — повторила она разсѣянно и въ тревогѣ.

— А вѣдь я и, дѣйствительно, могъ не случиться! А Лебезятниковъ, тотъ уже совсѣмъ случайно подвернулся.

Соня молчала.

— Ну, а если бъ въ острогъ, что тогда? Помните, что я вчера говорилъ?

Она опять не отвѣтила. Тотъ переждалъ.

— А я думалъ вы опять закричите: «Ахъ, не говорите, перестаньте!» — засмѣялся Раскольниковъ, но какъ-то съ натугой. — Что жъ, опять молчаніе? — спросилъ онъ черезъ минуту. — Вѣдь надо же о чемъ-нибудь разговаривать? Вотъ мнѣ именно интересно было бы узнать, какъ бы вы разрѣшили одинъ «вопросъ», какъ говоритъ Лебезятниковъ. (Онъ какъ будто начиналъ путаться.) Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, я серьезно. Представьте себѣ, Соня, что вы знали бы всѣ намѣренія Лужина заранѣе, знали бы (то есть навѣрно), что черезъ нихъ погибла бы совсѣмъ Катерина Ивановна, да и дѣти, вы тоже, въ придачу (такъ какъ вы себя ни за что считаете, такъ въ *придачу*). Полечка такъ же . . . потому ей та же дорога. Ну-съ; такъ вотъ: если бы вдругъ все это теперь на ваше рѣшеніе отдали: тому или тѣмъ жить на свѣтѣ, то есть Лужину ли жить и дѣлать мерзости, или умирать Катеринѣ Ивановнѣ? То какъ бы вы рѣшили: кому изъ нихъ умереть? Я васъ спрашиваю?

Соня съ безпокойствомъ на него посмотрѣла: ей что то особенное послышалось въ этой нетвердой и къ чему-то издалека подходящей рѣчи.

— Я уже предчувствовала, что вы что-нибудь такое спросите, — сказала она, пытливо смотря на него.

— Хорошо; пусть; но, однако, какъ же бы рѣшить-то?

— Зачѣмъ вы спрашиваете чему быть невозможно? — съ отвращеніемъ сказала Соня.

— Стало быть, лучше Лужину жить и дѣлать мерзости! Вы и этого рѣшить не осмѣлились?

— Да вѣдь я Божьяго Промысла знать не могу... И къ чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? Къ чему такіе пустые вопросы? Какъ можетъ случиться, чтобъ это отъ моего рѣшенія зависѣло? И кто меня тутъ судьей поставилъ: кому жить, кому не жить?

— Ужъ какъ Божій Промыселъ замѣшается, такъ ужъ тутъ ничего не подѣлаешь, — угрюмо проворчалъ Раскольниковъ.

— Говорите лучше прямо, чего вамъ надобно! — вскричала съ страданіемъ Соня, — вы опять на что-то наводите... Неужели вы только затѣмъ чтобы мучить пришли!

Она не выдержала и вдругъ громко заплакала. Въ мрачной тоскѣ смотрѣлъ онъ на нее. Прошло минутъ пять.

— А вѣдь ты права, Соня, — тихо проговорилъ онъ, наконецъ. Онъ вдругъ перемѣнился; выдѣланно-нахальный и безсильно-вызывающій тонъ его исчезъ. Даже голосъ вдругъ ослабѣлъ. — Самъ же я тебѣ сказалъ вчера, что не прощенія приду просить, а почти тѣмъ вотъ и началъ, что прощенія прошу... Это я про Лужина и Промыслъ для себя говорилъ... Я это прощенія просилъ, Соня.

Онъ хотѣлъ было улыбнуться, но что-то без-

сильное и недоконченное сказалось въ его блѣдной улыбкѣ. Онъ склонилъ голову и закрылъ руками лицо.

И вдругъ странное, неожиданное ощущеніе какой-то ѣдкой ненависти къ Сонѣ прошло по его сердцу. Какъ бы удивясь и испугавшись самъ этого ощущенія, онъ вдругъ поднялъ голову и пристально поглядѣлъ на нее; но онъ встрѣтилъ на себѣ безпокойный и до муки заботливый взглядъ ея; тутъ была любовь; ненависть его исчезла, какъ призракъ. Это было не то; онъ принялъ одно чувство за другое. Это только значило, что *та* минута пришла.

Опять онъ закрылъ руками лицо и склонилъ внизъ голову. Вдругъ онъ поблѣднѣлъ, всталъ со стула, посмотрѣлъ на Соню, и, ничего не выговоривъ, пересѣлъ машинально на ея постель.

Эта минута была ужасно похожа, въ его ощущеніи, на ту, когда онъ стоялъ за старухой, уже высвободивъ изъ петли топоръ, и почувствовалъ, что уже «ни мгновенія нельзя было терять болѣе».

— Что съ вами? — спросила Соня, ужасно оробѣвшая.

Онъ ничего не могъ выговорить. Онъ совсѣмъ, совсѣмъ не такъ предполагалъ *объявить,* и самъ не понималъ того, что теперь съ нимъ дѣлалось. Она тихо подошла къ нему, сѣла на постель подлѣ и ждала, не сводя съ него глазъ. Сердце ея стучало и замирало. Стало невыносимо: онъ обернулъ къ ней мертво-блѣдное лицо свое; губы его безсильно кривились, усиливаясь что-то выговорить. Ужасъ прошелъ по сердцу Сони.

— Что съ вами? — повторила она, слегка отъ него отстраняясь.

— Ничего, Соня. Не пугайся... Вздоръ!

Право, если разсудить, — бормоталъ онъ съ видомъ себя не помнящаго человѣка въ бреду. — Зачѣмъ только тебя-то я пришелъ мучить? — прибавилъ онъ вдругъ, смотря на нее. — Право. Зачѣмъ? Я все задаю себѣ этотъ вопросъ, Соня . . .

Онъ, можетъ быть, и задавалъ себѣ этотъ вопросъ четверть часа назадъ, но теперь проговорилъ въ полномъ безсиліи, едва себя сознавая, и ощущая безпрерывную дрожь во всемъ своемъ тѣлѣ.

— Охъ, какъ вы мучаетесь! — съ страданіемъ произнесла она, вглядываясь въ него.

— Все вздоръ! . . Вотъ что, Соня (онъ вдругъ отчего-то улыбнулся, какъ-то блѣдно и безсильно, секунды на двѣ), — помнишь ты, что я вчера хотѣлъ тебѣ сказать?

Соня безпокойно ждала.

— Я сказалъ, уходя, что, можетъ быть, прощаюсь съ тобой навсегда, но что если приду сегодня, то скажу тебѣ . . . кто убилъ Лизавету.

Она вдругъ задрожала всѣмъ тѣломъ.

— Ну, такъ вотъ я и пришелъ сказать.

— Такъ вы это въ самомъ дѣлѣ вчера . . . — съ трудомъ прошептала она, — почему жъ вы знаете? — быстро спросила она, какъ будто вдругъ опомнившись.

Соня начала дышать съ трудомъ. Лицо становилось все блѣднѣе и блѣднѣе.

— Знаю.

Она помолчала съ минуту.

— Нашли, что ли, *его*? — робко спросила она.

— Нѣтъ, не нашли.

— Такъ какъ же вы про *это* знаете? — опять чуть слышно спросила она, и опять почти послѣ минутнаго молчанія.

Онъ обернулся къ ней и пристально, пристально посмотрѣлъ на нее.

— Угадай, — проговорилъ онъ съ прежнею искривленною и безсильною улыбкой.

Точно конвульсіи пробѣжали по всему ея тѣлу.

— Да вы . . . меня . . . что же вы меня такъ . . . пугаете? — проговорила она, улыбаясь, какъ ребенокъ.

— Стало быть, я съ *нимъ* пріятель большой . . . коли знаю, — продолжалъ Раскольниковъ, неотступно продолжая смотрѣть въ ея лицо, точно уже былъ не въ силахъ отвести глазъ, — онъ Лизавету эту . . . убить не хотѣлъ . . . Онъ ее . . . убилъ нечаянно . . . Онъ старуху убить хотѣлъ . . . когда она была одна . . . и пришелъ . . . А тутъ вошла Лизавета . . . Онъ тутъ . . . и ее убилъ . . .

Прошла еще ужасная минута. Оба все глядѣли другъ на друга.

— Такъ не можешь угадать-то? — спросилъ онъ вдругъ, съ тѣмъ ощущеніемъ, какъ бы бросался внизъ съ колокольни.

— Н-нѣтъ, — чуть слышно прошептала Соня.

— Погляди-ка хорошенько.

И какъ только онъ сказалъ это, опять одно прежнее, знакомое ощущеніе оледенило вдругъ его душу: онъ смотрѣлъ на нее и вдругъ, въ ея лицѣ, какъ бы увидѣлъ лицо Лизаветы. Онъ ярко запомнилъ выраженіе лица Лизаветы, когда онъ приближался къ ней тогда съ топоромъ, а она отходила отъ него къ стѣнѣ, выставивъ впередъ руку, съ совершенно дѣтскимъ испугомъ въ лицѣ, точь-въ-точь какъ маленькія дѣти, когда они вдругъ начинаютъ чего-нибудь пугаться, смотрятъ неподвижно и безпокойно на пугающій ихъ предметъ, отстраняются

назадъ, и, протягивая впередъ рученку, готовятся заплакать. Почти то же самое случилось теперь и съ Соней: такъ же безсильно, съ тѣмъ же испугомъ, смотрѣла она на него нѣсколько времени, и вдругъ, выставивъ впередъ лѣвую руку, слегка, чуть-чуть уперлась ему пальцами въ грудь и медленно стала подниматься съ кровати, все болѣе и болѣе отъ него отстраняясь, и все неподвижнѣе становился ея взглядъ на него. Ужасъ ея вдругъ сообщился и ему: точно такой же испугъ показался и въ его лицѣ, точно такъ же и онъ сталъ смотрѣть на нее, и почти даже съ тою же *дѣтской* улыбкой.

— Угадала? — прошепталъ онъ, наконецъ.

«Господи!» вырвался ужасный вопль изъ груди ея. Безсильно упала она на постель, лицомъ въ подушки. Но черезъ мгновеніе быстро приподнялась, быстро придвинулась къ нему, схватила его за обѣ руки, и крѣпко сжимая ихъ, какъ въ тискахъ, тонкими своими пальцами, стала опять неподвижно, точно приклеившись, смотрѣть въ его лицо. Этимъ послѣднимъ, отчаяннымъ взглядомъ она хотѣла высмотрѣть и уловить хоть какую-нибудь послѣднюю себѣ надежду. Но надежды не было; сомнѣнія не оставалось никакого; все было *такъ!* Даже потомъ, впослѣдствіи, когда она припоминала эту минуту, ей становилось и странно, и чудно: почему именно она такъ *сразу* увидѣла тогда, что нѣтъ уже никакихъ сомнѣній? Вѣдь не могла же она сказать, напримѣръ, что она что-нибудь въ этомъ родѣ предчувствовала? А между тѣмъ, теперь, только что онъ сказалъ ей это, ей вдругъ и показалось, что и дѣйствительно она какъ будто *это* самое и предчувствовала.

— Полно, Соня, довольно! Не мучь меня! — страдальчески попросилъ онъ.

Онъ совсѣмъ, совсѣмъ не такъ думалъ открыть ей, но вышло *такъ*.

Какъ бы себя не помня, она вскочила и, ломая руки, дошла до средины комнаты; но быстро воротилась и сѣла опять подлѣ него, почти прикасаясь къ нему плечомъ къ плечу. Вдругъ, точно пронзенная, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего, передъ нимъ на колѣни.

— Что вы, что вы это надъ собой сдѣлали! — отчаянно проговорила она и, вскочивъ съ колѣнъ, бросилась ему на шею, обняла его и крѣпко-крѣпко сжала его руками.

Раскольниковъ отшатнулся и съ грустною улыбкой посмотрѣлъ на нее:

— Странная какая ты, Соня, — обнимаешь и цѣлуешь, когда я тебѣ сказалъ *про это*. Себя ты не помнишь.

— Нѣтъ, нѣтъ тебя несчастнѣе никого теперь въ цѣломъ свѣтѣ! — воскликнула она, какъ въ изступленіи, не слыхавъ его замѣчанія, и вдругъ заплакала навзрыдъ, какъ въ истерикѣ.

Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло въ его душу и разомъ размягчило ее. Онъ не сопротивлялся ему: двѣ слезы выкатились изъ его глазъ и повисли на рѣсницахъ.

— Такъ не оставишь меня, Соня? — говорилъ онъ чуть не съ надеждой смотря на нее.

— Нѣтъ, нѣтъ; никогда и нигдѣ! — вскрикнула Соня; — за тобой пойду, всюду пойду! О, Господи!.. Охъ, я несчастная!.. И зачѣмъ, зачѣмъ я тебя прежде не знала! Зачѣмъ ты прежде не приходилъ? О, Господи!

— Вотъ и пришелъ.

— Теперь-то! О, что теперь дѣлать!.. Вмѣстѣ, вмѣстѣ! — повторяла она какъ бы въ забытьи и вновь обнимая его, — въ каторгу съ тобой вмѣстѣ пойду! — Его какъ бы вдругъ передернуло, прежняя, ненавистная и почти надменная улыбка выдавилась на губахъ его:

— Я, Соня, еще въ каторгу-то, можетъ, и не хочу идти, — сказалъ онъ.

Соня быстро на него посмотрѣла.

Послѣ перваго, страстнаго и мучительнаго сочувствія къ несчастному, опять страшная идея убійства поразила ее. Въ перемѣнившемся тонѣ его словъ ей вдругъ послышался убійца. Она съ изумленіемъ глядѣла на него. Ей ничего еще не было извѣстно, ни зачѣмъ, ни какъ, ни для чего это было. Теперь всѣ эти вопросы разомъ вспыхнули въ ея сознаніи. И опять она не повѣрила: «онъ, онъ убійца! Да развѣ это возможно?»

— Да что это! Да гдѣ это я стою! — проговорила она въ глубокомъ недоумѣніи, какъ будто еще не придя въ себя, — да какъ вы, вы, *такой*... могли на это рѣшиться?.. Да что это!

— Ну да, чтобъ ограбить! Перестань, Соня! — какъ-то устало и даже какъ бы съ досадой отвѣтилъ онъ. Соня стояла какъ бы ошеломленная, но вдругъ вскричала:

— Ты былъ голоденъ! Ты... чтобы матери помочь? Да?

— Нѣтъ, Соня, нѣтъ, — бормоталъ онъ, отвернувшись и свѣсивъ голову, — не былъ я такъ голоденъ... я, дѣйствительно, хотѣлъ помочь матери, но... и это не совсѣмъ вѣрно... не мучь меня, Соня!

Соня всплеснула руками:

— Да неужель, неужель это все взаправду! Господи, да какая жъ это правда! Кто же этому можетъ повѣрить?.. И какъ же, какъ же вы сами послѣднее отдаете, а убили, чтобъ ограбить! А!.. — вскрикнула она вдругъ, — тѣ деньги, что Катеринѣ Ивановнѣ отдали... тѣ деньги... Господи, да неужели жъ и тѣ деньги...

— Нѣтъ, Соня, — торопливо прервалъ онъ, — эти деньги были не тѣ, успокойся! Эти деньги мнѣ мать прислала, черезъ одного купца, и получилъ я ихъ больной, въ тотъ же день какъ и отдалъ... Разумихинъ видѣлъ... онъ же и получалъ за меня... эти деньги мои, мои собственныя, настоящія мои.

Соня слушала его въ недоумѣніи и изъ всѣхъ силъ старалась что-то сообразить.

— А *тѣ* деньги... я, впрочемъ, даже и не знаю были ли тамъ и деньги-то, — прибавилъ онъ тихо и какъ бы въ раздумьи, — я снялъ у ней тогда кошелекъ съ шеи, замшевый... полный, тугой такой кошелекъ... да я не посмотрѣлъ въ него; не успѣлъ, должно быть... Ну, а вещи, какія-то все запонки, да цѣпочки, — я всѣ эти вещи и кошелекъ на чужомъ одномъ дворѣ, на В—мъ проспектѣ, подъ камень схоронилъ, на другое же утро... Все тамъ и теперь лежитъ...

Соня изъ всѣхъ силъ слушала.

— Ну, такъ зачѣмъ же... какъ же вы сказали: чтобъ ограбить, а сами ничего не взяли? — быстро спросила она, хватаясь за соломинку.

— Не знаю... я еще не рѣшилъ — возьму или не возьму эти деньги, — промолвилъ онъ, опять какъ бы въ раздумьи, и вдругъ, опомнившись, бы-

стро и коротко усмѣхнулся. — Эхъ, какую я глупость сейчасъ сморозилъ, а?

У Сони промелькнула было мысль: «не сумасшедшій ли?» Но тотчасъ же она ее оставила: нѣтъ, тутъ другое. Ничего, ничего она тутъ не понимала!

— Знаешь, Соня, — сказалъ онъ вдругъ съ какимъ-то вдохновеніемъ, — знаешь, что я тебѣ скажу: если бъ только я зарѣзалъ изъ того, что голоденъ былъ, — продолжалъ онъ, упирая въ каждое слово и загадочно, но искренно смотря на нее, — то я бы теперь . . . *счастливъ* былъ! Знай ты это!

— И что тебѣ, что тебѣ въ томъ, — вскричалъ онъ черезъ мгновеніе съ какимъ-то даже отчаяніемъ, — ну что тебѣ въ томъ, если бъ я и сознался сейчасъ, что дурно сдѣлалъ? Ну, что тебѣ въ этомъ глупомъ торжествѣ надо мною? Ахъ, Соня, для того ли я пришелъ къ тебѣ теперь!

Соня опять хотѣла было что-то сказать, но промолчала.

— Потому я и звалъ съ собою тебя вчера, что одна ты у меня и осталась.

— Куда звалъ? — робко спросила Соня.

— Не воровать и не убивать, не безпокойся, не за этимъ, — усмѣхнулся онъ ѣдко; — мы люди розные . . . И знаешь, Соня, я вѣдь только теперь, только сейчасъ понялъ: *куда* тебя звалъ вчера? А вчера, когда звалъ, я и самъ не понималъ куда. За однимъ и звалъ, за однимъ приходилъ: не оставить меня. Не оставишь, Соня?

Она стиснула ему руку.

— И зачѣмъ, зачѣмъ я ей сказалъ, зачѣмъ я ей открылъ, — въ отчаяніи воскликнулъ онъ черезъ минуту, съ безконечнымъ мученіемъ смотря

на нее, — вотъ ты ждешь отъ меня объясненій, Соня, сидишь и ждешь, я это вижу; а что я скажу тебѣ? Ничего вѣдь ты не поймешь въ этомъ, а только изстрадаешься вся... изъ-за меня! Ну, вотъ, ты плачешь и опять меня обнимаешь, — ну за что ты меня обнимаешь? За то, что я самъ не вынесъ и на другого пришелъ свалить: «страдай и ты, мнѣ легче будетъ!» И можешь ты любить такого подлеца?

— Да развѣ ты тоже не мучаешься? — вскричала Соня.

Опять то же чувство волной хлынуло въ его душу и опять на мигъ размягчило ее.

— Соня, у меня сердце злое, ты это замѣть: этимъ можно многое объяснить. Я потому и пришелъ, что золъ. Есть такіе, которые не пришли бы. А я трусъ и... подлецъ! Но... пусть! Все это не то... Говорить теперь надо, а я начать не умѣю...

Онъ остановился и задумался.

— Э-эхъ, люди мы розные! — вскричалъ онъ опять, — не пара. И зачѣмъ, зачѣмъ я пришелъ! Никогда не прощу себѣ этого!

— Нѣтъ, нѣтъ, это хорошо, что пришелъ! — воскликнула Соня, — это лучше, чтобъ я знала! Гораздо лучше!

Онъ съ болью посмотрѣлъ на нее.

— А что и въ самомъ дѣлѣ! — сказалъ онъ, какъ бы надумавшись, — вѣдь это жъ такъ и было! Вотъ что: я хотѣлъ Наполеономъ сдѣлаться, оттого и убилъ... Ну, понятно теперь?

— Н-нѣтъ, — наивно и робко прошептала Соня, — только... говори, говори! Я пойму, я *просебя* все пойму! — упрашивала она его.

— Поймешь? Ну, хорошо, посмотримъ!

Онъ замолчалъ и долго обдумывалъ.

— Штука въ томъ: я задалъ себѣ одинъ разъ такой вопросъ: что если бы, напримѣръ, на моемъ мѣстѣ случился Наполеонъ, и не было бы у него, чтобы карьеру начать, ни Тулона, ни Египта, ни перехода черезъ Монъ-Бланъ, а была бы вмѣсто всѣхъ этихъ красивыхъ и монументальныхъ вещей, просто-за-просто, одна какая-нибудь смѣшная старушенка, легистраторша, которую еще вдобавокъ надо убить, чтобы изъ сундука у ней деньги стащить (для карьеры-то, понимаешь?), ну, такъ рѣшился ли бы онъ на это, если бы другого выхода не было? Не покоробился ли бы отъ того, что это ужъ слишкомъ не монументально, и . . . и грѣшно? Ну, такъ я тебѣ говорю, что на этомъ «вопросѣ» я промучился ужасно долго, такъ что ужасно стыдно мнѣ стало, когда я, наконецъ, догадался (вдругъ какъ-то), что не только его не покоробило бы, но даже и въ голову бы ему не пришло, что это не монументально . . . и даже не понялъ бы онъ совсѣмъ: чего тутъ коробиться? И ужъ если бы только не было бы ему другой дороги, то задушилъ бы такъ, что и пикнуть бы не далъ, безъ всякой задумчивости! Ну и я . . . вышелъ изъ задумчивости . . . задушилъ . . . по примѣру авторитета . . . И это точь-въ-точь такъ и было! Тебѣ смѣшно? Да, Соня, тутъ всего смѣшнѣе то, что, можетъ, именно оно такъ и было . . .

Сонѣ вовсе не было смѣшно.

— Вы лучше говорите мнѣ прямо . . . безъ примѣровъ, — еще робче и чуть слышно попросила она.

Онъ поворотился къ ней, грустно посмотрѣлъ на нее и взялъ ее за руки.

— Ты опять права, Соня. Это все вѣдь вздоръ, почти одна болтовня! Видишь: ты вѣдь знаешь, что у матери моей почти ничего нѣтъ. Сестра получила воспитаніе случайно и осуждена таскаться въ гувернанткахъ. Всѣ ихъ надежды были на одного меня. Я учился, но содержать себя въ университетѣ не могъ и на время принужденъ былъ выйти. Если бы даже и такъ тянулось, то лѣтъ черезъ десять, черезъ двѣнадцать (если бъ обернулись хорошо обстоятельства), я все-таки могъ стать какимъ-нибудь учителемъ или чиновникомъ, съ тысячью рублями жалованья... (Онъ говорилъ какъ будто заученное). А къ тому времени мать высохла бы отъ заботъ и отъ горя, и мнѣ все-таки не удалось бы успокоить ее, а сестра... ну, съ сестрой могло бы еще и хуже случиться!.. Да и что за охота всю жизнь мимо всего проходить и отъ всего отвертываться, про мать забыть, а сестрину обиду, напримѣръ, почтительно перенесть? Для чего? Для того ль, чтобъ, ихъ схоронивъ, новыхъ нажить — жену да дѣтей, и тоже потомъ безъ гроша и безъ куска оставить? Ну... ну, вотъ я и рѣшилъ, завладѣвъ старухиными деньгами, употребить ихъ на мои первые годы, не мучая мать, на обезпеченіе себя въ университетѣ, на первые шаги послѣ университета, — и сдѣлать все это широко, радикально, такъ чтобъ ужъ совершенно всю новую карьеру устроить и на новую, независимую дорогу стать... Ну... ну, вотъ и все... Ну, разумѣется, что я убилъ старуху, — это я худо сдѣлалъ... ну, и довольно!

Въ какомъ-то безсиліи дотащился онъ до конца разсказа и поникъ головой.

— Охъ, это не то, не то, — въ тоскѣ воскли-

цала Соня, — и развѣ можно такъ... нѣтъ, это не такъ, не такъ!

— Сама видишь, что не такъ!.. А я вѣдь искренно разсказалъ; правду!

— Да какая жъ это правда! О, Господи!

— Я вѣдь только вошь убилъ, Соня, безполезную, гадкую, зловредную.

— Это человѣкъ-то вошь!

— Да вѣдь и я знаю, что не вошь, — отвѣтилъ онъ, странно смотря на нее. — А впрочемъ, я вру, Соня, — прибавилъ онъ, — давно уже вру... Это все не то; ты справедливо говоришь. Совсѣмъ, совсѣмъ, совсѣмъ тутъ другія причины!.. Я давно ни съ кѣмъ не говорилъ, Соня... Голова у меня теперь очень болитъ.

Глаза его горѣли лихорадочнымъ огнемъ. Онъ почти начиналъ бредить; безпокойная улыбка бродила на его губахъ. Сквозь возбужденное состояніе духа проглядывало страшное безсиліе. Соня поняла, какъ онъ мучается. У ней тоже голова начинала кружиться. И странно онъ такъ говорилъ: какъ будто и понятно что-то, но... «но какъ же! Какъ же! О, Господи!» И она ломала руки въ отчаяніи.

— Нѣтъ, Соня, это не то! — началъ онъ опять, вдругъ поднимая голову, какъ будто внезапный поворотъ мыслей поразилъ и вновь возбудилъ его, — это не то! А лучше... предположи (да! этакъ, дѣйствительно, лучше!), предположи, что я самолюбивъ, завистливъ, золъ, мерзокъ, мстителенъ, ну... и пожалуй еще наклоненъ къ сумасшествію. (Ужъ пусть все за разъ! Про сумасшествіе-то говорили прежде, я замѣтилъ!) Я вотъ тебѣ сказалъ давеча, что въ университетъ себя содержать не

могъ. А знаешь ли ты, что я, можетъ, и могъ? Мать прислала бы, чтобы внести, что надо, а на сапоги, платье и на хлѣбъ я бы и самъ зарабатывалъ; навѣрно! Уроки выходили; по полтиннику предлагали. Работаетъ же Разумихинъ! Да я озлился и не захотѣлъ. Именно *озлился* (это слово хорошее!). Я тогда, какъ паукъ, къ себѣ въ уголъ забился. Ты вѣдь была въ моей конурѣ, видѣла... А знаешь ли, Соня, что низкіе потолки и тѣсныя комнаты душу и умъ тѣснятъ! О, какъ ненавидѣлъ я эту конуру! А все-таки выходить изъ нея не хотѣлъ. Нарочно не хотѣлъ! По суткамъ не выходилъ и работать не хотѣлъ, и даже ѣсть не хотѣлъ, все лежалъ. Принесетъ Настасья — поѣмъ, не принесетъ — такъ и день пройдетъ; нарочно со зла не спрашивалъ! Ночью огня нѣтъ, лежу въ темнотѣ, а на свѣчи не хочу заработать! Надо было учиться, я книги распродалъ; а на столѣ у меня на запискахъ, да на тетрадяхъ, на палецъ и теперь пыли лежитъ. Я лучше любилъ лежать и думать. И все думалъ... И все такіе у меня были сны, странные, разные сны, нечего говорить, какіе! Но только тогда начало мнѣ тоже мерещиться, что... Нѣтъ, это не такъ! Я опять не такъ разсказываю! Видишь: я тогда все себя спрашивалъ: зачѣмъ я такъ глупъ, что если другіе глупы, и коли я знаю ужъ навѣрно, что они глупы, то самъ не хочу быть умнѣе? Потомъ я узналъ, Соня, что если ждать, пока всѣ станутъ умными, то слишкомъ ужъ долго будетъ... Потомъ я еще узналъ, что никогда этого и не будетъ, что не перемѣнятся люди и не передѣлать ихъ никому, и труда не стоитъ терять! Да, это такъ! Это ихъ законъ... Законъ, Соня! Это такъ!.. И я теперь знаю, Соня, что кто крѣ-

покъ и силенъ умомъ и духомъ, тотъ надъ ними и властелинъ! Кто много посмѣетъ, тотъ у нихъ и правъ. Кто на бо̀льшее можетъ плюнуть, тотъ у нихъ и законодатель, а кто больше всѣхъ можетъ посмѣть, тотъ и всѣхъ правѣе! Такъ доселѣ велось и такъ всегда будетъ! Только слѣпой не разглядитъ!

Раскольниковъ, говоря это, хоть и смотрѣлъ на Соню, но ужъ не заботился болѣе: поймета она или нѣтъ. Лихорадка вполнѣ охватила его. Онъ былъ въ какомъ-то мрачномъ восторгѣ. (Дѣйствительно, онъ слишкомъ долго ни съ кѣмъ не говорилъ!) Соня поняла, что этотъ мрачный катехизисъ сталъ его вѣрой и закономъ.

— Я догадался тогда, Соня, — продолжалъ онъ восторженно, — что власть дается только тому, кто посмѣетъ наклониться и взять ее. Тутъ одно только, одно: сто̀итъ только посмѣть! У меня тогда одна мысль выдумалась, въ первый разъ въ жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумывалъ! Никто! Мнѣ вдругъ ясно, какъ солнце, представилось, что какъ же это ни единый до сихъ поръ не посмѣлъ и не посмѣетъ, проходя мимо всей этой нелѣпости, взять просто-за-просто все за хвостъ и стряхнуть къ черту! Я... я захотѣлъ *осмѣлиться,* и убилъ... я только осмѣлиться захотѣлъ, Соня, вотъ вся причина!

— О, молчите, молчите! — вскрикнула Соня, всплеснувъ руками. — Отъ Бога вы отошли, и васъ Богъ поразилъ, дьяволу предалъ!..

— Кстати, Соня, это когда я въ темнотѣ-то лежалъ, и мнѣ все представлялось, это вѣдь дьяволъ смущалъ меня? А?

— Молчите! Не смѣйте, богохульникъ, ничего,

ничего-то вы не понимаете! О, Господи! Ничего-то, ничего-то онъ не пойметъ!

— Молчи, Соня, я совсѣмъ не смѣюсь; я вѣдь и самъ знаю, что меня чертъ тащилъ. Молчи, Соня, молчи! — повторилъ онъ мрачно и настойчиво. — Я все знаю. Все это я уже передумалъ и перешепталъ себѣ, когда лежалъ тогда въ темнотѣ... Все это я самъ съ собою переспорилъ, до послѣдней малѣйшей черты, и все знаю, все! И такъ надоѣла, такъ надоѣла мнѣ тогда вся эта болтовня! Я все хотѣлъ забыть и вновь начать, Соня, и перестать болтать. И неужели ты думаешь, что я какъ дуракъ пошелъ, очертя голову? Я пошелъ какъ умникъ, и это-то меня и сгубило! И неужель ты думаешь, что я не зналъ, напримѣръ, хоть того, что если ужъ началъ я себя спрашивать и допрашивать: имѣю ль я право власть имѣть? — то, стало быть, не имѣю права власть имѣть. Или что если задаю вопросъ: вошь ли человѣкъ? то, стало быть, ужъ не вошь человѣкъ, *для меня,* а вошь для того, кому этого и въ голову не заходитъ, и кто прямо безъ вопросовъ идетъ... Ужъ если я столько дней промучился: пошелъ ли бы Наполеонъ, или нѣтъ? такъ вѣдь ужъ ясно чувствовалъ, что я не Наполеонъ... Всю, всю муку всей этой болтовни я выдержалъ, Соня, и всю ее съ плечъ стряхнуть пожелалъ: я захотѣлъ, Соня, убить безъ казуистики, убить для себя, для себя одного! Я лгать не хотѣлъ въ этомъ даже себѣ! Не для того, чтобы матери помочь, я убилъ — вздоръ! Не для того я убилъ, чтобы, получивъ средства и власть, сдѣлаться благодѣтелемъ человѣчества. Вздоръ! Я просто убилъ; для себя убилъ, для себя одного, а тамъ сталъ ли бы я чьимънибудь благодѣтелемъ, или всю жизнь, какъ паукъ,

ловилъ бы всѣхъ въ паутину и изъ всѣхъ живые соки высасывалъ, мнѣ, въ ту минуту, все равно должно было быть!.. И не деньги, главное, нужны мнѣ были, Соня, когда я убилъ; не столько деньги нужны были, какъ другое... Я это все теперь знаю... Пойми меня: можетъ быть, тою же дорогой идя, я уже никогда болѣе не повторилъ бы убійства. Мнѣ другое надо было узнать, другое толкало меня подъ руки: мнѣ надо было узнать тогда, и поскорѣй узнать, вошь ли я, какъ всѣ, или человѣкъ? Смогу ли я переступить, или не смогу? Осмѣлюсь ли нагнуться и взять или нѣтъ? Тварь ли я дрожащая или *право* имѣю...

— Убивать? Убивать-то право имѣете? — всплеснула руками Соня.

— Э-эхъ, Соня! — вскрикнулъ онъ раздражительно, хотѣлъ было что-то ей возразить, но презрительно замолчалъ. — Не прерывай меня Соня! Я хотѣлъ тебѣ только одно доказать: что чертъ-то меня тогда потащилъ, а ужъ послѣ того мнѣ объяснилъ, что не имѣлъ я права ходить туда, потому что я такая же точно вошь какъ и всѣ! Насмѣялся онъ надо мной, вотъ я къ тебѣ и пришелъ теперь! Принимай гостя! Если бъ я не вошь былъ, то пришелъ ли бы я къ тебѣ? Слушай: когда я тогда къ старухѣ ходилъ, я только *попробовать* сходилъ... Такъ и знай!

— И убили! Убили!

— Да вѣдь какъ убилъ-то? Развѣ такъ убиваютъ? Развѣ такъ идутъ убивать, какъ я шелъ... Я тебѣ когда-нибудь разскажу, какъ я шелъ... Развѣ я старушенку убилъ? Я себя убилъ, а не старушенку! Тутъ такъ-таки разомъ и ухлопалъ себя, навѣки!.. А старушенку эту чертъ убилъ,

а не я... Довольно, довольно, Соня, довольно! Оставь меня, — вскричалъ онъ вдругъ въ судорожной тоскѣ, — оставь меня!

Онъ облокотился на колѣна и какъ въ клещахъ стиснулъ себѣ ладонями голову.

— Экое страданіе! — вырвался мучительный вопль у Сони.

— Ну, что теперь дѣлать, говори! — спросилъ онъ, вдругъ поднявъ голову и съ безобразно искаженнымъ отъ отчаянія лицомъ смотря на нее.

— Что дѣлать! — воскликнула она, вдругъ вскочивъ съ мѣста, и глаза ея, доселѣ полные слезъ, вдругъ засверкали. — Встань! (Она схватила его за плечо; онъ приподнялся, смотря на нее почти въ изумленіи.) Поди сейчасъ, сію же минуту, стань на перекресткѣ, поклонись, поцѣлуй сначала землю, которую ты осквернилъ, а потомъ поклонись всему свѣту, на всѣ четыре стороны и скажи всѣмъ, вслухъ: «я убилъ!» Тогда Богъ опять тебѣ жизни пошлетъ. Пойдешь? Пойдешь? — спрашивала она его, вся дрожа, точно въ припадкѣ, схвативъ его за обѣ руки, крѣпко стиснувъ ихъ въ своихъ рукахъ и смотря на него огневымъ взглядомъ.

Онъ изумился и былъ даже пораженъ ея внезапнымъ восторгомъ.

— Это ты про каторгу, что ли, Соня? Донести, что ль, на себя надо? — спросилъ онъ мрачно.

— Страданіе принять и искупить себя имъ, вотъ что надо.

— Нѣтъ! Не пойду я къ нимъ, Соня.

— А жить-то, жить-то какъ будешь? Жить-то съ чѣмъ будешь? — восклицала Соня. — Развѣ это теперь возможно? Ну какъ ты съ матерью будешь говорить? (О, съ ними-то, съ ними-то что теперь

будетъ!) Да что я! Вѣдь ты ужъ бросилъ мать и сестру. Вотъ вѣдь ужъ бросилъ же, бросилъ. О, Господи! — вскрикнула она, — вѣдь онъ уже это все знаетъ самъ! Ну какъ же, какъ безъ человѣка-то прожить! Что съ тобой теперь будетъ!

— Не будь ребенкомъ, Соня, — тихо проговорилъ онъ. — Въ чемъ я виноватъ передъ ними? Зачѣмъ пойду? Что имъ скажу? Все это одинъ только призракъ... Они сами милліонами людей изводятъ да еще за добродѣтель почитаютъ. Плуты и подлецы они, Соня!.. Не пойду. И что я скажу: что убилъ, а денегъ взять не посмѣлъ, подъ камень спряталъ? — прибавилъ онъ съ ѣдкою усмѣшкой. — Такъ вѣдь они же надо мной сами смѣяться будутъ, скажутъ: дуракъ, что не взялъ. Трусъ и дуракъ! Ничего, ничего не поймутъ они, Соня, и недостойны понять. Зачѣмъ я пойду? Не пойду. Не будь ребенкомъ, Соня...

— Замучаешься, замучаешься, — повторяла она, въ отчаянной мольбѣ простирая къ нему руки.

— Я можетъ на себя еще наклепалъ, — мрачно замѣтилъ онъ, какъ бы въ задумчивости, — можетъ, я *еще* человѣкъ, а не вошь, и поторопился себя осудить... Я *еще* поборюсь.

Надменная усмѣшка выдавливалась на губахъ его.

— Этакую-то муку нести! Да вѣдь цѣлую жизнь, цѣлую жизнь!..

— Привыкну... — проговорилъ онъ угрюмо и вдумчиво. — Слушай, — началъ онъ черезъ минуту, — полно плакать, пора о дѣлѣ: я пришелъ тебѣ сказать, что меня теперь ищутъ, ловятъ...

— Ахъ! — вскрикнула Соня испуганно.

— Ну, что же ты вскрикнула! Сама желаешь, чтобъ я въ каторгу пошелъ, а теперь испугалась? Только вотъ что: я имъ не дамся. Я еще съ ними поборюсь, и ничего не сдѣлаютъ. Нѣтъ у нихъ настоящихъ уликъ. Вчера я былъ въ большой опасности и думалъ, что ужъ погибъ; сегодня же дѣло поправилось. Всѣ улики ихъ о двухъ концахъ, то есть ихъ обвиненія я въ свою же пользу могу обратить, понимаешь? и обращу; потому я теперь научился... Но въ острогъ меня посадятъ навѣрно. Если бы не одинъ случай, то, можетъ, и сегодня бы посадили, навѣрно, даже можетъ *еще* и посадятъ сегодня... Только это ничего, Соня: посижу, да и выпустятъ... потому нѣтъ у нихъ ни одного настоящаго доказательства, и не будетъ, слово даю. А съ тѣмъ, что у нихъ есть, нельзя упечь человѣка. Ну, довольно... Я только, чтобы ты знала... Съ сестрой и съ матерью я постараюсь какъ-нибудь такъ сдѣлать, чтобъ ихъ разувѣрить и не испугать... Сестра теперь, впрочемъ, кажется, обезпечена... стало быть, мать... Ну, вотъ и все. Будь, впрочемъ, осторожна. Будешь ко мнѣ въ острогъ ходить, когда я буду сидѣть?

— О, буду! Буду!

Оба сидѣли рядомъ, грустные и убитые, какъ бы послѣ бури выброшенные на пустой берегъ одни. Онъ смотрѣлъ на Соню и чувствовалъ, какъ много на немъ было ея любви, и странно, ему стало вдругъ тяжело и больно, что его такъ любятъ. Да, это было странное и ужасное ощущеніе! Идя къ Сонѣ, онъ чувствовалъ, что въ ней вся его надежда и весь исходъ; онъ думалъ сложить хоть часть своихъ мукъ, и вдругъ, теперь, когда все сердце ея обра-

тилось къ нему, онъ вдругъ почувствовалъ и созналъ, что онъ сталъ безпримѣрно несчастнѣе, чѣмъ былъ прежде.

— Соня, сказалъ онъ, — ужъ лучше не ходи ко мнѣ, когда я буду въ острогѣ сидѣть.

Соня не отвѣтила, она плакала. Прошло нѣсколько минутъ.

— Есть на тебѣ крестъ? — вдругъ неожиданно спросила она, точно вдругъ вспомнила.

Онъ сначала не понялъ вопроса.

— Нѣтъ, вѣдь нѣтъ? — На, возьми вотъ этотъ, кипарисный. У меня другой остался, мѣдный, Лизаветинъ. Мы съ Лизаветой крестами помѣнялись, она мнѣ свой крестъ, а я ей свой образокъ дала. Я теперь Лизаветинъ стану носить, а этотъ тебѣ. Возьми... вѣдь мой! Вѣдь мой! — упрашивала она. — Вмѣстѣ вѣдь страдать пойдемъ, вмѣстѣ и крестъ понесемъ!..

— Дай! — сказалъ Раскольниковъ. Ему не хотѣлось ее огорчить. Но онъ тотчасъ же отдернулъ протянутую за крестомъ руку.

— Не теперь, Соня. Лучше потомъ, — прибавилъ онъ, чтобъ ее успокоить.

— Да, да, лучше, лучше, — подхватила она съ увлеченіемъ, — какъ пойдешь на страданіе, тогда и надѣнешь. Придешь ко мнѣ, я надѣну на тебя, помолимся и пойдемъ.

Въ это мгновеніе кто-то три раза стукнулъ въ дверь.

— Софья Семеновна, можно къ вамъ? — послышался чей-то очень знакомый вѣжливый голосъ.

Соня бросилась къ дверямъ въ испугѣ. Бѣлокурая физіономія г. Лебезятникова заглянула въ комнату.

V.

Лебезятниковъ имѣлъ видъ встревоженный.

— Я къ вамъ, Софья Семеновна. Извините... Я такъ и думалъ, что васъ застану, — обратился онъ вдругъ къ Раскольникову, — то есть я ничего не думалъ... въ этомъ родѣ... но я именно думалъ... Тамъ у насъ Катерина Ивановна съ ума сошла, — отрѣзалъ онъ вдругъ Сонѣ, бросивъ Раскольникова.

Соня вскрикнула.

— То есть оно, по крайней мѣрѣ, такъ кажется. Впрочемъ... Мы тамъ не знаемъ, что̀ и дѣлать, вотъ что̀-съ! Воротилась она — ее откуда-то, кажется, выгнали, можетъ, и прибили... по крайней мѣрѣ, такъ кажется... Она бѣгала къ начальнику Семена Захарыча, дома не застала; онъ обѣдалъ у какого-то тоже генерала... Вообразите, она махнула туда, гдѣ обѣдали... къ этому другому генералу, и вообразите, — таки настояла, вызвала начальника Семена Захарыча, да, кажется, еще изъ-за стола. Можете представить, что̀ тамъ вышло. Ее, разумѣется, выгнали; а она разсказываетъ, что она сама его обругала и чѣмъ-то въ него пустила. Это можно даже предположить... какъ ее не взяли, — не понимаю! Теперь она всѣмъ разсказываетъ, и Амаліи Ивановнѣ, только трудно понять, кричитъ и бьется... Ахъ, да: она говоритъ и кричитъ, что такъ какъ ее всѣ теперь бросили, то она возьметъ дѣтей и пойдетъ на улицу, шарманку носить, а дѣти будутъ пѣть и плясать, и она тоже, и деньги собирать, и каждый день подъ окно къ генералу ходить... «Пусть, говоритъ, видятъ, какъ благородныя дѣти чиновнаго отца по улицамъ

нищими ходятъ!» Дѣтей всѣхъ бьетъ, тѣ плачутъ. Леню учитъ пѣть «Хуторокъ», мальчика плясать, Полину Михайловну тоже, рветъ всѣ платья; дѣлаетъ имъ какія-то шапочки, какъ актерамъ; сама хочетъ тазъ нести, чтобы колотить, вмѣсто музыки... Ничего не слушаетъ... Вообразите, какъ же это? Это ужъ просто нельзя!

Лебезятниковъ продолжалъ бы и еще, но Соня, слушавшая его едва переводя дыханіе, вдругъ схватила мантильку, шляпку и выбѣжала изъ комнаты, одѣваясь на бѣгу. Раскольниковъ вышелъ вслѣдъ за нею, Лебезятниковъ за нимъ.

— Непремѣнно помѣшалась! — говорилъ онъ Раскольникову, выходя съ нимъ на улицу, — я только не хотѣлъ пугать Софью Семеновну и сказалъ: «кажется», но и сомнѣнія нѣтъ. Это, говорятъ, такіе бугорки, въ чахоткѣ, на мозгу вскакиваютъ; жаль, что я медицины не знаю. Я, впрочемъ, пробовалъ ее убѣдить, но она ничего не слушаетъ.

— Вы ей о бугоркахъ говорили?

— То есть не совсѣмъ о бугоркахъ. При томъ она ничего бы и не поняла. Но я про то говорю: если убѣдить человѣка логически, что въ сущности ему не о чемъ плакать, то онъ и перестанетъ плакать. Это ясно. А ваше убѣжденіе, что не перестанетъ?

— Слишкомъ легко тогда было бы жить, — отвѣтилъ Раскольниковъ.

— Позвольте, позвольте; конечно, Катеринѣ Ивановнѣ довольно трудно понять; но извѣстно ли вамъ, что въ Парижѣ уже происходили серьезные опыты относительно возможности излѣчивать сумасшедшихъ, дѣйствуя однимъ только логическимъ убѣжденіемъ? Одинъ тамъ профессоръ, недавно

умершій, ученый серьезный, вообразилъ, что такъ можно лѣчить. Основная идея его, что особеннаго разстройства въ организмѣ у сумасшедшихъ нѣтъ, а что сумасшествіе есть, такъ сказать, логическая ошибка, ошибка въ сужденіи, неправильный взглядъ на вещи. Онъ постепенно опровергалъ больного, и, представьте себѣ, достигалъ, говорятъ, результатовъ! Но такъ какъ при этомъ онъ употреблялъ и души, то результаты этого лѣченія подвергаются, конечно, сомнѣнію . . . По крайней мѣрѣ, такъ кажется . . .

Раскольниковъ давно уже не слушалъ. Поравнявшись съ своимъ домомъ, онъ кивнулъ головой Лебезятникову и повернулъ въ подворотню. Лебезятниковъ очнулся, оглядѣлся и побѣжалъ далѣе.

Раскольниковъ вошелъ въ свою каморку и сталъ посреди ея. «Для чего онъ воротился сюда?» Онъ оглядѣлъ эти желтоватые, обшарканные обои, эту пыль, свою кушетку . . . Со двора доносился какой-то рѣзкій, безпрерывный стукъ; что-то гдѣ-то какъ будто вколачивали, гвоздь какой-нибудь . . . Онъ подошелъ къ окну, поднялся на цыпочки и долго, съ видомъ чрезвычайнаго вниманія высматривалъ во дворѣ. Но дворъ былъ пустъ и не было видно стучавшихъ. Налѣво, во флигелѣ, виднѣлись кой-гдѣ отворенныя окна; на подоконникахъ стояли горшечки съ жиденькою геранью. За окнами было вывѣшено бѣлье . . . Все это онъ зналъ наизусть. Онъ отвернулся и сѣлъ на диванъ.

Никогда, никогда еще не чувствовалъ онъ себя такъ ужасно одинокимъ!

Да, онъ почувствовалъ еще разъ, что, можетъ быть, дѣйствительно возненавидитъ Соню, и именно теперь, когда сдѣлалъ ее несчастнѣе. «Зачѣмъ

ходилъ онъ къ ней просить ея слезъ? Зачѣмъ ему такъ необходимо заѣдать ея жизнь? О, подлость!»

— Я останусь одинъ! — проговорилъ онъ вдругъ рѣшительно, — и не будетъ она ходить въ острогъ!

Минутъ черезъ пять онъ поднялъ голову и странно улыбнулся. Это была странная мысль: «Можетъ, въ каторгѣ-то, дѣйствительно, лучше», подумалось ему вдругъ.

Онъ не помнилъ, сколько онъ просидѣлъ у себя, съ толпившимися въ головѣ его неопредѣленными мыслями. Вдругъ дверь отворилась, и вошла Авдотья Романовна. Она сперва остановилась и посмотрѣла на него съ порога, какъ давеча онъ на Соню; потомъ уже прошла и сѣла противъ него на стулъ, на вчерашнемъ своемъ мѣстѣ. Онъ молча и какъ-то безъ мысли посмотрѣлъ на нее.

— Не сердись, братъ, я только на одну минуту, — сказала Дуня. Выраженіе лица ея было задумчивое, но не суровое. Взглядъ былъ ясный и тихій. Онъ видѣлъ, что и эта съ любовью пришла къ нему.

— Братъ, я теперь знаю все, *все*. Мнѣ Дмитрій Прокофьичъ все объяснилъ и разсказалъ. Тебя преслѣдуютъ и мучаютъ по глупому и гнусному подозрѣнію . . . Дмитрій Прокофьичъ сказалъ мнѣ, что никакой нѣтъ опасности и что напрасно ты съ такимъ ужасомъ это принимаешь. Я не такъ думаю и *вполнѣ понимаю,* какъ возмущено въ тебѣ все, и что это негодованіе можетъ оставить слѣды навѣки. Этого я боюсь. За то, что ты насъ бросилъ, я тебя не сужу и не смѣю судить, и прости меня, что я попрекнула тебя прежде. Я сама на себѣ чувствую, что если бъ у меня было такое великое горе, то я бы тоже ушла отъ всѣхъ. Матери я

про это ничего не разскажу, но буду говорить о тебѣ безпрерывно и скажу отъ твоего имени, что ты придешь очень скоро. Не мучайся о ней; *я* ее успокою; но и ты ее не замучай, — приди хоть разъ; вспомни, что она мать! А теперь я пришла только сказать (Дуня стала подыматься съ мѣста), что если на случай я тебѣ въ чемъ понадоблюсь или понадобится тебѣ... вся моя жизнь, или что̀... то кликни меня, я приду. Прощай!

Она круто повернулась и пошла къ двери.

— Дуня! — остановилъ ее Раскольниковъ, всталъ и подошелъ къ ней, — этотъ Разумихинъ, Дмитрій Прокофьичъ, очень хорошій человѣкъ.

Дуня чуть-чуть покраснѣла.

— Ну! — спросила она, подождавъ съ минуту.

— Онъ человѣкъ дѣловой, трудолюбивый, честный и способный сильно любить... Прощай, Дуня.

Дуня вся вспыхнула, потомъ вдругъ встревожилась:

— Да что̀ это, братъ, развѣ мы въ самомъ дѣлѣ навѣки разстаемся, что ты мнѣ... такія завѣщанія дѣлаешь?

— Все равно... прощай...

Онъ отворотился и пошелъ отъ нея къ окну. Она постояла, посмотрѣла на него безпокойно и вышла въ тревогѣ.

Нѣтъ, онъ не былъ холоденъ къ ней. Было одно мгновеніе (самое послѣднее), когда ему ужасно захотѣлось крѣпко обнять ее и *проститься* съ ней, и даже *сказать ей,* но онъ даже и руки ей не рѣшился подать:

«Потомъ еще, пожалуй, содрогнется, когда вспомнитъ, что я теперь ее обнималъ, скажетъ, что я укралъ ея поцѣлуй!»

«А выдержитъ *эта* или не выдержитъ?» прибавилъ онъ черезъ нѣсколько минутъ про себя. — «Нѣтъ, не выдержитъ; *этакимъ* не выдержать! Этакія никогда не выдерживаютъ» . . .

И онъ подумалъ о Сонѣ.

Изъ окна повѣяло свѣжестью. На дворѣ уже не такъ ярко свѣтилъ свѣтъ. Онъ вдругъ взялъ фуражку и вышелъ.

Онъ, конечно, не могъ, да и не хотѣлъ заботиться о своемъ болѣзненномъ состояніи. Но вся эта безпрерывная тревога и весь этотъ ужасъ душевный не могли пройти безъ послѣдствій. И если онъ не лежалъ еще въ настоящей горячкѣ, то, можетъ быть, именно потому, что эта внутренняя, безпрерывная тревога еще поддерживала его на ногахъ и въ сознаніи, но какъ-то искусственно, до времени.

Онъ бродилъ безъ цѣли. Солнце заходило. Какая-то особенная тоска начала сказываться ему въ послѣднее время. Въ ней не было чего-нибудь особенно ѣдкаго, жгучаго; но отъ нея вѣяло чѣмъ-то постояннымъ, вѣчнымъ, предчувствовались безъисходные годы этой холодной, мертвящей тоски, предчувствовалась какая-то вѣчность на «аршинѣ пространства». Въ вечерній часъ это ощущеніе обыкновенно еще сильнѣй начинало его мучить.

— Вотъ съ этакими-то глупѣйшими, чисто физическими немощами, зависящими отъ какого-нибудь заката солнца, и удержись сдѣлать глупость! Не то что къ Сонѣ, а къ Дунѣ пойдешь! — пробормоталъ онъ ненавистно.

Его окликнули. Онъ оглянулся; къ нему бросился Лебезятниковъ.

— Вообразите, я былъ у васъ, ищу васъ. Вооб-

разите, она исполнила свое намѣреніе и дѣтей увела! Мы съ Софьей Семеновной насилу ихъ отыскали. Сама бьетъ въ сковороду, дѣтей заставляетъ плясать. Дѣти плачутъ. Останавливаются на перекресткахъ и у лавочекъ. За ними глупый народъ бѣжитъ. Пойдемте.

— А Соня? . . — тревожно спросилъ Раскольниковъ, поспѣшая за Лебезятниковымъ.

— Просто въ изступленіи. То есть не Софья Семеновна въ изступленіи, а Катерина Ивановна; а впрочемъ, и Софья Семеновна въ изступленіи. А Катерина Ивановна совсѣмъ въ изступленіи. Говорю вамъ, окончательно помѣшалась. Ихъ въ полицію возьмутъ. Можете представить, какъ это подѣйствуетъ . . . Они теперь на канавѣ у —скаго моста, очень недалеко отъ Софьи Семеновны. Близко.

На канавѣ, не очень далеко отъ моста и не доходя двухъ домовъ отъ дома, гдѣ жила Соня, столпилась кучка народу. Особенно сбѣгались мальчишки и дѣвченки. Хриплый, надорванный голосъ Катерины Ивановны слышался еще отъ моста. И дѣйствительно, это было странное зрѣлище, способное заинтересовать уличную публику. Катерина Ивановна, въ своемъ старенькомъ платьѣ, въ прадедамовой шали и въ изломанной соломенной шляпкѣ, сбившейся безобразнымъ комкомъ на сторону, была, дѣйствительно, въ настоящемъ изступленіи. Она устала и задыхалась. Измучившееся чахоточное лицо ея смотрѣло страдальнѣе, чѣмъ когда-нибудь (къ тому же на улицѣ, на солнцѣ, чахоточный всегда кажется больнѣе и обезображеннѣе, чѣмъ дома); но возбужденное состояніе ея не прекращалось, и она съ каждой минутой станови-

лась еще раздражительнѣе. Она бросалась къ дѣтямъ, кричала на нихъ, уговаривала, учила ихъ тутъ же при народѣ, какъ плясать и что̀ пѣть, начинала имъ растолковывать для чего это нужно, приходила въ отчаяніе отъ ихъ непонятливости, била ихъ . . . Потомъ, не докончивъ, бросалась къ публикѣ; если замѣчала чуть-чуть хорошо одѣтаго человѣка, остановившагося поглядѣть, то тотчасъ пускалась объяснять ему, что вотъ, дескать, до чего доведены дѣти «изъ благороднаго, можно даже сказать аристократическаго дома». Если слышала въ толпѣ смѣхъ или какое-нибудь задирательное словцо, то тотчасъ же набрасывалась на дерзкихъ и начинала съ ними браниться. Иные, дѣйствительно, смѣялись, другіе качали головами; всѣмъ вообще было любопытно поглядѣть на помѣшанную съ перепуганными дѣтьми. Сковороды, про которую говорилъ Лебезятниковъ, не было; по крайней мѣрѣ, Раскольниковъ не видалъ, но вмѣсто стука въ сковороду Катерина Ивановна начинала хлопать въ тактъ своими сухими ладонями, когда заставляла Полечку пѣть, а Леню и Колю плясать; при чемъ даже и сама пускалась подпѣвать, но каждый разъ обрывалась на второй нотѣ отъ мучительнаго кашля, отчего снова приходила въ отчаяніе, проклинала свой кашель и даже плакала. Пуще всего выводили ее изъ себя плачъ и страхъ Коли и Лени. Дѣйствительно, была попытка нарядить дѣтей въ костюмы, какъ наряжаются уличные пѣвцы и пѣвицы. На мальчикѣ была надѣта изъ чего-то краснаго съ бѣлымъ чалма, чтобы онъ изображалъ собою турку. На Леню костюмовъ не достало; была только надѣта на голову красная, вязаная изъ гаруса шапочка (или лучше сказать, колпакъ) покойнаго Се-

мена Захарыча, а въ шапку воткнутъ обломокъ бѣлаго страусоваго пера, принадлежавшаго еще бабушкѣ Катерины Ивановны и сохранившагося доселѣ въ сундукѣ, въ видѣ фамильной рѣдкости. Полечка была въ своемъ обыкновенномъ платьицѣ. Она смотрѣла на мать робко и потерявшись, не отходила отъ нея, скрадывала свои слезы, догадывалась о помѣшательствѣ матери и безпокойно осматривалась кругомъ. Улица и толпа ужасно пугали ее. Соня неотступно ходила за Катериной Ивановной, плача и умоляя ее поминутно воротиться домой. Но Катерина Ивановна была неумолима.

— Перестань, Соня, перестань! — кричала она скороговоркой, спѣша, задыхаясь и кашляя. — Сама не знаешь, чего просишь, точно дитя! Я уже сказала тебѣ, что не ворочусь назадъ къ этой пьяной нѣмкѣ. Пусть видятъ всѣ, весь Петербургъ, какъ милостыни просятъ дѣти благороднаго отца, который всю жизнь служилъ вѣрой и правдой и, можно сказать, умеръ на службѣ. (Катерина Ивановна уже успѣла создать себѣ эту фантазію и повѣрить ей слѣпо.) — Пускай, пускай этотъ негодный генералишка видитъ. Да и глупа ты, Соня: что теперь ѣсть-то, скажи? Довольно мы тебя истерзали, не хочу больше! Ахъ, Родіонъ Романычъ, это вы! — вскрикнула она, увидавъ Раскольникова и бросаясь къ нему, — растолкуйте вы, пожалуйста, этой дурочкѣ, что ничего умнѣй нельзя сдѣлать! Даже шарманщики добываютъ, а насъ тотчасъ всѣ отличатъ, узнаютъ, что мы бѣдное, благородное семейство сиротъ, доведенныхъ до нищеты, а ужъ этотъ генералишка мѣсто потеряетъ, увидите! Мы каждый день подъ окна къ нему бу-

демъ ходить, а проѣдетъ Государь, я стану на колѣни, этихъ всѣхъ выставлю впередъ и покажу на нихъ: «Защити, отецъ!» Онъ отецъ сиротъ, Онъ милосердъ, защититъ, увидите, а генералишку этого... Леня! Tenez vous droite! Ты, Коля, сейчасъ будешь опять танцовать. Чего ты хнычешь? Опять хнычешь! Ну чего, чего ты боишься, дурачекъ! Господи! Что мнѣ съ ними дѣлать, Родіонъ Романычъ! Если бы вы знали, какіе они безтолковые! Ну что съ этакими сдѣлаешь!..

И она, сама чуть не плача (что не мѣшало ея непрерывной и неумолчной скороговоркѣ), показывала ему на хнычущихъ дѣтей. Раскольниковъ попробовалъ было убѣдить ее воротиться и даже сказалъ, думая подѣйствовать на самолюбіе, что ей неприлично ходить по улицамъ, какъ шарманщики ходятъ, потому что она готовитъ себя въ директрисы благороднаго пансіона дѣвицъ...

— Пансіона, ха-ха-ха! Славны бубны за горами! — вскричала Катерина Ивановна, тотчасъ послѣ смѣха закатившись кашлемъ, — нѣтъ, Родіонъ Романычъ, прошла мечта! Всѣ насъ бросили!.. А этотъ генералишка... Знаете, Родіонъ Романычъ, я въ него чернильницей пустила,— тутъ въ лакейской, кстати, на столѣ стояла подлѣ листа, на которомъ расписывались, и я расписалась, пустила и убѣжала. О, подлые, подлые! Да наплевать; теперь я этихъ сама кормить буду, никому не поклонюсь! Довольно мы ее мучили! (она указала на Соню). — Полечка, сколько собрали, покажи! Какъ? Всего только двѣ копейки? О, гнусные! Ничего не даютъ, только бѣгаютъ за нами, высунувъ языкъ! Ну, чего вотъ этотъ болванъ смѣется? (указала она на одного изъ толпы). Это все

потому, что этотъ Колька такой непонятливый, съ нимъ возня! Чего тебѣ, Полечка? Говори со мной по-французски, parlez moi français. Вѣдь я же тебя учила, вѣдь ты знаешь нѣсколько фразъ!.. Иначе какъ же отличить, что вы благороднаго семейства, воспитанныя дѣти и вовсе не такъ какъ всѣ шарманщики; не «Петрушку» же мы какого-нибудь представляемъ на улицахъ, а споемъ благородный романсъ... Ахъ, да! Что же намъ пѣть-то? Перебиваете вы все меня, а мы... видите ли, мы здѣсь остановились, Родіонъ Романычъ, чтобы выбрать что пѣть, — такое, чтобъ и Колѣ можно было протанцовать... потому, все это у насъ, можете представить, безъ приготовленія; надо сговориться, такъ, чтобы все совершенно прорепетировать, а потомъ мы отправимся на Невскій, гдѣ гораздо больше людей высшаго общества и насъ тотчасъ замѣтятъ. Леня знаетъ «Хуторокъ»... Только все «Хуторокъ» да «Хуторокъ», и всѣ-то его поютъ! Мы должны спѣть что-нибудь гораздо болѣе благородное... Ну, что ты придумала, Поля, хоть бы ты матери помогла! Памяти, памяти у меня нѣтъ, я бы вспомнила! Не «Гусара же на саблю опираясь» пѣть въ самомъ дѣлѣ! Ахъ, споемте по-французски «Cinq sous»! Я вѣдь васъ учила же, учила же. И главное, такъ какъ это по-французски, то увидятъ тотчасъ, что вы дворянскія дѣти, и это будетъ гораздо трогательнѣе... Можно бы даже: «Malborough s'en va-t-en guerre»! такъ какъ это совершенно дѣтская пѣсенка и употребляется во всѣхъ аристократическихъ домахъ, когда убаюкиваютъ дѣтей:

Malborough s'en va-t-en guerre
Ne sait quand reviendra...

начала-было она пѣть... — Но нѣтъ, лучше ужъ «Cinq sous»! Ну, Коля, ручки въ боки, поскорѣй, а ты, Леня, тоже вертись въ противоположную сторону, а мы съ Полечкой будемъ подпѣвать и подхлопывать!

Cinq sous, cinq sous
Pour monter notre ménage...

Кхи-кхи-кхи! (И она закатилась отъ кашля.) Поправь платьице, Полечка, плечики спустились, — замѣтила она сквозь кашель, отдыхиваясь. — Теперь вамъ особенно нужно держать себя прилично и на тонкой ногѣ, чтобы всѣ видѣли, что вы дворянскія дѣти. Я говорила тогда, что лифчикъ надо длиннѣе кроить и при томъ въ два полотнища. Это ты тогда, Соня, съ своими совѣтами: «Короче, да короче», вотъ и вышло, что совсѣмъ ребенка обезобразили... Ну, опять всѣ вы плачете! Да чего вы, глупые! Ну, Коля, начинай поскорѣй, поскорѣй, поскорѣй, — охъ, какой это несносный ребенокъ!..

Cinq sous, cinq sous —

Опять солдатъ! Ну, чего тебѣ надобно?

Дѣйствительно, сквозь толпу протѣснялся городовой. Но въ то же время одинъ господинъ въ вицмундирѣ и въ шинели, солидный чиновникъ лѣтъ пятидесяти, съ орденомъ на шеѣ (послѣднее было очень пріятно Катеринѣ Ивановнѣ и повліяло на городового) приблизился и молча подалъ Катеринѣ Ивановнѣ трехрублевую, зелененькую кредитку. Въ лицѣ его выражалось искреннее состраданіе. Катерина Ивановна приняла и вѣжливо, даже церемонно ему поклонилась.

— Благодарю васъ, милостивый государь, — на-

чала она свысока, — причины, побудившія насъ... возьми деньги, Полечка. Видишь, есть же благородные и великодушные люди, тотчасъ готовые помочь бѣдной дворянкѣ въ несчастіи. Вы видите, милостивый государь, благородныхъ сиротъ, можно даже сказать, съ самыми аристократическими связями... А этотъ генералишка сидѣлъ и рябчиковъ ѣлъ... ногами затопалъ, что я его обезпокоила... «Ваше превосходительство, говорю, защитите сиротъ, очень зная, говорю, покойнаго Семена Захарыча, и такъ какъ его родную дочь подлѣйшій изъ подлецовъ въ день его смерти оклеветалъ...» Опять этотъ солдатъ! Защитите! — закричала она чиновнику, — чего этотъ солдатъ ко мнѣ лѣзетъ? Мы ужъ убѣжали отъ одного сюда изъ Мѣщанской... ну тебѣ-то какое дѣло, дуракъ!

— Потому, по улицамъ запрещено-съ. Не извольте безобразничать.

— Самъ ты безобразникъ! Я все равно какъ съ шарманкой хожу, тебѣ какое дѣло?

— Насчетъ шарманки надо дозволеніе имѣть, а вы сами собой-съ и такимъ манеромъ народъ сбиваете. Гдѣ изволите квартировать?

— Какъ, дозволеніе, — завопила Катерина Ивановна. — Я сегодня мужа схоронила, какое тутъ дозволеніе!

— Сударыня, сударыня, успокойтесь, — началъ было чиновникъ, — пойдемте, я васъ доведу... Здѣсь въ толпѣ неприлично... вы нездоровы...

— Милостивый государь, милостивый государь: вы ничего не знаете! — кричала Катерина Ивановна, — мы на Невскій пойдемъ, — Соня, Соня! Да гдѣ жъ она? Тоже плачетъ! Да что съ вами со всѣми!.. Коля, Леня, куда вы? — вскрикнула она

вдругъ въ испугѣ, — о глупыя дѣти! Коля, Леня, да куда жъ они! . .

Случилось такъ, что Коля и Леня, напуганные до послѣдней степени уличною толпой и выходками помѣшанной матери, увидѣвъ, наконецъ, солдата, который хотѣлъ ихъ взять и куда-то вести, вдругъ, какъ бы сговорившись, схватили другъ друга за ручки и бросились бѣжать. Съ воплемъ и плачемъ кинулась бѣдная Катерина Ивановна догонять ихъ. Безобразно и жалко было смотрѣть на нее, бѣгущую, плачущую, задыхающуюся. Соня и Полечка бросились вслѣдъ за нею.

— Вороти, вороти ихъ, Соня! О, глупыя, неблагодарныя дѣти! . . Поля! Лови ихъ . . . Для васъ же я . . .

Она споткнулась на всемъ бѣгу и упала.

— Разбилась въ кровь! О, Господи! — вскрикнула Соня, наклоняясь надъ ней.

Всѣ сбѣжались, всѣ затѣснились кругомъ. Раскольниковъ и Лебезятниковъ подбѣжали изъ первыхъ; чиновникъ тоже поспѣшилъ; а за нимъ и городовой, проворчавъ: «Эхъ-ма!» и махнувъ рукой, предчувствуя, что дѣло обернется хлопотливо.

— Пошелъ! Пошелъ! — разгонялъ онъ тѣснившихся кругомъ людей.

— Помираетъ! — закричалъ кто-то.

— Съ ума сошла! — проговорилъ другой.

— Господи, сохрани! — проговорила одна женщина, крестясь. — Дѣвченочку-то съ парнишкой зловили ли? Вона-ка ведутъ, старшенькая перехватила . . . Вишь, сбалмошные!

Но когда разглядѣли хорошенько Катерину Ивановну, то увидали, что она вовсе не разбилась о

камень, какъ подумала Соня, а что кровь, обагрившая мостовую, хлынула изъ ея груди горломъ.

— Это я знаю, видалъ, — бормоталъ чиновникъ Раскольникову и Лебезятникову, — это чахотка-съ; хлынетъ этакъ кровь и задавитъ. Съ одною моею родственницей, еще недавно свидѣтелемъ былъ, и этакъ стакана полтора... вдругъ-съ... Что же, однакожъ, дѣлать, сейчасъ помретъ.

— Сюда, сюда, ко мнѣ! — умоляла Соня, — вотъ здѣсь я живу!.. Вотъ этотъ домъ, второй отсюда... Ко мнѣ, поскорѣе, поскорѣе!.. — металась она ко всѣмъ. — За докторомъ пошлите... О, Господи!

Стараніями чиновника дѣло это уладилось, даже городовой помогалъ переносить Катерину Ивановну. Внесли ее къ Сонѣ почти замертво и положили на постель. Кровотеченіе еще продолжалось, но она какъ бы начинала приходить въ себя. Въ комнату вошли разомъ, кромѣ Сони, Раскольниковъ и Лебезятниковъ, чиновникъ и городовой, разогнавшій предварительно толпу, изъ которой нѣкоторые провожали до самыхъ дверей. Полечка ввела, держа за руки, Колю и Леню, дрожавшихъ и плакавшихъ. Сошлись и отъ Капернаумовыхъ: самъ онъ, хромой и кривой, страннаго вида человѣкъ съ щетинистыми, торчкомъ стоящими волосами и бакенбардами; жена его, имѣвшая какой-то разъ навсегда испуганный видъ, и нѣсколько ихъ дѣтей, съ одеревенѣлыми отъ постояннаго удивленія лицами и съ раскрытыми ртами. Между всею этою публикой появился и Свидригайловъ. Раскольниковъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на него, не понимая, откуда онъ явился, и не помня его въ толпѣ.

Говорили про доктора и про священника. Чиновникъ хотя и шепнулъ Раскольникову, что, кажется, докторъ теперь уже лишнее, но распорядился послать. Побѣжалъ самъ Капернаумовъ.

Между тѣмъ Катерина Ивановна отдышалась, на время кровь отошла. Она смотрѣла болѣзненнымъ, но пристальнымъ и проницающимъ взглядомъ на блѣдную и трепещущую Соню, отиравшую ей платкомъ капли пота со лба; наконецъ, попросила приподнять себя. Ее посадили на постели, придерживая съ обѣихъ сторонъ.

— Дѣти гдѣ? — спросила она слабымъ голосомъ. — Ты привела ихъ, Поля? О, глупые!.. Ну, чего вы побѣжали... Охъ!

Кровь еще покрывала ея изсохшія губы. Она повела кругомъ глазами, осматриваясь:

— Такъ вотъ ты какъ живешь, Соня! Ни разу-то я у тебя не была... привелось...

Она съ страданіемъ посмотрѣла на нее:

— Изсосали мы тебя, Соня... Поля, Леня, Коля, подите сюда... Ну, вотъ они, Соня, всѣ, бери ихъ... съ рукъ на руки... а съ меня довольно!.. Конченъ балъ! Г'а!.. Отпустите меня, дайте хоть помереть спокойно...

Ее опустили опять на подушку.

— Чтò? Священника?.. Не надо... Гдѣ у васъ лишній цѣлковый?.. На мнѣ нѣтъ грѣховъ!.. Богъ и безъ того долженъ простить... Самъ знаетъ, какъ я страдала!.. А не проститъ, такъ и не надо!..

Безпокойный бредъ охватывалъ ее болѣе и болѣе. Порой она вздрагивала, обводила кругомъ глазами, узнавала всѣхъ на минуту; но тотчасъ же сознаніе снова смѣнялось бредомъ. Она хрипло и

трудно дышала; что-то какъ будто клокотало въ горлѣ.

— Я говорю ему: «ваше превосходительство!..» вскрикивала она, отдыхиваясь послѣ каждаго слова: — эта Амалія Людвиговна... ахъ! Леня, Коля! Ручки въ боки, скорѣй, скорѣй, глиссе-глиссе, паде-баскъ! Стучи ножками... Будь граціозный ребенокъ.

Du hast Diamanten und Perlen...

Какъ дальше-то? вотъ бы спѣть...

Du hast die schönsten Augen.
Mädchen, was willst du mehr?..

Ну да, какъ не такъ! was willst du mehr, — выдумаетъ же болванъ!.. Ахъ да, вотъ еще:

Въ полдневный жаръ, въ долинѣ Дагестана...

Ахъ, какъ я любила... Я до обожанія любила этотъ романсъ, Полечка!.. знаешь, твой отецъ... еще женихомъ пѣвалъ... О, дни!.. Вотъ бы, вотъ бы намъ спѣть! Ну какъ же, какъ же... вотъ я и забыла... да напомните же, какъ же? Она была въ чрезвычайномъ волненіи и усиливалась приподняться. Наконецъ, страшнымъ, хриплымъ, надрывающимся голосомъ она начала, вскрикивая и задыхаясь на каждомъ словѣ, съ видомъ какого-то возроставшаго испуга:

Въ полдневый жаръ!.. въ долинѣ!.. Дагестана!...
Съ свинцомъ въ груди!..

Ваше превосходительство! — вдругъ завопила она раздирающимъ воплемъ и залившись слезами: — защитите сиротъ! Зная хлѣбъ-соль покойнаго Семена Захарыча!.. Можно даже сказать аристократическаго!... Г'а — вздрогнула она, вдругъ опа-

мятовавшись и съ какимъ-то ужасомъ всѣхъ осматривая, но тотчасъ узнала Соню. — Соня, Соня! — проговорила она кротко и ласково, какъ бы удивившись, что видитъ ее передъ собой: — Соня, милая, и ты здѣсь?

Ее опять приподняли.

— Довольно!.. Пора!.. Прощай, горемыка!.. Уѣздили клячу!.. Надорвала-а-сь! — крикнула она отчаянно и ненавистно и грохнулась головой на подушку.

Она вновь забылась, но это послѣднее забытье продолжалось недолго. Блѣдно-желтое, изсохшее лицо ея закинулось навзничь назадъ, ротъ раскрылся, ноги судорожно протянулись. Она глубоко-глубоко вздохнула и умерла.

Соня упала на ея трупъ, обхватила ее руками и такъ и замерла, прильнувъ головой къ изсохшей груди покойницы. Полечка припала къ ногамъ матери и цѣловала ихъ, плача навзрыдъ. Коля и Леня, еще не понявъ что̀ случилось, но предчувствуя что-то очень страшное, схватили одинъ другого обѣими руками за плечики и уставившись одинъ на другого глазами, вдругъ вмѣстѣ, разомъ, раскрыли рты и начали кричать. Оба еще были въ костюмахъ: одинъ въ чалмѣ, другая въ ермолкѣ съ страусовымъ перомъ.

И какимъ образомъ этотъ «похвальный листъ» очутился вдругъ на постели, подлѣ Катерины Ивановны? Онъ лежалъ, тутъ же, у подушки; Раскольниковъ видѣлъ его.

Онъ отошелъ къ окну. Къ нему подскочилъ Лебезятниковъ.

— Умерла! — сказалъ Лебезятниковъ.

— Родіонъ Романовичъ, имѣю вамъ два нуж-

ныхъ словечка передать, — подошелъ Свидригайловъ. Лебезятниковъ тотчасъ же уступилъ мѣсто и деликатно стушевался. Свидригайловъ увелъ удивленнаго Раскольникова еще подальше въ уголъ.

— Всю эту возню, то есть похороны и прочее, я беру на себя. Знаете, были бы деньги, а вѣдь я вамъ сказалъ, что у меня лишнія. Этихъ двухъ птенцовъ и эту Полечку я помѣщу въ какія-нибудь сиротскія заведенія получше и положу на каждаго, до совершеннолѣтія, по тысячѣ пятисотъ рублей капиталу, чтобъ ужъ совсѣмъ Софья Семеновна была покойна. Да и ее изъ омута вытащу, потому хорошая дѣвушка, такъ ли? Ну-съ, такъ вы и передайте Авдотьѣ Романовнѣ, что ея десять тысячъ я вотъ такъ и употребилъ.

— Съ какими же цѣлями вы такъ разблаготворились? — спросилъ Раскольниковъ.

— Э-эхъ! Человѣкъ недовѣрчивый! — засмѣялся Свидригайловъ. — Вѣдь я сказалъ, что эти деньги у меня лишнія. Ну, а просто, по человѣчеству, не допускаете, что ль? Вѣдь не «вошь» же была она (онъ ткнулъ пальцемъ въ тотъ уголъ, гдѣ была усопшая), какъ какая-нибудь старушенка процентщица. Ну, согласитесь, ну «Лужину ли, въ самомъ дѣлѣ, жить и дѣлать мерзости, или ей умирать?» И не помоги я, такъ вѣдь «Полечка, напримѣръ, туда же, по той же дорогѣ пойдетъ» . . .

Онъ проговорилъ это съ видомъ какого-то *подмигивающаго,* веселаго плутовства, не спуская глазъ съ Раскольникова. Раскольниковъ поблѣднѣлъ и похолодѣлъ, слыша свои собственныя выраженія, сказанныя Сонѣ. Онъ быстро отшатнулся и дико посмотрѣлъ на Свидригайлова:

— По-почему... вы знаете? — прошепталъ онъ, едва переводя дыханіе.

— Да вѣдь я здѣсь, черезъ стѣнку, у мадамъ Ресслихъ стою. Здѣсь Капернаумовъ, а тамъ мадамъ Ресслихъ, старинная и преданнѣйшая пріятельница. Сосѣдъ-съ.

— Вы?

— Я, — продолжалъ Свидригайловъ, колыхаясь отъ смѣха, — и могу васъ честью увѣрить, милѣйшій Родіонъ Романовичъ, что удивительно вы меня заинтересовали. Вѣдь я сказалъ, что мы сойдемся, предсказалъ вамъ это, — ну, вотъ и сошлись. И увидите, какой я складной человѣкъ. Увидите, что со мной еще можно жить...

Часть шестая.

I.

Для Раскольникова наступило странное время: точно туманъ упалъ вдругъ передъ нимъ и заключилъ его въ безвыходное и тяжелое уединеніе. Припоминая это время потомъ, уже долго спустя, онъ догадывался, что сознаніе его какъ бы тускнѣло, и что такъ продолжалось, съ нѣкоторыми промежутками, вплоть до окончательной катастрофы. Онъ былъ убѣжденъ положительно, что во многомъ тогда ошибался, напримѣръ, въ срокахъ и времени нѣкоторыхъ происшествій. По крайней мѣрѣ, припоминая впослѣдствіи и силясь уяснить себѣ припоминаемое, онъ многое узналъ о себѣ самомъ, уже руководясь свѣдѣніями, полученными отъ посторонникъ. Одно событіе онъ смѣшивалъ, напримѣръ, съ другимъ; другое считалъ послѣдствіемъ происшествія, существовавшаго только въ его воображеніи. Порой овладѣвала имъ болѣзненно-мучительная тревога, перерождавшаяся даже въ паническій страхъ. Но онъ помнилъ тоже, что бывали минуты, часы и даже, можетъ быть, дни, полные апатіи, овладѣвавшей имъ, какъ бы въ противоположность прежнему страху, — апатіи, похожей на болѣз-

ненно-равнодушное состояніе иныхъ умирающихъ. Вообще же въ эти послѣдніе дни онъ и самъ какъ бы старался убѣжать отъ яснаго и полнаго пониманія своего положенія; иные насущные факты, требовавшіе немедленнаго разъясненія, особенно тяготили его; но какъ радъ бы онъ былъ освободиться и убѣжать отъ иныхъ заботъ, забвеніе которыхъ грозило, впрочемъ, полною и неминуемою гибелью въ его положеніи.

Особенно тревожилъ его Свидригайловъ; можно даже было сказать, что онъ какъ будто остановился на Свидригайловѣ. Со времени слишкомъ грозныхъ для него и слишкомъ ясно высказанныхъ словъ Свидригайлова, въ квартирѣ у Сони, въ минуту смерти Катерины Ивановны, какъ бы нарушилось обыкновенное теченіе его мыслей. Но несмотря на то, что этотъ новый фактъ чрезвычайно его безпокоилъ, Раскольниковъ какъ-то не спѣшилъ разъясненіемъ дѣла. Порой, вдругъ находя себя гдѣ-нибудь въ отдаленной и уединенной части города, въ какомъ-нибудь жалкомъ трактирѣ, одного, за столомъ, въ размышленіи, и едва помня какъ онъ попалъ сюда, онъ вспоминалъ вдругъ о Свидригайловѣ: ему вдругъ слишкомъ ясно и тревожно сознавалось, что надо бы, какъ можно скорѣе, сговориться съ этимъ человѣкомъ и, что̀ возможно, порѣшить окончательно. Одинъ разъ, зайдя куда-то за заставу, онъ даже вообразилъ себѣ, что ждетъ здѣсь Свидригайлова и что здѣсь назначено у нихъ свиданіе. Въ другой разъ онъ проснулся предъ разсвѣтомъ гдѣ-то на землѣ, въ кустахъ, и почти не понималъ, какъ забрелъ сюда. Впрочемъ, въ эти два-три дня послѣ смерти Катерины Ивановны онъ уже раза два встрѣчался съ

Свидригайловымъ, всегда почти въ квартирѣ у Сони, куда онъ заходилъ какъ-то безъ цѣли, но всегда почти на минуту. Они перекидывались всегда короткими словами и ни разу не заговорили о капитальномъ пунктѣ, какъ будто между ними такъ само собою и условилось, чтобы молчать объ этомъ до времени. Тѣло Катерины Ивановны еще лежало въ гробу. Свидригайловъ распоряжался похоронами и хлопоталъ. Соня тоже была очень занята. Въ послѣднюю встрѣчу Свидригайловъ объяснилъ Раскольникову, что съ дѣтьми Катерины Ивановны онъ какъ-то покончилъ и покончилъ удачно; что у него, благодаря кой-какимъ связямъ, отыскались такія лица, съ помощью которыхъ можно было помѣстить всѣхъ троихъ сиротъ, немедленно, въ весьма приличныя для нихъ заведенія; что отложенныя для нихъ деньги тоже многому помогли, такъ какъ сиротъ съ капиталомъ помѣстить гораздо легче, чѣмъ сиротъ нищихъ. Сказалъ онъ что-то и про Соню, обѣщалъ какъ-нибудь зайти на-дняхъ самъ къ Раскольникову и упомянулъ, что «желалъ бы посовѣтоваться; что очень надо бы поговорить, что есть такія дѣла . . .» Разговоръ этотъ происходилъ въ сѣняхъ, у лѣстницы. Свидригайловъ пристально смотрѣлъ въ глаза Раскольникову и вдругъ, помолчавъ и понизивъ голосъ, спросилъ:

— Да, что вы, Родіонъ Романычъ, такой самъ не свой? Право! Слушаете и глядите, а какъ будто и не понимаете. Вы ободритесь. Вотъ, дайте поговоримъ; жаль только, что дѣла много и чужого, и своего . . . Эхъ, Родіонъ Романычъ, — прибавилъ онъ вдругъ, — всѣмъ человѣкамъ надобно воздуху, воздуху, воздуху-съ . . . Прежде всего!

Онъ вдругъ посторонился, чтобы пропустить входившаго на лѣстницу священника и дьячка. Они шли служить панихиду. По распоряженію Свидригайлова, панихиды служились два раза въ день, аккуратно. Свидригайловъ пошелъ своей дорогой. Раскольниковъ постоялъ, подумалъ и вошелъ вслѣдъ за священникомъ въ квартиру Сони.

Онъ сталъ въ дверяхъ. Начиналась служба, тихо, чинно, грустно. Въ сознаніи о смерти и въ ощущеніи присутствія смерти всегда для него было что-то тяжелое и мистически ужасное, съ самаго дѣтства; да и давно уже онъ не слыхалъ панихиды. Да и было еще тутъ что-то другое, слишкомъ ужасное и безпокойное. Онъ смотрѣлъ на дѣтей: всѣ они стояли у гроба на колѣняхъ, Полечка плакала. Сзади нихъ, тихо и какъ бы робко плача, молилась Соня. «А вѣдь она въ эти дни ни разу на меня не взглянула и слова мнѣ не сказала», подумалось Раскольникову. Солнце ярко освѣщало комнату; кадильный дымъ восходилъ клубами; священникъ читалъ: «Упокой, Господи». Раскольниковъ отстоялъ всю службу. Благословляя и прощаясь, священникъ какъ-то странно осматривался. Послѣ службы Раскольниковъ подошелъ къ Сонѣ. Та вдругъ взяла его за обѣ руки и преклонила къ его плечу голову. Этотъ короткій дружескій жестъ даже поразилъ Раскольникова недоумѣніемъ; даже странно было; какъ? ни малѣйшаго отвращенія, ни малѣйшаго омерзѣнія къ нему, ни малѣйшаго содроганія въ ея рукѣ! Это ужъ была какая-то безконечность собственнаго униженія. Такъ, по крайней мѣрѣ, онъ ее понялъ. Соня ничего не говорила. Раскольниковъ пожалъ ей руку и вышелъ. Ему стало ужасно тяжело. Если бъ

возможно было уйти куда-нибудь въ эту минуту и остаться совсѣмъ одному, хотя бы на всю жизнь, то онъ почелъ бы себя счастливымъ. Но дѣло въ томъ, что онъ въ послѣднее время, хоть и всегда почти былъ одинъ, никакъ не могъ почувствовать что онъ одинъ. Случалось ему уходить за городъ, выходить на большую дорогу, даже разъ онъ вышелъ въ какую- то рощу; но чѣмъ уединеннѣе было мѣсто, тѣмъ сильнѣе онъ сознавалъ какъ будто чье-то близкое и тревожное присутствіе, не то чтобы страшное, а какъ-то ужъ очень досаждающее, такъ что поскорѣе возвращался въ городъ, смѣшивался съ толпой, входилъ въ трактиры, въ распивочныя, шелъ на Толкучій, на Сѣнную. Здѣсь было ужъ какъ будто бы легче и даже уединеннѣе. Въ одной харчевнѣ, передъ вечеромъ, пѣли пѣсни: онъ просидѣлъ цѣлый часъ, слушая, и помнилъ, что ему даже было очень пріятно. Но подъ конецъ онъ вдругъ сталъ опять безпокоенъ; точно угрызеніе совѣсти вдругъ начало его мучить: «Вотъ, сижу, пѣсни слушаю, а развѣ то мнѣ надобно дѣлать!» какъ будто подумалъ онъ. Впрочемъ, онъ тутъ же догадался, что и не это одно его тревожить; было что-то требующее немедленнаго разрѣшенія, но чего ни осмыслить, ни словами нельзя было передать. Все въ какой-то клубокъ сматывалось. «Нѣтъ, ужъ лучше бы какая борьба! Лучше бы опять Порфирій... или Свидригайловъ... Поскорѣй бы опять какой-нибудь вызовъ, чье-нибудь нападеніе... Да! да!» думалъ онъ. Онъ вышелъ изъ харчевни и бросился чуть не бѣжать. Мысль о Дунѣ и матери навела на него вдругъ, почему-то, какъ бы паническій страхъ. Въ эту-то ночь, передъ утромъ, онъ и проснулся въ кустахъ,

на Крестовскомъ островѣ, весь издрогнувшій, въ лихорадкѣ; онъ пошелъ домой и пришелъ уже раннимъ утромъ. Послѣ нѣсколькихъ часовъ сна, лихорадка прошла, но проснулся онъ уже поздно: было два часа пополудни.

Онъ вспомнилъ, что въ этотъ день назначены похороны Катерины Ивановны, и обрадовался, что не присутствовалъ на нихъ. Настасья принесла ему ѣсть; онъ ѣлъ и пилъ съ большимъ аппетитомъ, чуть не съ жадностью. Голова его была свѣжѣе, и онъ самъ спокойнѣе, чѣмъ въ эти послѣдніе три дня. Онъ даже подивился, мелькомъ, прежнимъ приливамъ своего паническаго страха. Дверь отворилась, и вошелъ Разумихинъ.

— А! Ѣсть, стало быть, не боленъ! — сказалъ Разумихинъ, взялъ стулъ и сѣлъ за столъ противъ Раскольникова. Онъ былъ встревоженъ и не старался этого скрыть. Говорилъ онъ съ видимою досадой, но не торопясь и не возвышая особенно голоса. Можно бы подумать, что въ немъ засѣло какое-то особое и даже исключительное намѣреніе. — Слушай, — началъ онъ рѣшительно, — мнѣ тамъ чертъ съ вами со всѣми, но по тому, что я вижу теперь, вижу ясно, что ничего не могу понять; пожалуйста, не считай, что я пришелъ допрашивать. Наплевать! Самъ не хочу! Самъ теперь все открывай, всѣ ваши секреты, такъ я еще и слушать-то, можетъ быть, не стану, плюну и уйду. Я пришелъ только узнать лично и окончательно: правда ли, во первыхъ, что ты сумасшедшій? Про тебя, видишь ли, существуетъ убѣжденіе (ну, тамъ, гдѣ-нибудь), что ты, можетъ быть, сумасшедшій или очень къ тому наклоненъ. Признаюсь тебѣ, я и самъ сильно былъ наклоненъ поддерживать это мнѣніе, во-пер-

выхъ, судя по твоимъ глупымъ и отчасти гнуснымъ поступкамъ (ничѣмъ необъяснимымъ), а во-вторыхъ, по твоему недавному поведенію съ матерью и сестрой. Только извергъ и подлецъ, если не сумасшедшій, могъ бы такъ поступить съ ними, какъ ты поступилъ; а слѣдственно, ты сумасшедшій...

— Ты давно ихъ видѣлъ?

— Сейчасъ. А ты съ тѣхъ поръ не видалъ? Гдѣ ты шляешься, скажи мнѣ, пожалуйста, я ужъ къ тебѣ три раза заходилъ. Мать больна со вчерашняго дня серьезно. Собралась къ тебѣ; Авдотья Романовна стала удерживать; слушать ничего не хочетъ: «Если онъ, говоритъ, боленъ, если у него умъ мѣшается, кто же ему поможетъ, какъ не мать?» Пришли мы сюда всѣ, потому, не бросать же намъ ее одну. До самыхъ твоихъ дверей упрашивали успокоиться. Вошли, тебя нѣтъ; вотъ здѣсь она и сидѣла. Просидѣла десять минутъ, мы надъ нею стояли, молча. Встала и говоритъ: «Если онъ со двора выходитъ, а, стало быть, здоровъ, и мать забылъ, значитъ, неприлично и стыдно матери у порога стоять и ласки, какъ подачки, выпрашивать». Домой воротилась и слегла; теперь въ жару: «Вижу, говоритъ, для *своей* у него есть время». Она полагаетъ, что *своя*-то это Софья Семеновна, твоя невѣста, или любовница, ужъ не знаю. Я пошелъ было тотчасъ къ Софьѣ Семеновнѣ, потому, братъ, я хотѣлъ все разузнать, — прихожу, смотрю: гробъ стоитъ, дѣти плачутъ. Софья Семеновна траурныя платьица имъ примѣряетъ. Тебя нѣтъ. Посмотрѣлъ, извинился и вышелъ, такъ и Авдотьѣ Романовнѣ донесъ. Все, стало быть, это вздоръ, и нѣтъ тутъ никакой *своей,* вѣрнѣе всего, стало быть, сумасшествіе. Но вотъ ты сидишь и вареную

говядину жрешь, точно три дня не ѣлъ. Оно, положимъ, и сумасшедшіе тоже ѣдятъ, но хоть ты и слова со мной не сказалъ, но ты . . . не сумасшедшій! Въ этомъ я поклянусь. Прежде всего не сумасшедшій. Итакъ, чертъ съ вами со всѣми, потому что тутъ какая-то тайна, какой-то секретъ; а я надъ вашими секретами ломать головы не намѣренъ. Такъ только зашелъ обругаться, — заключилъ онъ, вставая, — душу отвести, а я знаю, что̀ мнѣ теперь дѣлать!

— Что же ты теперь хочешь дѣлать?

— А тебѣ какое дѣло, что̀ я теперь хочу дѣлать?

— Смотри, ты запьешь!

— Почему . . . почему ты это узналъ?

— Ну, вотъ еще!

Разумихинъ помолчалъ съ минуту.

— Ты всегда былъ очень разсудительный человѣкъ и никогда, никогда ты не былъ сумасшедшимъ, — замѣтилъ онъ вдругъ, съ жаромъ. — Это такъ: я запью! Прощай! — И онъ двинулся идти.

— Я о тебѣ, третьяго дня, кажется, съ сестрой говорилъ, Разумихинъ.

— Обо мнѣ! Да . . . ты гдѣ же ее могъ видѣть третьяго дня? — вдругъ остановился Разумихинъ, даже поблѣднѣлъ немного. Можно было угадать, что сердце его медленно и съ напряженіемъ застучало въ груди .

— Она сюда приходила, одна, здѣсь сидѣла, говорила со мной.

— Она!

— Да, она.

— Что же ты говорилъ . . . я хочу сказать, обо мнѣ-то?

— Я сказалъ ей, что ты очень хорошій, честный и трудолюбивый человѣкъ. Что̀ ты ее любишь, я ей не говорилъ, потому, она это сама знаетъ.

— Сама знаетъ?

— Ну, вотъ еще! Куда бы я ни отправился, что̀ бы со мной ни случилось, — ты бы остался у нихъ провидѣніемъ. Я, такъ сказать, передаю ихъ тебѣ, Разумихинъ. Говорю это, потому что совершенно знаю, какъ ты ее любишь, и убѣжденъ въ чистотѣ твоего сердца. Знаю тоже, что и она тебя можетъ любить, и даже, можетъ быть, ужъ и любитъ. Теперь самъ рѣшай, какъ знаешь лучше,—надо иль не надо тебѣ запивать.

— Родька... Видишь... Ну... Ахъ, чертъ! А ты-то куда хочешь отправиться? Видишь: если все это секретъ, то ужъ пусть! Но я... я узнаю секретъ... И увѣренъ, что непремѣнно какой-нибудь вздоръ и страшные пустяки, и что ты одинъ все и затѣялъ. А, впрочемъ, ты отличнѣйшій человѣкъ! Отличнѣйшій человѣкъ!...

— А я именно хотѣлъ тебѣ прибавить, да ты перебилъ, что ты это очень хорошо давеча разсудилъ, чтобы тайны и секреты эти не узнавать. Оставь до времени, не безпокойся. Все въ свое время узнаешь, именно тогда, когда надо будетъ. Вчера мнѣ одинъ человѣкъ сказалъ, что надо воздуху человѣку, воздуху, воздуху! Я хочу къ нему сходить сейчасъ и узнать, что̀ онъ подъ этимъ разумѣетъ.

Разумихинъ стоялъ въ задумчивости и въ волненіи и что-то соображалъ.

«Это политическій заговорщикъ! Навѣрно! И онъ наканунѣ какого-нибудь рѣшительнаго шага,—

это навѣрно! Иначе быть не можетъ и... и Дуня знаетъ...» подумалъ онъ вдругъ про себя.

— Такъ къ тебѣ ходитъ Авдотья Романовна,— проговорилъ онъ, скандируя слова, — а ты самъ хочешь видѣться съ человѣкомъ, который говоритъ, что воздуху надо больше, воздуху и... и, стало быть, и это письмо... это тоже что-нибудь изъ того же, — заключилъ онъ какъ бы про себя.

— Какое письмо?

— Она письмо одно получила, сегодня, ее очень встревожило. Очень. Слишкомъ ужъ даже . Я заговорилъ о тебѣ—просила замолчать. Потомъ... потомъ сказала, что, можетъ, мы очень скоро разстанемся, потомъ стала меня за что-то горячо благодарить; потомъ ушла къ себѣ и заперлась.

— Она письмо получила? — задумчиво переспросилъ Раскольниковъ.

— Да, письмо; а ты не зналъ? Гм.

Они оба помолчали.

— Прощай, Родіонъ. Я, братъ... было одно время... а, впрочемъ, прощай, видишь, было одно время... Ну, прощай! Мнѣ тоже пора. Пить не буду. Теперь не надо... врешь!

Онъ торопился; но уже выходя и ужъ почти затворивъ за собою дверь, вдругъ отворилъ ее снова и сказалъ, глядя куда-то въ сторону:

— Кстати! Помнишь это убійство, ну, вотъ Порфирій-то: старуху-то? Ну, такъ знай, что убійца этотъ отыскался, сознался самъ и доказательства всѣ представилъ. Это одинъ изъ тѣхъ самыхъ работниковъ, красильщики-то, представь себѣ, помнишь, я ихъ тутъ еще защищалъ? Вѣришь ли, что всю эту сцену драки и смѣху на лѣстницѣ, съ своимъ товарищемъ, когда тѣ-то

взбирались, дворникъ и два свидѣтеля, онъ нарочно устроилъ именно для отводу. Какова хитрость, каково присутствіе духа въ этакомъ щенкѣ! Повѣрить трудно; да самъ разъяснилъ, самъ во всемъ признался! И какъ я-то влопался! Что жъ, по-моему, это только геній притворства и находчивости, геній юридическаго отвода, — а, стало быть, нечему особенно удивляться! Развѣ такіе не могутъ быть? А что онъ не выдержалъ характера и сознался, такъ я ему за это еще больше вѣрю. Правдоподобнѣе!... Но какъ я-то, я-то тогда влопался! За нихъ на стѣну лѣзъ!

— Скажи пожалуйста, откуда ты это узналъ, и почему тебя это такъ интересуетъ? — съ видимымъ волненіемъ спросилъ Раскольниковъ.

— Ну, вотъ еще! Почему меня интересуетъ! Спросилъ!.. А узналъ я отъ Порфирія, въ числѣ другихъ. Впрочемъ, отъ него почти все и узналъ.

— Отъ Порфирія?

— Отъ Порфирія.

— Что же... что же онъ? — испуганно спросилъ Раскольниковъ.

— Онъ это отлично мнѣ разъяснилъ. Психологически разъяснилъ, по-своему.

— Онъ разъяснилъ? Самъ же тебѣ и разъяснилъ?

— Самъ, самъ; прощай! Потомъ еще кой-что разскажу, а теперь дѣло есть. Тамъ... было одно время, что я подумалъ... Ну, да что; потомъ!.. Зачѣмъ мнѣ теперь напиваться. Ты меня и безъ вина напоилъ. Пьянъ вѣдь я, Родька! Безъ вина пьянъ теперь, ну, да прощай; зайду; очень скоро.

Онъ вышелъ.

«Это, это политическій заговорщикъ, это на-

вѣрно, навѣрно!» окончательно рѣшилъ про себя Разумихинъ, медленно спускаясь съ лѣстницы. «И сестру втянулъ: это очень, очень можетъ быть съ характеромъ Авдотьи Романовны. Свиданія у нихъ пошли... А вѣдь она тоже мнѣ намекала. По многимъ ея словамъ... и словечкамъ... и намекамъ, все это выходитъ именно такъ! Да и какъ иначе объяснить всю эту путаницу? Гм! А я было думалъ... О Господи, чтò это я было вздумалъ. Да-съ, это было затменіе, и я предъ нимъ виноватъ! Это онъ тогда у лампы, въ корридорѣ, затменіе на меня навелъ. Тьфу! Какая скверная, грубая, подлая мысль съ моей стороны! Молодецъ Николка, что признался... Да и прежнее теперь какъ все объясняется! Эта болѣзнь его тогда, его странные всѣ такіе поступки, даже и прежде, прежде, еще въ университетѣ, какой онъ былъ всегда мрачный, угрюмый... Но чтò же значитъ теперь это письмо? Тутъ, пожалуй, что-нибудь тоже есть. Отъ кого это письмо? Я подозрѣваю... Гм. Нѣтъ, это я все разузнаю».

Онъ вспомнилъ и сообразилъ все о Дунечкѣ, и сердце его замерло. Онъ сорвался съ мѣста и побѣжалъ.

Раскольниковъ, какъ только вышелъ Разумихинъ, всталъ, повернулся къ окну, толкнулся въ уголъ, въ другой, какъ бы забывъ о тѣснотѣ своей конуры, и... сѣлъ опять на диванъ. Онъ весь какъ бы обновился: опять борьба — значитъ, нашелся исходъ!

«Да, значитъ, нашелся исходъ! А то ужъ слишкомъ все сперлось и закупорилось, мучительно стало давить, дурманъ нападалъ какой-то. Съ самой сцены съ Миколкой у Порфирія началъ онъ зады-

хаться безъ воздуха, въ тѣснотѣ. Послѣ Миколки, въ тотъ же день была сцена у Сони; велъ и кончилъ онъ ее совсѣмъ, совсѣмъ не такъ, какъ бы могъ воображать себѣ прежде... ослабѣлъ, значитъ, мгновенно и радикально! Разомъ! И вѣдь согласился же онъ тогда съ Соней, самъ согласился, сердцемъ согласился, что такъ ему одному съ этакимъ дѣломъ на душѣ не прожить! А Свидригайловъ? Свидригайловъ загадка... Свидригайловъ безпокоитъ его, это правда, но какъ-то не съ той стороны. Съ Свидригайловымъ, можетъ быть, еще тоже предстоитъ борьба. Свидригайловъ, можетъ быть, тоже цѣлый исходъ; но Порфирій дѣло другое».

«Итакъ Порфирій самъ еще и разъяснялъ Разумихину, *психологически* ему разъяснялъ! Опять свою проклятую психологію подводить началъ! Порфирій-то? Да чтобы Порфирій повѣрилъ хоть на одну минуту, что Миколка виновенъ, послѣ того-то, что между ними было тогда, послѣ той сцены, глазъ на глазъ, до Миколки, на которую нельзя найти правильнаго толкованія, кромѣ *одного?* (Раскольникову нѣсколько разъ въ эти дни мелькалась и вспоминалась клочками вся эта сцена съ Порфиріемъ; въ цѣломъ онъ бы не могъ вынести воспоминанія.) Были въ то время произнесены между ними такія слова, произошли такія движенія и жесты, обмѣнялись они такими взглядами, сказано было кой-что такимъ голосомъ, доходило до такихъ предѣловъ, что ужъ послѣ этого не Миколкѣ (котораго Порфирій наизусть съ перваго слова и жеста угадалъ), не Миколкѣ было поколебать самую основу его убѣжденій».

«А каково! Даже Разумихинъ началъ было по-

дозрѣвать! Сцена въ корридорѣ, у лампы, прошла тогда не даромъ. Вотъ онъ бросился къ Порфирію... Но съ какой же стати этотъ-то сталъ его такъ надувать? Что у него за цѣль отводить глаза у Разумихина на Миколку? Нѣтъ, онъ непремѣнно что-то задумалъ; тутъ есть намѣренія, но какія? Правда, съ того утра прошло много времени, — слишкомъ, слишкомъ много, а о Порфиріи не было ни слуху, ни духу. Что жъ, это конечно хуже...» Раскольниковъ взялъ фуражку и, задумавшись, пошелъ изъ комнаты. Первый день, во все это время, онъ чувствовалъ себя, по крайней мѣрѣ, въ здравомъ сознаніи. «Надо кончить съ Свидригайловымъ, думалъ онъ, — и во что бы ни стало, какъ можно скорѣй; этотъ тоже, кажется, ждетъ, чтобъ я самъ къ нему пришелъ». И въ это мгновеніе такая ненависть поднялась вдругъ изъ его усталаго сердца, что, можетъ быть, онъ бы могъ убить кого-нибудь изъ этихъ двухъ: Свидригайлова или Порфирія. По крайней мѣрѣ, онъ почувствовалъ, что если не теперь, то впослѣдствіи онъ въ состояніи это сдѣлать. «Посмотримъ, посмотримъ», повторялъ онъ про себя.

Но только что онъ отворилъ дверь въ сѣни, какъ вдругъ столкнулся съ самимъ Порфиріемъ. Тотъ входилъ къ нему. Раскольниковъ остолбенѣлъ на одну минуту, но только на одну минуту. Странно, онъ не очень удивился Порфирію и почти его не испугался. Онъ только вздрогнулъ, но быстро, мгновенно приготовился. «Можетъ быть, развязка! Но какъ же это онъ подошелъ тихонько, какъ кошка, и я ничего не слыхалъ? Неужели подслушивалъ?»

— Не ждали гостя, Родіонъ Романычъ,—вскри-

чалъ, смѣясь, Порфирій Петровичъ. — Давно завернуть собирался, прохожу, думаю — почему не зайти минутъ на пять провѣдать. Куда-то собрались? Не задержу. Только вотъ одну папиросочку, если позволите.

— Да садитесь, Порфирій Петровичъ, садитесь, — усаживалъ гостя Раскольниковъ, съ такимъ, повидимому, довольнымъ и дружескимъ видомъ, что, право, самъ на себя подивился бы, если бы могъ на себя поглядѣть. Послѣдки, поддонки выскребывались! Иногда этакъ человѣкъ вытерпитъ полчаса смертнаго страху съ разбойникомъ, а какъ приложатъ ему ножъ къ горлу окончательно, такъ тутъ даже и страхъ пройдетъ. Онъ прямо усѣлся предъ Порфиріемъ и, не смигнувъ, смотрѣлъ на него. Порфирій прищурился и началъ закуривать папироску.

«Ну, говори же, говори же», какъ будто такъ и хотѣло выпрыгнуть изъ сердца Раскольникова. «Ну, что же, что же, что же ты не говоришь?»

II.

— Вѣдь вотъ эти папироски! — заговорилъ, наконецъ, Порфирій Петровичъ, кончивъ закуривать и отдыхнувшись: — вредъ,чистый вредъ, а отстать не могу! Кашляю-съ, першить начало, и одышка. Я, знаете, трусливъ-съ, поѣхалъ намедни къ Б—ну, — каждаго больного minimum по получасу осматриваетъ; такъ даже разсмѣялся, на меня глядя: и стукалъ и слушалъ, — вамъ, говоритъ, между прочимъ, табакъ не годится; легкія расширены. Ну, а какъ я его брошу? Чѣмъ замѣню? Не пью-съ, вотъ вся и бѣда, хе-хе-хе, что не пью-то бѣда! Все

вѣдь относительно, Родіонъ Романычъ, все относительно.

«Что же это онъ, за свою прежнюю казенщину принимается, что ли!» съ отвращеніемъ подумалось Раскольникову. Вся недавняя сцена послѣдняго ихъ свиданія внезапно ему припомнилась, и тогдашнее чувство волною прихлынуло къ его сердцу.

— А вѣдь я къ вамъ уже заходилъ третьяго дня вечеромъ; вы и не знаете? — продолжалъ Порфирій Петровичъ, осматривая комнату, — въ комнату, въ эту самую входилъ. Тоже, какъ и сегодня, прохожу мимо — дай, думаю, визитикъ-то ему отдамъ. Зашелъ, а комната настежь; осмотрѣлся, — подождалъ, да и служанкѣ вашей не доложился — вышелъ. Не запираете?

Лицо Раскольникова омрачалось болѣе и болѣе. Порфирій точно угадалъ его мысли.

— Объясниться пришелъ, голубчикъ Родіонъ Романычъ, объясниться-съ! Долженъ и обязанъ предъ вами объясненіемъ-съ, — продолжалъ онъ съ улыбочкой и даже слегка стукнулъ ладонью по колѣнкѣ Раскольникову, но почти въ то же мгновеніе лицо его вдругъ приняло серьезную и озабоченную мину; даже какъ будто грустью подернулось, къ удивленію Раскольникова. Онъ никогда еще не видалъ и не подозрѣвалъ у него такого лица. — Странная сцена произошла въ послѣдній разъ между нами, Родіонъ Романычъ. Оно, пожалуй, и въ первое наше свиданіе между нами происходила тоже странная сцена, но тогда . . . Ну, теперь ужъ все одно къ одному! Вотъ что-съ: я, можетъ быть, и очень виноватъ предъ вами выхожу; я это чувствую-съ. Вѣдь мы какъ разстались-то, помните

ли: у васъ нервы поютъ и подколѣнки дрожатъ, и у меня нервы поютъ и подколѣнки дрожатъ. И знаете, какъ-то оно даже и непорядочно между нами тогда вышло, не по-джентльменски. А вѣдь мы все-таки джентльмены; то есть, во всякомъ случаѣ, прежде всего джентльмены; это надо помнить-съ. Вѣдь, помните, до чего доходило... совсѣмъ уже даже и неприлично-съ.

«Что жъ это онъ, за кого меня принимаетъ?» съ изумленіемъ спрашивалъ себя Раскольниковъ, приподнявъ голову и во всѣ глаза смотря на Порфирія.

— Я разсудилъ, что намъ по откровенности теперь дѣйствовать лучше, — продолжалъ Порфирій Петровичъ, немного откинувъ голову и опустивъ глаза, какъ бы не желая болѣе смущать своимъ взглядомъ свою прежнюю жертву и какъ бы пренебрегая своими прежними пріемами и уловками; — да-съ, такія подозрѣнія и такія сцены продолжаться долго не могутъ. Разрѣшилъ насъ тогда Миколка, а то я и не знаю, до чего бы между нами дошло. Этотъ проклятый мѣщанинишка просидѣлъ у меня тогда за перегородкой, — можете себѣ это представить? Вы, конечно, ужъ это знаете; да и самому мнѣ извѣстно, что онъ къ вамъ потомъ заходилъ; но то, что̀ вы тогда предположили, того не было: ни за кѣмъ я не посылалъ и ни въ чемъ еще я тогда не распорядился? Спро̀сите, почему не распорядился? А какъ вамъ сказать: самого меня это все тогда какъ бы пристукнуло. Я и за дворниками-то едва распорядился послать. (Дворниковъ-то, небось, замѣтили, проходя?) Мысль тогда у меня пронеслась, такъ одна, быстро, какъ молнія; крѣпко ужъ, видите ли, убѣжденъ я былъ тогда, Родіонъ

Романычъ. Дай же, я думаю, — хоть и упущу на время одно, зато другое схвачу за хвостъ, — своего-то, своего-то, по крайности, не упущу. Раздражительны вы ужъ очень, Родіонъ Романычъ, отъ природы-съ; даже ужъ слишкомъ-съ, при всѣхъ-то другихъ основныхъ свойствахъ вашего характера и сердца, которыя, я льщу себя надеждой, что отчасти постигъ-съ. Ну, ужъ, конечно, и я не могъ, даже и тогда, разсудить, что не всегда этакъ случается, чтобы вотъ всталъ человѣкъ, да и брякнулъ вамъ всю подноготную. Это хоть и случается, въ особенности, когда человѣка изъ послѣдняго терпѣнія выведешь, но, во всякомъ случаѣ, рѣдко. Это и я могъ разсудить. Нѣтъ, думаю, мнѣ бы хоть черточку! Хоть бы самую махочкую черточку, только одну, но только такую, чтобъ ужъ этакъ руками можно взять было, чтобъ ужъ вещь была, а не то что одну эту психологію. Потому, думалъ я, если человѣкъ виновенъ, то, ужъ, конечно, можно, во всякомъ случаѣ, чего-нибудь существеннаго отъ него дождаться; позволительно даже и на самый неожиданный результатъ расчитывать. На характеръ вашъ я тогда расчитывалъ, Родіонъ Романычъ, больше всего на характеръ-съ! Надѣялся ужъ очень тогда на васъ.

— Да вы... да что же вы теперь-то все такъ говорите, — пробормоталъ, наконецъ, Раскольниковъ, даже не осмысливъ хорошенько вопроса. «Объ чемъ онъ говоритъ, — терялся онъ про себя, — неужели же въ самомъ дѣлѣ за невиннаго меня принимаетъ?»

— Что такъ говорю? А объясниться пришелъ-съ, такъ сказать, долгомъ святымъ почитаю. Хочу вамъ все до тла изложить, какъ все было, всю

эту исторію этого тогдашняго, такъ сказать, омраченія. Много я заставилъ васъ перестрадать, Родіонъ Романычъ. Я не извергъ-съ. Вѣдь понимаю же и я, каково это все перетащить на себѣ человѣку, удрученному, но гордому, властному и нетерпѣливому, въ особенности нетерпѣливому! Я васъ, во всякомъ случаѣ, за человѣка наиблагороднѣйшаго почитаю-съ, и даже съ зачатками великодушія-съ, хоть и не согласенъ съ вами во всѣхъ убѣжденіяхъ вашихъ, о чемъ долгомъ считаю заявить напередъ, прямо и съ совершенною искренностью, ибо прежде всего не желаю обманывать. Познавъ васъ, почувствовалъ къ вамъ привязанность. Вы, можетъ быть, на такія мои слова разсмѣетесь? Право имѣете-съ. Знаю, что вы меня и съ перваго взгляда не полюбили, потому, въ сущности, и не за что полюбить-съ. Но считайте какъ хотите, а теперь желаю, съ моей стороны, всѣми средствами загладить произведенное впечатлѣніе и доказать, что и я человѣкъ съ сердцемъ и совѣстью. Искренно говорю-съ.

Порфирій Петровичъ пріостановился съ достоинствомъ. Раскольниковъ почувствовалъ приливъ какого-то новаго испуга. Мысль о томъ, что Порфирій считаетъ его за невиннаго, начала вдругъ пугать его.

— Разсказывать все по порядку, какъ это вдругъ тогда началось, вдрядъ ли нужно, — продолжалъ Порфирій Петровичъ; — я думаю, даже и лишнее. Да и врядъ ли я смогу-съ. Потому, какъ это объяснить обстоятельно? Первоначально слухи пошли. О томъ, какіе это были слухи, и отъ кого и когда . . . и по какому поводу собственно до васъ дѣло дошло, — тоже, я думаю, лишнее. Лично же

у меня началось со случайности, съ одной совершенно случайной случайности, которая въ высшей степени могла быть и могла не быть, — какой? Гм, я думаю, тоже нечего говорить. Все это, и слухи и случайности, совпало у меня тогда въ одну мысль. Признаюсь откровенно, потому, если ужъ признаваться, такъ во всемъ, — это я первый на васъ тогда и напалъ. Эти, тамъ, положимъ, старухины отмѣтки на вещахъ и прочее, и прочее — все это вздоръ-съ. Такихъ штукъ сотню можно начесть. Имѣлъ я тоже случай тогда до подробности разузнать о сценѣ въ конторѣ квартала, тоже случайно-съ, и не то чтобы такъ мимоходомъ, а отъ разсказчика особеннаго, капитальнаго, который, и самъ того не вѣдая, удивительно эту сцену осилилъ. Все вѣдь это одно къ одному-съ, одно къ одному-съ, Родіонъ Романычъ, голубчикъ! Ну, какъ тутъ было не повернуться въ извѣстную сторону? Изо ста кроликовъ никогда не составится лошадь, изо ста подозрѣній никогда не составится доказательства, вѣдь вотъ какъ одна англійская пословица говоритъ, да вѣдь это только благоразуміе-съ, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому, и слѣдователь человѣкъ-съ. Вспомнилъ тутъ я и вашу статейку, въ журнальцѣ-то, помните, еще въ первое-то ваше посѣщеніе въ подробности о ней-то говорили. Я тогда поглумился, но это для того, чтобы васъ на дальнѣйшее вызвать. Повторяю, нетерпѣливы и больны вы очень, Родіонъ Романычъ. Что вы смѣлы, заносчивы, серьезны и... чувствовали, много ужъ чувствовали, все это я давно уже зналъ-съ. Мнѣ всѣ эти ощущенія знакомы, и статейку вашу я прочелъ, какъ знакомую. Въ безсонныя ночи и въ изступленіи она замышлялась.

съ подыманіемъ и стуканьемъ сердца, съ энтузіазмомъ подавленнымъ. А опасенъ этотъ подавленный, гордый энтузіазмъ въ молодежи! Я тогда поглумился, а теперь вамъ скажу, что ужасно люблю вообще, то есть какъ любитель, эту первую, юную, горячую пробу пера. Дымъ, туманъ, струна звенитъ въ туманѣ. Статья ваша нелѣпа и фантастична, но въ ней мелькаетъ такая искренность, въ ней гордость юная и неподкупная, въ ней смѣлость отчаянія; она мрачная, статья-съ, да это хорошо-съ. Статейку вашу я прочелъ, да и отложилъ, и... какъ отложилъ ее тогда, да и подумалъ: «ну, съ этимъ человѣкомъ такъ не пройдетъ!» Ну, такъ какъ же, скажите теперь, послѣ такого предыдущаго не увлечься было послѣдующимъ! Ахъ, Господи! Да развѣ я говорю что-нибудь? Развѣ я что-нибудь теперь утверждаю? Я тогда только замѣтилъ. Чего тутъ, думаю? Тутъ ничего, то есть ровно ничего, и, можетъ быть, въ высшей степени ничего. Да и увлекаться этакъ мнѣ, слѣдователю, совсѣмъ даже неприлично: у меня вонъ Миколка на рукахъ, и уже съ фактами, — тамъ, какъ хотите, а факты! И тоже свою психологію подводитъ; имъ надо позаняться; потому, тутъ дѣло жизни и смерти. Для чего я вамъ теперь все это объясняю? А чтобы вы знали и съ вашимъ умомъ и сердцемъ не обвинили меня за мое злобное тогдашнее поведеніе. Не злобное-съ, искренно говорю-съ, хе-хе! Вы что думаете: я у васъ тогда не былъ съ обыскомъ? Былъ-съ, былъ-съ, хе-хе, былъ-съ, когда вы вотъ здѣсь больной въ постелькѣ лежали. Не офиціально и не своимъ лицомъ, а былъ-съ. До послѣдняго волоска у васъ, въ квартирѣ, было смотрѣно, по первымъ же слѣдамъ: но — umsonst! Думаю: теперь

этотъ человѣкъ придетъ, самъ придетъ, и очень скоро; коль виноватъ, такъ ужъ непремѣнно придетъ. Другой не придетъ, а этотъ придетъ. А помните, какъ господинъ Разумихинъ началъ вамъ проговариваться? Это мы устроили съ тѣмъ, чтобы васъ взволновать, потому мы нарочно и пустили слухъ, чтобъ онъ вамъ проговаривался, а господинъ Разумихинъ такой человѣкъ, что негодованія не выдержитъ. Господину Заметову прежде всего вашъ гнѣвъ и ваша открытая смѣлость въ глаза бросилась: ну, какъ это въ трактирѣ вдругъ брякнуть: «я убилъ!» Слишкомъ смѣло-съ, слишкомъ дерзко-съ, и если, думаю, онъ виновенъ, то это страшный боецъ! Такъ тогда и подумалъ-съ. Жду-съ! Жду васъ изо всѣхъ силъ, а Заметова вы тогда просто придавили и... вѣдь въ томъ-то и штука, что вся эта проклятая психологія о двухъ концахъ! Ну, такъ жду я васъ, смотрю, а васъ Богъ и даетъ, — идете! Такъ у меня и стукнуло сердце. Эхъ! Ну, зачѣмъ вамъ было тогда приходить? Смѣхъ-то, смѣхъ-то вашъ, какъ вошли тогда, помните, вѣдь вотъ точно сквозь стекло я все тогда угадалъ, а не жди я васъ такимъ особеннымъ образомъ, и въ смѣхѣ вашемъ ничего бы не замѣтилъ. Вотъ оно что значитъ въ настроеніи-то быть. И господинъ-то Разумихинъ тогда, — ахъ! камень-то, камень-то, помните, камень-то, вотъ еще подъ которымъ вещи-то спрятаны? Ну, вотъ точно вижу его, гдѣ-нибудь тамъ, въ огородѣ — въ огородѣ вѣдь говорили вы, Заметову-то, а потомъ, у меня-то во второй разъ? А какъ начали мы тогда эту вашу статью перебирать, какъ стали вы излагать, — такъ вотъ каждое-то слово ваше вдвойнѣ принимаешь, точно другое подъ нимъ сидитъ! Ну,

вотъ, Родіонъ Романычъ, такимъ-то вотъ образомъ я и дошелъ до послѣднихъ столбовъ, да какъ стукнулся лбомъ, и опомнился. Нѣтъ, говорю, что это я! Вѣдь если захотѣть, то все это, говорю, до послѣдней черты можно въ другую сторону объяснить, даже еще натуральнѣе выйдетъ. Мука-съ! «Нѣтъ, думаю, мнѣ бы ужъ лучше черточку!..» Да какъ услышалъ тогда про эти колокольчики, такъ весь даже такъ и замеръ, даже дрожь прохватила. Ну, думаю, вотъ она черточка и есть! Оно! Да ужъ и не разсуждалъ я тогда, просто не хотѣлъ. Тысячу бы рублей въ ту минуту я далъ, своихъ собственныхъ, чтобы только на васъ *въ свои глаза* посмотрѣть: какъ вы тогда сто шаговъ съ мѣщанинишкой рядомъ шли, послѣ того, какъ онъ вамъ «убійцу» въ глаза сказалъ, и ничего у него, цѣлыхъ сто шаговъ, спросить не посмѣли!.. Ну, а холодъ-то этотъ въ спинномъ мозгу? Колокольчики-то эти, въ болѣзни-то, въ полубредѣ-то? Итакъ, Родіонъ Романычъ, что жъ вамъ послѣ того и удивляться, что я съ вами тогда такія шутки шутилъ? И зачѣмъ вы сами въ ту самую минуту пришли? Вѣдь и васъ кто-то какъ будто подталкивалъ, ей Богу, а если бы не развелъ насъ Миколка, то... а Миколку-то тогда помните? Хорошо запомнили? Вѣдь это былъ громъ-съ! Вѣдь это громъ грянулъ изъ тучи, громовая стрѣла! Ну, а какъ я его встрѣтилъ? Стрѣлѣ-то вотъ ни на столечко не повѣрилъ, сами изволили видѣть! Да куда! Ужъ потомъ, послѣ васъ, когда онъ сталъ весьма и весьма складно на иные пункты отвѣчать, такъ что я самъ удивился, и потомъ ему ни на грошъ не повѣрилъ! Вотъ что значитъ укрѣпился, какъ адамантъ. Нѣтъ, думаю, моргенъ фри! какой ужъ тутъ Миколка!

— Мнѣ Разумихинъ сейчасъ говорилъ, что вы и теперь обвиняете Николая и сами Разумихина въ томъ увѣряли . . .

Духъ у него захватило, и онъ не докончилъ. Онъ слушалъ въ невыразимомъ волненіи, какъ человѣкъ, насквозь его раскусившій, отъ самого себя отрекался. Онъ боялся повѣрить и не вѣрилъ. Въ двусмысленныхъ еще словахъ онъ жадно искалъ и ловилъ чего-нибудь болѣе точнаго и окончательнаго.

— Господинъ-то Разумихинъ! — вскричалъ Порфирій Петровичъ, точно обрадовавшись вопросу все молчавшаго Раскольникова, — хе-хе-хе! Да господина Разумихина такъ и надо было прочь отвести: двоимъ любо, третій не суйся. Господинъ Разумихинъ не то-съ, да и человѣкъ посторонній, прибѣжалъ ко мнѣ весь такой блѣдный . . . Ну, да Богъ съ нимъ, что его сюда мѣшать! А насчетъ Миколки угодно ли вамъ знать, что̀ это за сюжетъ, въ томъ видѣ, какъ, то есть, я его понимаю? Первона-перво это еще дитя несовершеннолѣтнее, и не то чтобы трусъ, а такъ, въ родѣ какъ бы художника какого-нибудь. Право-съ, вы не смѣйтесь, что я такъ его изъясняю. Невиненъ и ко всему воспріимчивъ. Сердце имѣетъ; фантастъ. Онъ и пѣть, онъ и плясать, онъ и сказки, говорятъ, такъ разсказываетъ, что изъ другихъ мѣстъ сходятся слушать. И въ школу ходить, и хохотать до упаду отъ того что пальчикъ покажутъ, и пьянствовать до безчувствія, не то чтобъ отъ разврата, а такъ, полосами, когда напоятъ, по-дѣтски еще. Онъ тогда вотъ и укралъ, а и самъ этого не знаетъ; потому, «коли на землѣ поднялъ, что̀ за укралъ?» А извѣстно ли вамъ, что онъ изъ раскольниковъ, да

и не то чтобъ изъ раскольниковъ, а просто сектантъ; у него въ родѣ бѣгуны бывали, и самъ онъ еще недавно, цѣлыхъ два года, въ деревнѣ, у нѣкоего старца подъ духовнымъ началомъ былъ. Все это я отъ Миколки и отъ зарайскихъ его узналъ. Да куды! просто въ пустыню бѣжать хотѣлъ! Рвеніе имѣлъ, по ночамъ Богу молился, книги старыя, «истинныя» читалъ и зачитывался. Петербургъ на него сильно подѣйствовалъ, особенно женскій полъ, ну, и вино. Воспріимчивъ-съ, и старца, и все забылъ. Извѣстно мнѣ, его художникъ одинъ здѣсь полюбилъ, къ нему ходить сталъ, да вотъ этотъ случай и подошелъ! Ну, обробѣлъ — вѣшаться! Бѣжать! Что жъ дѣлать съ понятіемъ, которое прошло въ народѣ о нашей юридистикѣ! Иному вѣдь страшно слово «засудятъ». Кто виноватъ! Вотъ что-то новые суды скажутъ. Охъ, далъ бы Богъ! Ну-съ; въ острогѣ-то и вспомнился видно теперь честной старецъ; Библія тоже явилась опять. Знаете ли, Родіонъ Романычъ, что̀ значитъ у иныхъ изъ нихъ «пострадать»? Это не то чтобы за кого-нибудь, а такъ просто «пострадать надо»; страданіе, значитъ, принять, а отъ властей, такъ тѣмъ паче. Сидѣлъ въ мое время одинъ смиреннѣйшій арестантъ цѣлый годъ въ острогѣ, на печи по ночамъ все Библію читалъ, ну, и зачитался, да зачитался, знаете, совсѣмъ, да такъ, что ни съ того, ни съ сего, сгребъ кирпичъ и кинулъ въ начальника, безо всякой обиды съ его стороны. Да и какъ кинулъ-то: нарочно на аршинъ мимо взялъ, чтобы какого вреда не произвести! Ну, извѣстно, какой конецъ арестанту, который съ оружіемъ кидается на начальство: и «принялъ, значитъ, страданіе». Такъ вотъ, я и подозрѣваю теперь, что Миколка хо-

четъ «страданіе принять», или въ родѣ того. Это я навѣрно, даже по фактамъ, знаю-съ. Онъ только самъ не знаетъ, что я знаю. Что, не допускаете что ли, чтобъ изъ такого народа выходили люди фантастическіе? Да сплошь. Старецъ теперь опять началъ дѣйствовать, особенно послѣ петли-то припомнился. А впрочемъ, самъ мнѣ все разскажетъ, придетъ. Вы думаете, выдержитъ? Подождите, еще отопрется! Съ часу на часъ жду, что придетъ отъ показанія отказываться. Я этого Миколку полюбилъ и его досконально изслѣдую. И какъ бы вы думали! Хе-хе! на иные-то пункты весьма складно мнѣ отвѣчалъ, очевидно, нужныя свѣдѣнія получилъ, ловко приготовился; ну, а по другимъ пунктамъ просто, какъ въ лужу, ничегошечко не знаетъ, не вѣдаетъ, да и самъ не подозрѣваетъ, что не вѣдаетъ! Нѣтъ, батюшка, Родіонъ Романычъ, тутъ не Миколка! Тутъ дѣло фантастическое, мрачное, дѣло современное, нашего времени случай-съ, когда помутилось сердце человѣческое; когда цитуется фраза, что кровь «освѣжаетъ»; когда вся жизнь проповѣдуется въ комфортѣ. Тутъ — книжныя мечты-съ, тутъ теоретически раздраженное сердце; тутъ видна рѣшимость на первый шагъ, но рѣшимость особаго рода, — рѣшился, да какъ съ горы упалъ, или съ колокольни слетѣлъ, да и на преступленіе-то словно не своими ногами пришелъ. Дверь за собой забылъ притворить, а убилъ, двухъ убилъ, по теоріи. Убилъ, да и денегъ взять не сумѣлъ, а что успѣлъ захватить, то подъ камень снесъ. Мало было ему, что муку вынесъ, когда за дверью сидѣлъ, а въ дверь ломились, и колокольчикъ звонилъ, — нѣтъ, онъ потомъ ужъ на пустую квартиру, въ полубредѣ, припомнить этотъ коло-

кольчикъ идетъ, холоду спиннаго опять испытать потребовалось... Ну, да это, положимъ, въ болѣзни, а то вотъ еще: убилъ, да за честнаго человѣка себя почитаетъ, людей презираетъ, блѣднымъ ангеломъ ходитъ,—нѣтъ, ужъ какой тутъ Миколка, голубчикъ, Родіонъ Романычъ, тутъ не Миколка!

Эти послѣднія слова, послѣ всего прежде сказаннаго и такъ похожаго на отреченіе, были слишкомъ ужъ неожиданны. Раскольниковъ весь задрожалъ, какъ будто пронзенный.

— Такъ... кто же... убилъ?.. — спросилъ онъ, не выдержавъ, задыхающимся голосомъ. Порфирій Петровичъ даже отшатнулся на спинку стула, точно ужъ такъ неожиданно и онъ былъ изумленъ вопросомъ.

— Какъ кто убилъ?.. — переговорилъ онъ, точно не вѣря ушамъ своимъ,—да *вы* убили, Родіонъ Романычъ! Вы и убили-съ... — прибавилъ онъ почти шепотомъ, совершенно убѣжденнымъ голосомъ.

Раскольниковъ вскочилъ съ дивана, постоялъ было нѣсколько секундъ и сѣлъ опять, не говоря ни слова. Мелкія конвульсіи вдругъ прошли по всему его лицу.

— Губка-то опять, какъ и тогда вздрагиваетъ, — пробормоталъ какъ бы даже съ участіемъ Порфирій Петровичъ. — Вы меня, Родіонъ Романычъ, кажется, не такъ поняли-съ, — прибавилъ онъ нѣсколько помолчавъ, — оттого такъ и изумились. Я именно пришелъ съ тѣмъ, чтобъ уже все сказать, и дѣло повести на открытую.

— Это не я убилъ, — прошепталъ было Раскольниковъ, точно испуганныя маленькія дѣти, когда ихъ захватываютъ на мѣстѣ преступленія.

— Нѣтъ, это вы-съ, Родіонъ Романычъ, вы-съ,

и некому больше-съ, — строго и убѣжденно прошепталъ Порфирій.

Они оба замолчали, и молчаніе длилось даже до странности долго, минутъ съ десять. Раскольниковъ облокотился на столъ и молча ерошилъ пальцами свои волосы. Порфирій Петровичъ сидѣлъ и ждалъ. Вдругъ Раскольниковъ презрительно посмотрѣлъ на Порфирія.

— Опять вы за старое, Порфирій Петровичъ! Все за тѣ же ваши пріемы: какъ это вамъ не надоѣстъ, въ самомъ дѣлѣ?

— Э, полноте, что̀ мнѣ теперь пріемы! Другое бы дѣло, если бы тутъ находились свидѣтели; а то вѣдь мы одинъ на одинъ шепчемъ. Сами видите, я не съ тѣмъ къ вамъ пришелъ, чтобы гнать и ловить васъ, какъ зайца. Признаетесь, аль нѣтъ, — въ эту минуту мнѣ все равно. Про себя-то я и безъ васъ убѣжденъ.

— А коли такъ, зачѣмъ вы пришли? — раздражительно спросилъ Раскольниковъ. — Я вамъ прежній вопросъ задаю: если вы меня виновнымъ считаете, зачѣмъ не берете вы меня въ острогъ?

— Ну, вотъ это вопросъ! По пунктамъ вамъ и отвѣчу: во-первыхъ, взять васъ такъ прямо подъ арестъ мнѣ невыгодно.

— Какъ невыгодно! Коли вы убѣждены, такъ вы должны . . .

— Эхъ, что жъ что я убѣжденъ? Вѣдь все это покамѣстъ мои мечты-съ. Да и что я васъ *на покой-то* туда посажу? Сами знаете, коли сами проситесь. Приведу я, напримѣръ, уличать васъ мѣщанинишку, а вы ему скажете: «Ты пьянъ аль нѣтъ? Кто меня съ тобой видѣлъ? Я тебя просто за пьянаго и принималъ, да ты и былъ пьянъ», — ну,

что я вамъ тогда на это скажу, тѣмъ паче, что ваше-то еще правдоподобнѣе, чѣмъ его, потому что въ его показаніи одна психологія, — что его рылу даже и неприлично, — а вы-то въ самую точку попадаете, потому что пьетъ мерзавецъ горькую и слишкомъ даже извѣстенъ. Да и самъ я вамъ откровенно признавался, уже нѣсколько разъ, что психологія эта о двухъ концахъ и что второй-то конецъ больше будетъ, да и гораздо правдоподобнѣе, а что кромѣ этого противъ васъ у меня пока и нѣтъ ничего. И хоть я васъ все-таки посажу и даже самъ вотъ я пришелъ (совсѣмъ не по-людски) вамъ обо всемъ впередъ объявить, а все-таки прямо вамъ говорю (тоже не по-людски), что мнѣ это будетъ невыгодно. Ну-съ, во-вторыхъ, я потому къ вамъ пришелъ...

— Ну, да, во-вторыхъ? (Раскольниковъ все еще задыхался.)

— Потому что, какъ я уже и объявилъ давеча, считаю себя обязаннымъ вамъ объясненіемъ. Не хочу, чтобы вы меня за изверга почитали, тѣмъ паче, что искренно къ вамъ расположенъ, вѣрьте, не вѣрьте. Вслѣдствіе чего, въ-третьихъ, и пришелъ къ вамъ съ открытымъ и прямымъ предложеніемъ — учинить явку съ повинною. Это вамъ будетъ безчисленно выгоднѣе, да и мнѣ тоже выгоднѣе, — потому съ плечъ долой. Ну, что, откровенно или нѣтъ съ моей стороны?

Раскольниковъ подумалъ съ минуту.

— Послушайте, Порфирій Петровичъ, вы вѣдь сами говорите: одна психологія, а между тѣмъ въѣхали въ математику. Ну что, если и сами вы теперь ошибаетесь?

— Нѣтъ, Родіонъ Романычъ, не ошибаюсь.

Черточку такую имѣю. Черточку-то эту я и тогда вѣдь нашелъ-съ; послалъ Господь!

— Какую черточку?

— Не скажу какую, Родіонъ Романычъ. Да и во всякомъ случаѣ теперь и права не имѣю больше отсрочивать; посажу-съ. Такъ вы разсудите: мнѣ *теперь* ужъ все равно, а слѣдственно, я единственно только для васъ. Ей Богу, лучше будетъ, Родіонъ Романычъ!

Раскольниковъ злобно усмѣхнулся.

— Вѣдь это не только смѣшно, это даже ужъ безстыдно. Ну, будь я даже виновенъ (чего я вовсе не говорю), ну, съ какой стати мнѣ къ вамъ являться съ повинною, когда сами вы ужъ говорите, что я сяду къ вамъ туда *на покой?*

— Эхъ, Родіонъ Романычъ, не совсѣмъ словамъ вѣрьте; можетъ, и не совсѣмъ будетъ *на покой!* Вѣдь это только теорія, да еще моя-съ, а я вамъ что за авторитетъ? Я, можетъ быть, и самъ отъ васъ кой что даже и теперь скрываю-съ. Не все же мнѣ вамъ такъ взять да и выложить, хе-хе! Второе дѣло: какъ какая выгода? Да извѣстно ли вамъ, какая вамъ за это воспослѣдуетъ сбавка? Вѣдь вы когда явитесь-то, въ какую минуту? Вы это только разсудите! Когда другой уже на себя преступленіе принялъ и все дѣло спуталъ? А я вамъ, вотъ самимъ Богомъ клянусь, такъ «тамъ» поддѣлаю и устрою, что ваша явка выйдетъ, какъ будто совсѣмъ неожиданная. Всю эту психологію мы совсѣмъ уничтожимъ, всѣ подозрѣнія на васъ въ ничто обращу, такъ что ваше преступленіе въ родѣ помраченія какого-то представится, потому, по совѣсти, оно помраченіе и есть. Я честный человѣкъ, Родіонъ Романычъ, и свое слово сдержу.

Раскольниковъ грустно замолчалъ и поникъ головой; онъ долго думалъ и, наконецъ, опять усмѣхнулся, но улыбка его была уже кроткая и грустная:

— Эхъ, не надо! — проговорилъ онъ, какъ бы уже совсѣмъ не скрываясь съ Порфиріемъ. — Не стоитъ! Не надо мнѣ совсѣмъ вашей сбавки!

— Ну, вотъ этого-то я и боялся! — горячо и какъ бы невольно воскликнулъ Порфирій, — вотъ этого-то я и боялся, что не надо вамъ нашей сбавки.

Раскольниковъ грустно и внушительно поглядѣлъ на него.

— Эй, жизнью не брезгайте! — продолжалъ Порфирій, — много ея впереди еще будетъ. Какъ не надо сбавки, какъ не надо! Нетерпѣливый вы человѣкъ!

— Чего впереди много будетъ?

— Жизни! Вы что за пророкъ, много ль вы знаете? Ищите и обрящете. Васъ, можетъ, Богъ на этомъ и ждалъ. Да и не навѣкъ она, цѣпь-то . . .

— Сбавка будетъ . . . — засмѣялся Раскольниковъ.

— А что, стыда буржуазнаго, что ли, испугались? Это можетъ быть, что и испугались, да сами того не знаете, — потому молодо! А все-таки не вамъ бы бояться, али тамъ стыдиться явки съ повинною.

— Э-эхъ, наплевать! — презрительно и съ отвращеніемъ прошепталъ Раскольниковъ, какъ бы и говорить не желая. Онъ было опять привсталъ, точно хотѣлъ куда-нибудь выйти, но опять сѣлъ въ видимомъ отчаяніи.

— То-то наплевать! Извѣрились, да и думаете, что я вамъ грубо льщу; да много ль вы еще и жили-то? Много ль понимаете-то? Теорію выду-

малъ, да и стыдно стало, что сорвалось, что ужъ очень не оригинально вышло! Вышло-то подло, это правда, да вы-то все-таки не безнадежный подлецъ. Совсѣмъ не такой подлецъ! По крайней мѣрѣ, долго себя не морочилъ, разомъ до послѣднихъ столбовъ дошелъ. Я вѣдь васъ за кого почитаю? Я васъ почитаю за одного изъ такихъ, которымъ хоть кишки вырѣзай, а онъ будетъ стоять, да съ улыбкой смотрѣть на мучителей, — если только вѣру иль Бога найдетъ. Ну, и найдите, и будете жить. Вамъ, во-первыхъ, давно уже воздухъ перемѣнить надо. Что жъ, страданье тоже дѣло хорошее. Пострадайте. Миколка-то, можетъ, и правъ, что страданья хочетъ. Знаю, что не вѣруется, — а вы лукаво не мудрствуйте; отдайтесь жизни прямо, не разсуждая; не безпокойтесь, — прямо на берегъ вынесетъ и на ноги поставитъ. На какой берегъ? А я почемъ знаю? Я только вѣрую, что вамъ еще много жить. Знаю, что вы слова мои какъ рацею теперь принимаете заученную; да, можетъ, послѣ вспомните, пригодится, когда-нибудь; для того и говорю. Еще хорошо, что вы старушенку только убили. А выдумай вы другую теорію, такъ, пожалуй, еще и въ сто милліоновъ разъ безобразнѣе дѣло бы сдѣлали! Еще Бога, можетъ, надо благодарить; почемъ вы знаете: можетъ, васъ Богъ для чего и бережетъ. А вы великое сердце имѣйте да поменьше бойтесь. Великаго предстоящаго исполненія-то струсили? Нѣтъ, тутъ ужъ стыдно трусить. Коли сдѣлали такой шагъ, такъ ужъ крѣпитесь. Тутъ ужъ справедливость. Вотъ исполните-ка что требуетъ справедливость. Знаю, что не вѣруете, а, ей Богу, жизнь вынесетъ. Самому послѣ слюбится. Ватъ теперь только воздуху мало, воздуху, воздуху!

Раскольниковъ даже вздрогнулъ.

— Да вы-то кто такой! — вскричалъ онъ, — вы-то что̀ за пророкъ? Съ высоты какого это спокойствія величаваго вы мнѣ премудрствующія пророчества изрекаете?

— Кто я? Я покончeнный человѣкъ, больше ничего. Человѣкъ, пожалуй, чувствующій и сочувствующій, пожалуй, кой что и знающій, но ужъ совершенно покончeнный. А вы — другая статья: вамъ Богъ жизнь приготовилъ (а кто знаетъ, можетъ, и у васъ такъ только дымомъ пройдетъ, ничего не будетъ). Ну, что жъ, что вы въ другой разрядъ людей перейдете? Не комфорта же жалѣть, вамъ-то, съ вашимъ-то сердцемъ? Что жъ, что васъ, можетъ быть, слишкомъ долго никто не увидитъ? Не во времени дѣло, а въ васъ самомъ. Станьте солнцемъ, васъ всѣ и увидятъ. Солнцу прежде всего надо быть солнцемъ. Вы чего опять улыбаетесь: что я такой Шиллеръ? И бьюсь объ закладъ, предполагаете, что я къ вамъ теперь подольщаюсь! А что жъ, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ подольщаюсь, хе-хе-хе! Вы мнѣ, Родіонъ Романычъ, на слово-то, пожалуй, не вѣрьте, пожалуй, даже и никогда не вѣрьте вполнѣ, — это ужъ такой мой норовъ, согласенъ; только вотъ что прибавлю: насколько я низкій человѣкъ и насколько я честный, сами, кажется, можете разсудить!

— Вы когда меня думаете арестовать?

— Да денька полтора али два могу еще дать вамъ погулять. Подумайте-ка, голубчикъ, помолитесь-ка Богу. Да и выгоднѣе, ей Богу, выгоднѣе.

— А ну, какъ я убѣгу? — какъ-то странно усмѣхаясь, спросилъ Раскольниковъ.

— Нѣтъ, не убѣжите. Мужикъ убѣжитъ, мод-

ный сектантъ убѣжитъ, — лакей чужой мысли, — потому, что ему только кончикъ пальчика показать, какъ мичману Дыркѣ, такъ онъ на всю жизнь во что хотите повѣритъ. А вы, вѣдь, вашей теоріи ужъ больше не вѣрите, — съ чѣмъ же вы убѣжите? Да и чего вамъ въ бѣгахъ? Въ бѣгахъ гадко и трудно, а вамъ прежде всего надо жизни и положенія опредѣленнаго, воздуху соотвѣтственнаго, ну, а вашъ ли тамъ воздухъ? Убѣжите и сами воротитесь. *Безъ насъ вамъ нельзя обойтись.* А засадя я васъ въ тюремный-то замокъ, — ну, мѣсяцъ, ну, два, ну, три посидите, а тамъ, вдругъ и помянете мое слово, сами и явитесь, да еще какъ, пожалуй, себѣ самому неожиданно. Сами еще за часъ знать не будете, что придете съ повинною. Я даже вотъ увѣренъ, что вы «страданье надумаетесь принять»; мнѣ-то на слово теперь не вѣрите, а сами на томъ остановитесь. Потому, страданье, Родіонъ Романычъ, великая вещь; вы не глядите на то, что я отолстѣлъ, нужды нѣтъ, зато знаю; не смѣйтесь надъ этимъ, въ страданіи есть идея. Миколка-то правъ. Нѣтъ, не убѣжите, Родіонъ Романычъ.

Раскольниковъ всталъ съ мѣста и взялъ фуражку. Порфирій Петровичъ тоже всталъ.

— Прогуляться сбираетесь? Вечерокъ-то будетъ хорошъ, только грозы бы вотъ не было. А, впрочемъ, и лучше, кабы освѣжило . . .

Онъ тоже взялся за фуражку.

— Вы, Порфирій Петровичъ, пожалуйста, не заберите себѣ въ голову, — съ суровою настойчивостью произнесъ Раскольниковъ, — что я вамъ сегодня сознался. Вы человѣкъ странный, и слушалъ я васъ изъ одного любопытства. А я вамъ ни въ чемъ не сознался . . . Запомните это.

— Ну, да ужъ знаю, запомню, — ишь вѣдь, даже дрожитъ. Не безпокойтесь, голубчикъ; ваша воля да будетъ. Погуляйте немножко; только слишкомъ-то ужъ много нельзя гулять. На всякій случай есть у меня и еще къ вамъ просьбица, — прибавилъ онъ, понизивъ голосъ, — щекотливенькая она, а важная: если, то есть на всякій случай (чему я, впрочемъ, не вѣрую и считаю васъ вполнѣ неспособнымъ), если бы на случай, — ну такъ, на всякій случай, — пришла бы вамъ охота въ эти сорокъ-пятьдесятъ часовъ какъ-нибудь дѣло покончить иначе, фантастическимъ какимъ образомъ, — ручки этакъ на себя поднять (предположеніе нелѣпое, ну, да ужъ вы мнѣ его простите), то — оставьте краткую, но обстоятельную записочку. Такъ, двѣ строчки, двѣ только строчечки, и объ камнѣ упомяните: благороднѣе будетъ-съ. Ну-съ, до свиданія . . . Добрыхъ мыслей, благихъ начинаній!

Порфирій вышелъ какъ-то согнувшись, и какъ бы избѣгая глядѣть на Раскольникова. Раскольниковъ подошелъ къ окну и съ раздражительнымъ нетерпѣніемъ выжидалъ время, когда, по разсчету, тотъ выйдетъ на улицу и отойдетъ подальше. Затѣмъ поспѣшно вышелъ и самъ изъ комнаты.

III.

Онъ спѣшилъ къ Свидригайлову. Чего онъ могъ надѣяться отъ этого человѣка — онъ и самъ не зналъ. Но въ этомъ человѣкѣ таилась какая-то власть надъ нимъ. Сознавъ это разъ, онъ уже не могъ успокоиться, а теперь къ тому же и пришло время.

Дорогой одинъ вопросъ особенно мучилъ его: былъ ли Свидригайловъ у Порфирія?

Сколько онъ могъ судить и въ чемъ бы онъ присягнулъ, — нѣтъ, не былъ! Онъ подумалъ еще и еще, припомнилъ все посѣщеніе Порфирія, сообразилъ: нѣтъ, не былъ, конечно, не былъ!

Но если не былъ еще, то пойдетъ или не пойдетъ онъ къ Порфирію?

Теперь покамѣстъ ему казалось, что не пойдетъ. Почему? Онъ не могъ бы объяснить и этого, но если бъ и могъ объяснить, то теперь онъ бы не сталъ надъ этимъ особенно ломать голову. Все это его мучило, и въ то же время ему было какъ-то не до того. Странное дѣло, никто бы, можетъ быть, не повѣрилъ этому, но о своей теперешней, немедленной судьбѣ онъ какъ-то слабо, разсѣянно заботился. Его мучило что-то другое, гораздо болѣе важное, чрезвычайное, — о немъ же самомъ и не о комъ о другомъ, но что-то другое, что-то главное. Къ тому же онъ чувствовалъ безпредѣльную нравственную усталость, хотя разсудокъ его въ это утро работалъ лучше, чѣмъ во всѣ эти послѣдніе дни.

Да и стоило ль теперь, послѣ всего, что было, стараться побѣждать всѣ эти новыя мизерныя затрудненія? Стоило ль, напримѣръ, стараться интриговать, чтобы Свидригайловъ не ходилъ къ Порфирію; изучать, разузнавать, терять время на какого-нибудь Свидригайлова!

О, какъ ему все это надоѣло!

А между тѣмъ онъ все-таки спѣшилъ къ Свидригайлову; ужъ не ожидалъ ли онъ чего-нибудь отъ него *новаго*, указаній, выхода? И за соломинку вѣдь хватаются! Не судьба ль, не инстинктъ ли ка-

кой сводитъ ихъ вмѣстѣ? Можетъ быть, это была только усталость, отчаяніе; можетъ быть, надо было не Свидригайлова, а кого-то другого, а Свидригайловъ только такъ тутъ подвернулся. Соня? Да и зачѣмъ бы онъ пошелъ теперь къ Сонѣ? Опять просить у ней ея слезъ? Да и страшна была ему Соня. Соня представляла собою неумолимый приговоръ, рѣшеніе безъ перемѣны. Тутъ — или ея дорога или его. Особенно въ эту минуту онъ не въ состояніи былъ ее видѣть. Нѣтъ, не лучше ли испытать Свидригайлова: что̀ это такое? И онъ не могъ не сознаться внутри, что и дѣйствительно тотъ на что-то ему давно уже какъ бы нуженъ.

Ну, однакожъ, что̀ можетъ быть между ними общаго? Даже и злодѣйство не могло бы быть у нихъ одинаково. Этотъ человѣкъ очень къ тому же былъ непріятенъ, очевидно, чрезвычайно развратенъ, непремѣнно хитеръ и обманчивъ, можетъ быть, очень золъ. Про него ходятъ такіе разсказы. Правда, онъ хлопоталъ за дѣтей Катерины Ивановны; но кто знаетъ для чего, и что это означаетъ? У этого человѣка вѣчно какія-то намѣренія и проекты.

Мелькала постоянно во всѣ эти дни у Раскольникова еще одна мысль и страшно его безпокоила, хотя онъ даже старался прогонять ее отъ себя, такъ она была тяжела для него! Онъ думалъ иногда: Свидригайловъ все вертѣлся около него, да и теперь вертится; Свидригайловъ узналъ его тайну; Свидригайловъ имѣлъ замыслы противъ Дуни. А если и теперь имѣетъ? Почти навѣрное можно сказать, что *да*. А если теперь, узнавъ его тайну и такимъ образомъ получивъ надъ нимъ власть, онъ захочетъ употребить ее какъ оружіе противъ Дуни?

Мысль эта иногда, даже во снѣ, мучила его, но въ первый еще разъ она явилась ему такъ сознательно ярко, какъ теперь, когда онъ шелъ къ Свидригайлову. Одна уже мысль эта приводила его въ мрачную ярость. Во-первыхъ, тогда уже все измѣнится, даже въ его собственномъ положеніи: слѣдуетъ тотчасъ же открыть тайну Дунечкѣ. Слѣдуетъ, можетъ быть, предать самого себя, чтобъ отвлечь Дунечку отъ какого-нибудь неосторожнаго шага. Письмо? Нынче утромъ Дуня получила какое-то письмо! Отъ кого въ Петербургѣ могла бы она получать письма? (Лужинъ развѣ?) Правда, тамъ стережетъ Разумихинъ; но Разумихинъ ничего не знаетъ. Можетъ быть, слѣдуетъ открыться и Разумихину? Раскольниковъ съ омерзѣніемъ подумалъ объ этомъ.

Во всякомъ случаѣ, Свидригайлова надо увидать какъ можно скорѣе, — рѣшилъ онъ про себя окончательно. Слава Богу, тутъ не такъ нужны подробности, сколько сущность дѣла; но если, если только способенъ онъ, если Свидригайловъ что-нибудь интригуетъ противъ Дуни, — то...

Раскольниковъ до того усталъ за все это время за весь этотъ мѣсяцъ, что уже не могъ разрѣшать теперь подобныхъ вопросовъ иначе какъ только однимъ рѣшеніемъ: «тогда я убью его», — подумалъ онъ въ холодномъ отчаяніи. Тяжелое чувство сдавило его сердце; онъ остановился посрединѣ улицы и сталъ осматриваться: по какой дорогѣ онъ идетъ и куда онъ зашелъ? Онъ находился на —скомъ проспектѣ, шагахъ въ тридцати или въ сорока отъ Сѣнной, которую прошелъ. Весь второй этажъ дома налѣво былъ занятъ трактиромъ. Всѣ окна были отворены настежь; трак-

тиръ, судя по двигавшимся фигурамъ въ окнахъ, былъ набитъ биткомъ. Въ залѣ разливались пѣсенники, звенѣли кларнетъ, скрипка и гремѣлъ турецкій барабанъ. Слышны были женскіе взвизги. Онъ было хотѣлъ пойти назадъ, недоумѣвая, зачѣмъ онъ повернулъ на —скій проспектъ, какъ вдругъ, въ одномъ изъ крайнихъ отворенныхъ оконъ трактира, увидѣлъ сидѣвшаго у самаго окна, за чайнымъ столомъ, съ трубкою въ зубахъ, Свидригайлова. Это страшно, до ужаса поразило его. Свидригайловъ наблюдалъ и разсматривалъ его молча и, что̀ тоже тотчасъ же поразило Раскольникова, кажется, хотѣлъ было вставать, чтобы потихоньку успѣть уйти, пока его не замѣтили. Раскольниковъ тотчасъ сдѣлалъ видъ, что какъ будто и самъ не замѣтилъ его и смотритъ, задумавшись, въ сторону, а самъ продолжалъ его наблюдать краемъ глаза. Сердце его тревожно билось. Такъ и есть: Свидригайловъ, очевидно, не хочетъ, чтобъ его видѣли. Онъ отвелъ отъ губъ трубку и уже хотѣлъ спрятаться; но, поднявшись и отодвинувъ стулъ, вѣроятно, вдругъ замѣтилъ, что Раскольниковъ его видитъ и наблюдаетъ. Между ними произошло нѣчто похожее на сцену ихъ перваго свиданія у Раскольникова, во время сна. Плутовская улыбка показалась на лицѣ Свидригайлова и все болѣе расширялась. И тотъ и другой знали, что оба видятъ и наблюдаютъ другъ друга. Наконецъ, Свидригайловъ громко расхохотался.

— Ну, ну! Входите ужъ, коли хотите; я здѣсь! — крикнулъ онъ изъ окна.

Раскольниковъ поднялся въ трактиръ.

Онъ нашелъ его въ очень маленькой, задней комнатѣ, въ одно окно, примыкавшей къ большой

залъ, гдѣ на двадцати маленькихъ столикахъ, при крикахъ отчаяннаго хора пѣсенниковъ, пили чай купцы, чиновники и множество всякаго люда. Откуда-то долеталъ стукъ шаровъ на билліардѣ. На столикѣ предъ Свидригайловымъ стояла початая бутылка шампанскаго и стаканъ, до половины полный вина. Въ комнаткѣ находились еще мальчикъ-шарманщикъ, съ маленькимъ ручнымъ органчикомъ, и здоровая, краснощекая дѣвушка, въ подтыканной, полосатой юбкѣ и въ тирольской шляпѣ съ лентами, пѣвица, лѣтъ восемнадцати, которая, несмотря на хоровую пѣсню въ другой комнатѣ, пѣла подъ аккомпаниментъ органщика, довольно сиплымъ контральтомъ, какую-то лакейскую пѣсню...

— Ну, и довольно! — прервалъ ее Свидригайловъ при входѣ Раскольникова.

Дѣвушка тотчасъ же оборвала и остановилась въ почтительномъ ожиданіи. Пѣла она свою рифмованную лакейщину тоже съ какимъ-то серьезнымъ и почтительнымъ оттѣнкомъ въ лицѣ.

— Эй, Филиппъ, стаканъ! — крикнулъ Свидригайловъ.

— Я не стану пить вина, — сказалъ Раскольниковъ.

— Какъ хотите, я не для васъ. Пей, Катя! Сегодня ничего больше не понадобится, ступай!—Онъ налилъ ей цѣлый стаканъ вина и выложилъ желтенькій билетикъ. Катя выпила стаканъ разомъ, какъ пьютъ вино женщины, то есть не отрываясь, въ двадцать глотковъ, взяла билетикъ, поцѣловала у Свидригайлова руку, которую тотъ весьма серьезно допустилъ поцѣловать, и вышла изъ комнаты, а за нею поташился и мальчишка съ органомъ. Оба они были приведены съ улицы. Свидригайловъ

и недѣли не жилъ въ Петербургѣ, а ужъ все около него было на какой-то патріархальной ногѣ. Трактирный лакей, Филиппъ, тоже былъ уже «знакомый» и подобострастничалъ. Дверь въ залу запиралась; Свидригайловъ въ этой комнатѣ былъ какъ у себя и проводилъ въ ней, можетъ быть, цѣлые дни. Трактиръ былъ грязный, дрянной и даже не средней руки.

— Я къ вамъ шелъ и васъ отыскивалъ, — началъ Раскольниковъ; — но почему теперь я вдругъ поворотилъ на —скій проспектъ съ Сѣнной? Я никогда сюда не поворачиваю и не захожу. Я поворачиваю съ Сѣнной направо. Да и дорога къ вамъ не сюда. Только поворотилъ, вотъ и вы! Это странно!

— Зачѣмъ же вы прямо не скажете: это чудо!

— Потому что это, можетъ быть, только случай.

— Вѣдь какая складка у всего этого народа! — захохоталъ Свидригайловъ, — не сознается, хоть бы даже внутри и вѣрилъ чуду! Вѣдь ужъ сами говорите, что «можетъ быть» только случай. И какіе здѣсь все трусишки насчетъ своего собственнаго мнѣнія, вы представить себѣ не можете, Родіонъ Романычъ! Я не про васъ. Вы имѣете собственное мнѣніе и не струсили имѣть его. Тѣмъ-то вы и завлекли мое любопытство.

— Больше ничѣмъ?

— Да и этого вѣдь довольно.

Свидригайловъ былъ, очевидно, въ возбужденномъ состояніи, но всего только на капельку; вина выпилъ онъ всего только полстакана.

— Мнѣ кажется, вы пришли ко мнѣ раньше, чѣмъ узнали о томъ, что я способенъ имѣть то,

что̀ вы называете собственнымъ мнѣніемъ, — замѣтилъ Раскольниковъ.

— Ну, тогда дѣло было другое. У всякаго свои шаги. А насчетъ чуда скажу вамъ, что вы, кажется, эти послѣдніе два-три дня проспали. Я вамъ самъ назначилъ этотъ трактиръ и никакого тутъ чуда не было, что вы прямо пришли; самъ растолковалъ всю дорогу, разсказалъ мѣсто, гдѣ онъ стоитъ, и часы, въ которые можно меня здѣсь застать. Помните?

— Забылъ, — отвѣчалъ съ удивленіемъ Раскольниковъ.

— Вѣрю. Два раза я вамъ говорилъ. Адресъ отчеканился у васъ въ памяти механически. Вы и повернули сюда механически, а между тѣмъ строго по адресу, сами того не зная. Я и говоря-то вамъ тогда не надѣялся, что вы меня поняли. Очень ужъ вы себя выдаете, Родіонъ Романычъ. Да вотъ еще: я убѣжденъ, что въ Петербургѣ много народу, ходя, говорятъ сами съ собой. Это городъ полусумасшедшихъ. Если бъ у насъ были науки, то медики, юристы и философы могли бы сдѣлать надъ Петербургомъ драгоцѣннѣйшія изслѣдованія, каждый по своей спеціальности. Рѣдко гдѣ найдется столько мрачныхъ, рѣзкихъ и странныхъ вліяній на душу человѣка, какъ въ Петербургѣ. Чего стоятъ одни климатическія вліянія! Между тѣмъ это административный центръ всей Россіи, и характеръ его долженъ отражаться на всемъ. Но не въ томъ теперь дѣло, а въ томъ, что я уже нѣсколько разъ смотрѣлъ на васъ сбоку. Вы выходите изъ дому — еще держите голову прямо. Съ двадцати шаговъ вы уже ее опускаете, руки складываете назадъ. Вы смотрите, и, очевидно, ни предъ собой, ни по бо-

камъ уже ничего не видите. Наконецъ, начинаете шевелить губами и разговаривать сами съ собой, при чемъ иногда высвобождаете руку и декламируете, наконецъ, останавливаетесь среди дороги и надолго. Это очень не хорошо-съ. Можетъ быть, васъ кое-кто и замѣчаетъ, кромѣ меня, а ужъ это невыгодно. Мнѣ въ сущности все равно, и я васъ не вылѣчу, но вы, конечно, меня понимаете.

— А вы знаете, что за мною слѣдятъ? — спросилъ Раскольниковъ, пытливо на него вглядывая.

— Нѣтъ, ничего не знаю, — какъ бы съ удивленіемъ отвѣтилъ Свидригайловъ.

— Ну, такъ и оставимъ меня въ покоѣ, — нахмурившись, пробормоталъ Раскольниковъ.

— Хорошо, оставимъ васъ въ покоѣ.

— Скажите лучше, если вы сюда приходите пить и сами мнѣ назначили два раза, чтобъ я къ вамъ сюда же пришелъ, то почему вы теперь, когда я смотрѣлъ въ окно съ улицы, прятались и хотѣли уйти? Я это очень хорошо замѣтилъ.

— Хе-хе! А почему вы, когда я тогда стоялъ у васъ на порогѣ, лежали на своей софѣ съ закрытыми глазами и притворялись, что спите, тогда какъ вы вовсе не спали? Я это очень хорошо замѣтилъ.

— Я могъ имѣть . . . причины . . . вы сами это знаете.

— И я могъ имѣть свои причины, хотя вы ихъ и не узнаете.

Раскольниковъ опустилъ правый локоть на столъ, подперъ пальцами правой руки снизу свой подбородокъ и пристально уставился на Свидригайлова. Онъ разсматривалъ съ минуту его лицо, которое всегда его поражало и прежде. Это было ка-

кое-то странное лицо, похожее какъ бы на маску: бѣлое, румяное, съ румяными, алыми губами, съ свѣтло-бѣлокурою бородою и съ довольно еще густыми бѣлокурыми волосами. Глаза были какъ-то слишкомъ голубые, а взглядъ ихъ какъ-то слишкомъ тяжелъ и неподвиженъ. Что-то было ужасно непріятное въ этомъ красивомъ и чрезвычайно моложавомъ, судя по лѣтамъ, лицѣ. Одежда Свидригайлова была щегольская, лѣтняя, легкая, въ особенности щеголялъ онъ бѣльемъ. На пальцѣ былъ огромный перстень съ дорогимъ камнемъ.

— Да неужели же мнѣ и съ вами еще тоже надо возиться, — сказалъ вдругъ Раскольниковъ, выходя съ судорожнымъ нетерпѣніемъ прямо на открытую, — хотя вы, можетъ быть, и самый опасный человѣкъ, если захотите вредить, да я-то не хочу ломать себя больше. Я вамъ покажу сейчасъ, что не такъ дорожу собою, какъ вы, вѣроятно, думаете. Знайте же, я пришелъ къ вамъ прямо сказать, что если вы держите ваше прежнее намѣреніе насчетъ моей сестры и если для этого думаете чѣмъ-нибудь воспользоваться изъ того, что̀ открыто въ послѣднее время, то я васъ убью, прежде чѣмъ вы меня въ острогъ посадите. Мое слово вѣрно: вы знаете, что я сумѣю сдержать его. Второе, если хотите мнѣ что-нибудь объявить, — потому что мнѣ все это время казалось, что вы какъ будто хотите мнѣ что-то сказать, — то объявляйте скорѣе, потому что время дорого и, можетъ быть, очень скоро будетъ уже поздно.

— Да куда вы это такъ торопитесь? — спросилъ Свидригайловъ, любопытно его разглядывая.

— У всякаго свои шаги, — мрачно и нетерпѣливо проговорилъ Раскольниковъ.

— Вы сами же вызывали сейчасъ на откровенность, а на первый же вопросъ и отказываетесь отвѣчать, — замѣтилъ Свидригайловъ съ улыбкой. — Вамъ все кажется, что у меня какой-то цѣли, а потому и глядите на меня подозрительно. Что жъ, это совершенно понятно въ вашемъ положеніи. Но какъ я ни желаю сойтись съ вами, я все-таки не возьму на себя труда разувѣрять васъ въ противномъ. Ей Богу, игра не стоитъ свѣчъ, да и говорить-то съ вами я ни о чемъ такомъ особенномъ не намѣревался.

— Зачѣмъ же я тогда вамъ такъ понадобился? Вѣдь вы же около меня ухаживали?

— Да просто какъ любопытный субъектъ для наблюденія. Мнѣ понравились вы фантастичностью вашего положенія, — вотъ чѣмъ! Кромѣ того, вы братъ особы, которая меня очень интересовала, и наконецъ, отъ самой этой особы въ свое время я ужасно много и часто слыхалъ о васъ, изъ чего и заключилъ, что вы имѣете надъ нею большое вліяніе; развѣ этого мало? Хе-хе-хе! Впрочемъ, сознаюсь, вашъ вопросъ для меня весьма сложенъ, и мнѣ трудно на него вамъ отвѣтить. Ну, вотъ, напримѣръ, вѣдь вы пришли ко мнѣ теперь мало того что по дѣлу, а зачѣмъ-нибудь новенькимъ? Вѣдь такъ? Вѣдь такъ?—настаивалъ Свидригайловъ съ плутовскою улыбкой, — ну, представьте же себѣ послѣ этого, что я самъ-то, еще ѣхавъ сюда, въ вагонѣ, на васъ же расчитывалъ, что вы мнѣ тоже скажете что-нибудь *новенькаго,* и что отъ васъ же удастся мнѣ чѣмъ-нибудь позаимствоваться! Вотъ какіе мы богачи!

— Чѣмъ это позаимствоваться?

— Да что̀ вамъ сказать? Развѣ я знаю чѣмъ?

Видите, въ какомъ трактиришкѣ все время просиживаю, и это мнѣ всласть, то есть не то чтобы власть, а такъ, надо же гдѣ-нибудь сѣсть. Ну, вотъ хоть эта бѣдная Катя — видѣли? . . Ну, былъ бы я, напримѣръ, хоть обжора, клубный гастрономъ, а то вѣдь вотъ что я могу ѣсть! (Онъ ткнулъ пальцемъ въ уголъ, гдѣ на маленькомъ столикѣ, на жестяномъ блюдцѣ, стояли остатки ужаснаго бифштекса съ картофелемъ.) Кстати, обѣдали вы? Я перекусилъ и больше не хочу. Вина, напримѣръ, совсѣмъ не пью. Кромѣ шампанскаго никакого, да и шампанскаго-то въ цѣлый вечеръ одинъ стаканъ, да и то голова болитъ. Это я теперь, чтобы подмонтироваться, велѣлъ подать, потому что я куда-то собираюсь, и вы видите меня въ особомъ расположеніи духа. Я потому давеча и спрятался, какъ школьникъ, что думалъ, что вы мнѣ помѣшаете; но, кажется (онъ вынулъ часы), могу пробыть съ вами часъ; теперь половина пятаго. Вѣрите ли, хотя бы что-нибудь было; ну, помѣщикомъ быть, ну, отцомъ, ну, уланомъ, фотографомъ, журналистомъ . . . н-ничего, никакой спеціальности! Иногда даже скучно. Право, думалъ, что вы мнѣ скажете что-нибудь новенькаго.

— Да кто вы такой и зачѣмъ вы сюда пріѣхали?

— Я кто такой? Вы знаете: дворянинъ, служилъ два года въ кавалеріи, потомъ такъ здѣсь въ Петербургѣ шлялся, потомъ женился на Марѳѣ Петровнѣ и жилъ въ деревнѣ. Вотъ моя біографія!

— Вы, кажется, игрокъ?

— Нѣтъ, какой я игрокъ. Шулеръ — не игрокъ.

— А вы были шулеромъ?

— Да, былъ и шулеромъ.

— Что же, васъ бивали?

— Случалось. А что?

— Ну, стало быть, вызвать на дуэль могли... да и вообще, оживляетъ.

— Не противорѣчу вамъ и при томъ не мастеръ я философствовать. Признаюсь вамъ, я сюда больше насчетъ женщинъ поскорѣе пріѣхалъ.

— Только что похоронили Марѳу Петровну?

— Ну да, — улыбнулся съ побѣждающею откровенностью Свидригайловъ. — Такъ что жъ? Вы, кажется, находите что-то дурное, что я о женщинахъ такъ говорю?

— То есть, нахожу я или нѣтъ дурное въ развратѣ?

— Въ развратѣ? Ну, вотъ вы куда! А, впрочемъ, по порядку прежде отвѣчу вамъ насчетъ женщины вообще; знаете, я расположенъ болтать. Скажите, для чего я буду себя сдерживать? Зачѣмъ же бросать женщинъ, коли я хоть до нихъ охотникъ? По крайней мѣрѣ, занятіе.

— Такъ вы здѣсь только на развратъ одинъ и надѣетесь?

—Ну, такъ что жъ, ну, и на развратъ! Дался вамъ развратъ. Да люблю, по крайней мѣрѣ, прямой вопросъ. Въ этомъ развратѣ, по крайней мѣрѣ, есть нѣчто постоянное, основанное даже на природѣ и не подверженное фантазіи, нѣчто всегдашнимъ разожженнымъ угольком въ крови пребывающее, вѣчно поджигающее, которое и долго еще, и съ лѣтами, можетъ быть, не такъ скоро зальешь. Согласитесь сами, развѣ не занятіе въ своемъ родѣ?

— Чему же тутъ радоваться? Это болѣзнь и опасная.

— А, вотъ вы куда! Я согласенъ, что это болѣзнь, какъ и все переходящее черезъ мѣру, — а тутъ непремѣнно придется перейти черезъ мѣру, — но вѣдь это, во-первыхъ, у одного такъ, у другого иначе, а во-вторыхъ, разумѣется во всемъ держи мѣру, расчетъ хоть и подлый, но вѣдь что же дѣлать? Не будь этого, вѣдь этакъ застрѣлиться, пожалуй, пришлось бы. Я согласенъ, что порядочный человѣкъ обязанъ скучать, но вѣдь, однакожъ.

— А вы могли бы застрѣлиться?

— Ну, вотъ! — съ отвращеніемъ отпарировалъ Свидригайловъ, — сдѣлайте одолженіе, не говорите объ этомъ, — прибавилъ онъ поспѣшно и даже безъ всякаго фанфаронства, которое выказывалось во всѣхъ прежнихъ его словахъ. Даже лицо его какъ будто измѣнилось. — Сознаюсь въ непростительной слабости, но что дѣлать: боюсь смерти и не люблю, когда говорятъ о ней. Знаете ли, что я мистикъ отчасти?

— А! Призраки Марѳы Петровны! Что жъ, приходить продолжаютъ?

— Ну ихъ, не поминайте; въ Петербургѣ еще не было; да и чертъ съ ними! — вскричалъ онъ съ какимъ-то раздражительнымъ видомъ. — Нѣтъ, будемте лучше объ этомъ... да впрочемъ... Гм! Эхъ, мало времени, не могу я съ вами долго остаться, а жаль! Было бы что сообщить.

— А что у васъ, женщина?

— Да, женщина, такъ нечаянный одинъ случай... нѣтъ, я не про то.

— Ну, а мерзость всей этой обстановки на васъ уже не дѣйствуетъ? Уже потеряли силу остановиться?

— А вы и на силу претендуете? Хе-хе-хе!

Удивили же вы меня сейчасъ, Родіонъ Романычъ, хоть я заранѣе зналъ, что это такъ будетъ. Вы же толкуете мнѣ о развратѣ и объ эстетикѣ! Вы — Шиллеръ, вы — идеалистъ! Все это, конечно, такъ и должно быть и надо бы удивляться, если бъ оно было иначе, но, однакожъ, какъ-то все-таки странно въ дѣйствительности . . . Ахъ, жаль, что времени мало, потому вы сами прелюбопытный субъектъ? А кстати, вы любите Шиллера? Я ужасно люблю.

— Но какой вы, однакоже, фанфаронъ! — съ нѣкоторымъ отвращеніемъ произнесъ Раскольниковъ.

— Ну, ей Богу же нѣтъ! — хохоча отвѣчалъ Свидригайловъ, — а впрочемъ, не спорю, пусть и фанфаронъ; но вѣдь почему же и не пофанфаронить, когда оно безобидно. Я семь лѣтъ прожилъ въ деревнѣ у Марфы Петровны, а потому, набросившись теперь на умнаго человѣка, какъ вы, — на умнаго и въ высшей степени любопытнаго, просто, радъ поболтать, да кромѣ того выпилъ эти полстакана вина и уже капельку въ голову ударило. А главное, существуетъ одно обстоятельство, которое меня очень монтировало, но о которомъ я . . . умолчу. Куда же вы? — съ испугомъ спросилъ вдругъ Свидригайловъ.

Раскольниковъ сталъ было вставать. Ему сдѣлалось и тяжело, и душно, какъ-то неловко, что онъ пришелъ сюда. Въ Свидригайловѣ онъ убѣдился какъ въ самомъ пустѣйшемъ и ничтожнѣйшемъ злодѣѣ въ мірѣ.

— Э-эхъ! Посидите, останьтесь, — упрашивалъ Свидригайловъ, — да велите себѣ принести хоть чаю. Ну, посидите, ну, я не буду болтать взло-

ру, о себѣ то есть. Я вамъ что-нибудь разскажу. Ну, хотите, я вамъ разскажу, какъ меня женщина, говоря вашимъ слогомъ, «спасала»? Это будетъ даже отвѣтомъ на вашъ первый вопросъ, потому что особа эта — ваша сестра. Можно разсказывать? Да и время убьемъ.

— Разсказывайте, но я надѣюсь, вы . . .

— О, не безпокойтесь! При томъ же Авдотья Романовна даже и въ такомъ скверномъ и пустомъ человѣкѣ, какъ я, можетъ вселить только одно глубочайшее уваженіе.

IV.

— Вы знаете, можетъ быть (да я, впрочемъ, и самъ вамъ разсказывалъ), — началъ Свидригайловъ, — что я сидѣлъ здѣсь въ долговой тюрьмѣ, по огромному счету, и не имѣя ни малѣйшихъ средствъ въ виду для уплаты. Нечего подробничать о томъ, какъ выкупила меня тогда Марѳа Петровна; знаете ли до какой степени одурманенія можетъ иногда полюбить женщина? Это была женщина честная, весьма неглупая (хотя и совершенно необразованная). Представьте же себѣ, что эта-то самая, ревнивая и честная женщина, рѣшилась снизойти, послѣ многихъ ужасныхъ изступленій и попрековъ, на нѣкотораго рода со мною контрактъ, который и исполняла во все время нашего брака. Дѣло въ томъ, что она была значительно старше меня, кромѣ того, постоянно носила во рту какую-то гвоздичку. Я имѣлъ настолько свинства въ душѣ и своего рода честности, чтобъ объявить ей прямо, что совершенно вѣренъ ей быть не могу. Это признаніе привело ее въ изступленіе, но, кажется, моя

грубая откровенность ей въ нѣкоторомъ родѣ понравилась: «Значитъ, дескать, самъ не хочетъ обманывать, коли заранѣе такъ объявляетъ», — ну, а для ревнивой женщины это первое. Послѣ долгихъ слезъ состоялся между нами такого рода изустный контрактъ: первое, я никогда не оставлю Марѳу Петровну и всегда пребуду ея мужемъ; второе, безъ ея позволенія не отлучусь никуда; третье, постоянной любовницы не заведу никогда; четвертое, за это Марѳа Петровна позволяетъ мнѣ приглянуть иногда на сѣнныхъ дѣвушекъ, но не иначе, какъ съ ея секретнаго вѣдома; пятое, Боже сохрани меня полюбить женщину изъ нашего сословія; шестое, если на случай, чего Боже сохрани, меня посѣтитъ какая-нибудь страсть, большая и серьезная, то я долженъ открыться Марѳѣ Петровнѣ. Насчетъ послѣдняго пункта Марѳа Петровна была, впрочемъ, во все время довольно спокойна; это была умная женщина, а слѣдственно не могла же на меня смотрѣть иначе, какъ на развратника и потаскуна, который серьезно полюбить не въ состояніи. Но умная женщина и ревнивая женщина—два предмета разные, и вотъ въ этомъ-то и бѣда. Впрочемъ, чтобы безпристрастно судить о нѣкоторыхъ людяхъ нужно заранѣе отказаться отъ иныхъ предвзятыхъ взглядовъ и отъ обыденной привычки къ обыкновенно окружающимъ насъ людямъ и предметамъ. На ваше сужденіе, болѣе чѣмъ на чье-нибудь, я имѣю право надѣяться. Можетъ быть, вы уже очень много слышали о Марѳѣ Петровнѣ смѣшного и нелѣпаго. Дѣйствительно, у ней были иныя весьма смѣшныя привычки; но скажу вамъ прямо, что я искренно сожалѣю о безчисленныхъ горестяхъ, которыхъ я былъ причиной. Ну, и довольно,

кажется, для весьма приличнаго oraison funèbre нѣжнѣйшей женѣ нѣжнѣйшаго мужа. Въ случаяхъ нашихъ ссоръ я, большею частью, молчалъ и не раздражался, и это джентльменничанье всегда почти достигало цѣли; оно на нее вліяло, и ей даже нравилось; бывали случаи, что она мною даже гордилась. Но сестрицы вашей все-таки не вынесла. И какимъ образомъ это случилось, что она рискнула взять такую раскрасавицу въ свой домъ, въ гувернантки! Я объясняю тѣмъ, что Марѳа Петровна была женщина пламенная и воспріимчивая, и что, просто-за-просто, она сама влюбилась, — буквально влюбилась, — въ вашу сестрицу. Ну, да и Авдотья-то Романовна сама сдѣлала первый шагъ,— вѣрите или нѣтъ? Вѣрите ли вы тоже, что Марѳа Петровна до того доходила, что даже на меня сердилась сначала за мое всегдашнее молчаніе о вашей сестрѣ, за то, что я такъ равнодушенъ на ея безпрерывные и влюбленные отзывы объ Авдотьѣ Романовнѣ? Самъ не понимаю, чего ей хотѣлось! Ну, ужъ, конечно, Марѳа Петровна разсказала Авдотьѣ Романовнѣ обо мнѣ всю подноготную. У нея была несчастная черта, рѣшительно всѣмъ разсказывать всѣ наши семейныя тайны и всѣмъ безпрерывно на меня жаловаться; какъ же было пропустить такого новаго и прекраснаго друга? Полагаю, что у нихъ и разговору иного не было какъ обо мнѣ, и ужъ безъ сомнѣнія, Авдотьѣ Романовнѣ стали извѣстны всѣ эти мрачныя, таинственныя сказки, которыя мнѣ приписываютъ... Бьюсь объ закладъ, что вы ужъ что-нибудь въ этомъ родѣ тоже слышали?

— Слышалъ. Лужинъ обвинялъ васъ, что вы даже были причиной смерти ребенка. Правда это?

— Сдѣлайте одолженіе, оставьте всѣ эти пошлости въ покоѣ, — съ отвращеніемъ и брюзгливо отговорился Свидригайловъ; — если вы такъ непремѣнно захотите узнать обо всей этой безсмыслицѣ, то я когда-нибудь разскажу вамъ особо, а теперь . . .

— Говорили тоже о какомъ-то вашемъ лакеѣ въ деревнѣ и что, будто бы, вы были тоже чему-то причиной.

— Сдѣлайте одолженіе, довольно! — перебилъ опять съ явнымъ нетерпѣніемъ Свидригайловъ.

— Это не тотъ ли лакей, который вамъ послѣ смерти трубку приходилъ набивать . . . еще сами мнѣ разсказывали? — раздражался все болѣе и болѣе Раскольниковъ.

Свидригайловъ внимательно поглядѣлъ на Раскольникова, и тому показалось, что во взглядѣ этомъ блеснула мгновенно молнія, злобная усмѣшка, но Свидригайловъ удержался и весьма вѣжливо отвѣчалъ:

— Это тотъ самый. Я вижу, что васъ тоже все это чрезвычайно волнуетъ, и почту за долгъ, при первомъ удобномъ случаѣ, по всѣмъ пунктамъ удовлетворить ваше любопытство. Чертъ возьми! Я вижу, что, дѣйствительно, могу показаться комунибудь лицомъ романическимъ. Судите же до какой степени я обязанъ послѣ того благодарить покойницу, Марѳу Петровну за то, что она наговорила вашей сестрицѣ обо мнѣ столько таинственнаго и любопытнаго. Не смѣю судить о впечатлѣніи; но, во всякомъ случаѣ, это было для меня выгодно. При всемъ естественномъ отвращеніи ко мнѣ Авдотьи Романовны, и несмотря на мой всегдашній мрачный и отталкивающій видъ, — ей стало, наконецъ, жаль

меня, жаль пропащаго человѣка. А когда сердцу дѣвушки станетъ *жаль,* то, ужъ, разумѣется, это для нея всего опаснѣе. Тутъ ужъ непремѣнно захочется и «спасти», и образумить, и воскресить, и призвать къ болѣе благороднымъ цѣлямъ, и возродить къ новой жизни и дѣятельности, — ну, извѣстно, что̀ можно намечтать въ этомъ родѣ. Я тотчасъ же смекнулъ, что птичка сама летитъ въ сѣтку и, въ свою очередь, приготовился. Вы, кажется, хмуритесь, Родіонъ Романычъ? Ничего-съ, дѣло, какъ вы знаете, обошлось пустяками. (Чертъ возьми, сколько я пью вина!) Знаете, мнѣ всегда было жаль, съ самаго начала, что судьба не дала родиться вашей сестрѣ во второмъ или третьемъ столѣтіи нашей эры, гдѣ-нибудь, дочерью владѣтельнаго князька или тамъ какого-нибудь правителя, или проконсула въ Малой Азіи. Она, безъ сомнѣнія, была бы одна изъ тѣхъ, которыя претерпѣли мученичество, и ужъ конечно бы улыбалась, когда бы ей жгли грудь раскаленными щипцами. Она бы пошла на это нарочно сама, а въ четвертомъ и пятомъ вѣкахъ ушла бы въ Египетскую пустыню, и жила бы тамъ тридцать лѣтъ, питаясь кореньями, восторгами и видѣніями. Сама она только того и жаждетъ, и требуетъ, чтобы за кого-нибудь какую-нибудь муку поскорѣе принять, а не дай ей этой муки, такъ она, пожалуй, и въ окно выскочитъ. Я слышалъ что-то о какомъ-то господинѣ Разумихинѣ. Онъ малый, говорятъ, разсудительный (что̀ и фамилія его показываетъ, семинаристъ, должно быть), ну, такъ пусть и бережетъ вашу сестру. Однимъ словомъ, я, кажется, ее понялъ, что̀ и считаю себѣ за честь. Но тогда, то есть въ началѣ знакомства, сами знаете, бываешь всегда какъ-то

легкомысленнѣе и глупѣе, смотришь ошибочно, видишь не то. Чертъ возьми, зачѣмъ же она такъ хороша? Я не виноватъ! Однимъ словомъ, у меня началось съ самаго неудержимаго сладострастнаго порыва. Авдотья Романовна цѣломудренна ужасно, неслыханно и невиданно. (Замѣтьте себѣ, я вамъ сообщаю это о вашей сестрѣ, какъ фактъ. Она цѣломудренна, можетъ быть, до болѣзни, несмотря на весь свой широкій умъ, и это ей повредитъ.) Тутъ у насъ случилась одна дѣвушка, Параша, черноокая Параша, которую только что привезли изъ другой деревни, сѣнная дѣвушка, и которую я еще никогда не видывалъ, — хорошенькая очень, но глупа до невѣротности: въ слезы, подняла вой на весь дворъ, и вышелъ скандалъ. Разъ, послѣ обѣда, Авдотья Романовна нарочно отыскала меня одного въ аллеѣ въ саду и съ сверкающими глазами *потребовала* отъ меня, чтобъ я оставилъ бѣдную Парашу въ покоѣ. Это былъ чуть ли не первый разговоръ нашъ вдвоемъ. Я, разумѣется, почелъ за честь удовлетворить ея желанію, постарался прикинуться пораженнымъ, смущеннымъ, ну, однимъ словомъ, сыгралъ роль недурно. Начались сношенія, таинственные разговоры, нравоученія, поученія, упрашиванія, умаливанія, даже слезы, — вѣрите ли, даже слезы! Вотъ до какой силы доходитъ у иныхъ дѣвушекъ страсть къ пропагандѣ! Я, конечно, все свалилъ на свою судьбу, прикинулся алчущимъ и жаждущимъ свѣта и, наконецъ, пустилъ въ ходъ величайшее и незыблемое средство къ покоренію женскаго сердца, средство, которое никогда и никого не обманетъ и которое дѣйствуетъ рѣшительно на всѣхъ до единой, безъ всякаго исключенія. Это средство извѣстное, лесть. Нѣтъ ничего въ мірѣ труднѣе пря-

модушія и нѣтъ ничего легче лести. Если въ прямодушіи только одна сотая доля нотки фальшивая, то происходитъ тотчасъ диссонансъ, а за нимъ — скандалъ. Если же въ лести даже все до послѣдней нотки фальшивое, и тогда она пріятна и слушается не безъ удовольствія; хотя бы и съ грубымъ удовольствіемъ, но все-таки съ удовольствіемъ. И какъ бы ни груба была лесть, въ ней непремѣнно, по крайней мѣрѣ, половина кажется правдою. И это для всѣхъ развитій и слоевъ общества. Даже весталку можно соблазнить лестью. А ужъ про обыкновенныхъ людей и говорить нечего. Безъ смѣху не могу себѣ припомнить, какъ одинъ разъ соблазнялъ я одну, преданную своему мужу, своимъ дѣтямъ и своимъ добродѣтелямъ, барыню. Какъ это было весело и какъ мало было работы! А барыня, дѣйствительно, была добродѣтельна, по крайней мѣрѣ, по-своему. Вся моя тактика состояла въ томъ, что я просто былъ каждую минуту раздавленъ и падалъ ницъ предъ ея цѣломудріемъ. Я льстилъ безбожно и только что бывало добьюсь пожатія руки, даже взгляда, то укорю себя, что это я вырвалъ его у нея силой, что она сопротивлялась, что она такъ сопротивлялась, что я, навѣрное бы, никогда ничего не получилъ, если бъ я самъ не былъ такъ пороченъ; что она, въ невинности своей, не предусмотрѣла коварства и поддалась неумышленно, сама того не зная — не вѣдая, и прочее, и прочее. Однимъ словомъ, я достигъ всего, а моя барыня оставалась въ высшей степени увѣрена, что она невинна и цѣломудренна и исполняетъ всѣ долги и обязанности, а погибла совершенно нечаянно. И какъ же она разсердилась на меня, когда я объявилъ ей въ концѣ концовъ, что, по-моему искрен-

нему убѣжденію, она точно такъ же искала наслажденій, какъ и я. Бѣдная Марѳа Петровна тоже ужасно поддавалась на лесть, и если бы только я захотѣлъ, то, конечно, отписалъ бы все ея имѣніе на себя еще при жизни. (Однако я ужасно много пью вина и болтаю.) Надѣюсь, что вы не разсердитесь, если я упомяну теперь, что тотъ же самый эффектъ началъ сбываться и съ Авдотьей Романовной. Да я самъ былъ глупъ и нетерпѣливъ и все дѣло испортилъ. Авдотьѣ Романовнѣ еще нѣсколько разъ и прежде (а одинъ разъ какъ-то особенно) ужасно не понравилось ужасное выраженіе глазъ моихъ, вѣрите вы этому? Однимъ словомъ, въ нихъ все сильнѣе и неосторожнѣе вспыхивалъ нѣкоторый огонь, который пугалъ ее и сталъ ей, наконецъ, ненавистенъ. Нечего разсказывать подробности, но мы разошлись. Тутъ я опять сглупилъ. Пустился грубѣйшимъ образомъ издѣваться насчетъ всѣхъ этихъ пропагандъ и обращеній; Параша опять выступила на сцену, да и не она одна, — однимъ словомъ, начался содомъ. Охъ, если бы вы видѣли, Родіонъ Романычъ, хоть разъ въ жизни глазки вашей сестрицы такъ, какъ они иногда умѣютъ сверкать! Это ничего, что я теперь пьянъ и вотъ уже цѣлый стаканъ вина выпилъ, я правду говорю; увѣряю васъ, что этотъ взглядъ мнѣ снился; шелестъ платья ея я уже, наконецъ, не могъ выносить. Право, я думалъ, что со мною сдѣлается падучая, никогда не воображалъ, что могу дойти до такого изступленія. Однимъ словомъ, необходимо было помириться; но это было уже невозможно. И представьте себѣ, что я тогда сдѣлалъ? До какой степени отупѣнія бѣшенство можетъ довести человѣка! Никогда не предпринимайте ничего въ бѣшен-

ствѣ, Родіонъ Романычъ. Расчитывая, что Авдотья Романовна въ сущности вѣдь нищая (ахъ, извините, я не то хотѣлъ... но, вѣдь, не все ли равно, если выражается то же понятіе?), однимъ словомъ, живетъ трудами рукъ своихъ, — что у ней на содержаніи и мать, и вы (ахъ, чертъ, опять морщитесь ...), я и рѣшился предложить ей всѣ мои деньги (тысячъ до тридцати я могъ и тогда осуществить) съ тѣмъ, чтобъ она бѣжала со мной хоть сюда, въ Петербургъ. Разумѣется, я бы тутъ поклялся въ вѣчной любви, блаженствѣ, и прочее, и прочее. Вѣрите ли, я до того тогда врѣзался, что скажи она мнѣ: зарѣжъ или отрави Марѳу Петровну и женись на мнѣ, — это тотчасъ же было бы сдѣлано! Но кончилось все катастрофой, вамъ уже извѣстною, и сами можете судить, до какого бѣшенства могъ я дойти, узнавъ, что Марѳа Петровна достала тогда этого подлѣйшаго приказнаго, Лужина, и чуть не смастерила свадьбу, — что, въ сущности, было бы то же самое, что и я предлагалъ. Такъ ли? Такъ ли? Вѣдь такъ? Я замѣчаю, что вы что-то очень внимательно стали слушать... интересный молодой человѣкъ...

Свидригайловъ въ нетерпѣніи ударилъ кулакомъ по столу. Онъ раскраснѣлся. Раскольниковъ видѣлъ ясно, что стаканъ или полтора шампанскаго, которые онъ выпилъ, отхлебывая непримѣтно, глотками, подѣйствовали на него болѣзненно, — и рѣшился воспользоваться случаемъ. Свидригайловъ былъ ему очень подозрителенъ.

— Ну, ужъ послѣ этого я вполнѣ убѣжденъ, что вы и сюда пріѣхали, имѣя въ виду мою сестру,— сказалъ онъ Свидригайлову прямо и не скрываясь, чтобъ еще болѣе раздразнить его.

— Эхъ, полноте,—какъ бы спохватился вдругъ Свидригайловъ, — я вѣдь вамъ говорилъ . . . и кромѣ того, ваша сестра терпѣть меня не можетъ.

— Да въ этомъ-то и я убѣжденъ, что не можетъ, да не въ томъ теперь дѣло.

— А вы убѣждены, что не можетъ? (Свидригайловъ прищурился и насмѣшливо улыбнулся.) Вы правы, она меня не любитъ; но никогда не ручайтесь въ дѣлахъ, бывшихъ между мужемъ и женой или любовникомъ и любовницей. Тутъ есть всегда одинъ уголокъ, который всегда всему свѣту остается неизвѣстенъ и который извѣстенъ только имъ двумъ. Вы ручаетесь, что Авдотья Романовна на меня съ отвращеніемъ смотрѣла?

— По нѣкоторымъ словамъ и словечкамъ вашимъ во время вашего разсказа я замѣчаю, что у васъ и теперь свои виды и самыя неотлагательныя намѣренія на Дуню, разумѣется, подлыя.

— Какъ! У меня вырывались такія слова и словечки? — пренаивно испугался вдругъ Свидригайловъ, не обративъ ни малѣйшаго вниманія на эпитетъ, приданный его намѣреніямъ.

— Да они и теперь вырываются. Ну, чего вы, вдругъ теперь испугались?

— Я боюсь и пугаюсь? Пугаюсь васъ? Скорѣе вамъ бояться меня, cher ami. И какая однакожъ дичь . . . А впрочемъ, я охмѣлѣлъ, я это вижу; чуть было опять не проговорился. Къ черту вино! Эй, воды!

Онъ схватилъ бутылку и безъ церемоніи вышвырнулъ ее за окошко. Филиппъ принесъ воды.

— Это все вздоръ, — сказалъ Свидригайловъ, намачивая полотенце и прикладывая его къ головѣ, — а я васъ однимъ словомъ могу осадить и всѣ

ваши подозрѣнія въ прахъ уничтожить. Знаете ль вы, напримѣръ, что я женюсь?

— Вы уже это мнѣ и прежде говорили.

— Говорилъ? Забылъ. Но тогда я не могъ говорить утвердительно, потому даже невѣсты еще не видалъ; я только намѣревался. Ну, а теперь у меня ужъ есть невѣста, и дѣло сдѣлано, и если бъ только не дѣла, неотлагательныя, то я бы непремѣнно васъ взялъ и сейчасъ къ нимъ повезъ, — потому я вашего совѣта хочу спросить. Эхъ, чертъ! Всего десять минутъ остается. Видите, смотрите на часы; а впрочемъ, я вамъ разскажу, потому это интересная вещица, моя женитьба-то, въ своемъ то есть родѣ, — куда вы? Опять уходить?

— Нѣтъ, я ужъ теперь не уйду.

— Совсѣмъ не уйдете? Посмотримъ! Я васъ туда свезу, это правда, покажу невѣсту, но только не теперь, а теперь вамъ скоро будетъ пора. Вы направо, я налѣво. Вы эту Ресслихъ знаете? Вотъ эту самую Ресслихъ, у которой я теперь живу, — а? Слышите? Нѣтъ, вы что думаете, вотъ та самая, про которую говорятъ, что дѣвченка-то, въ водѣ-то, зимой-то, — ну, слышите ли? Слышите ли? Ну, такъ она мнѣ все это состряпала; тебѣ, говоритъ, такъ-то скучно, развлекись время. А я вѣдь человѣкъ мрачный, скучный. Вы думаете веселый? Нѣтъ, мрачный: вреда не дѣлаю, а сижу въ углу; иной разъ три дня не разговорятъ. А Ресслихъ эта шельма, я вамъ скажу, она вѣдь что въ умѣ держитъ: я наскучу, жену-то брошу и уѣду, а жена ей достанется, она ее и пуститъ въ оборотъ: въ нашемъ слою то есть, да повыше. Есть, говоритъ, одинъ такой разслабленный отецъ, отставной чиновникъ, въ креслѣ сидитъ и третій годъ но-

гами не двигается. Есть, говоритъ, и мать, дама разсудительная, мамаша-то. Сынъ гдѣ-то въ губерніи служитъ, не помогаетъ. Дочь вышла замужъ и не навѣщаетъ, а на рукахъ два маленькіе племянника (своихъ-то мало), да взяли, не кончивъ курса, изъ гимназіи дѣвочку, дочь свою послѣднюю, черезъ мѣсяцъ только что шестнадцать лѣтъ минетъ, значитъ, черезъ мѣсяцъ ее и выдать можно. Это за меня-то. Мы поѣхали; какъ это у нихъ смѣшно; представляюсь: помѣщикъ, вдовецъ, извѣстной фамиліи, съ такими-то связями, съ капиталомъ, — ну, что жъ что мнѣ пятьдесятъ, а той и шестнадцати нѣтъ? Кто жъ на это смотритъ? Ну, а вѣдь заманчиво, а? Вѣдь заманчиво, ха-ха! Посмотрѣли бы вы какъ я разговорился съ папашей да съ мамашей! Заплатить надо, чтобы только посмотрѣть на меня въ это время. Выходитъ она, присѣдаетъ, ну, можете себѣ представить, еще въ коротенькомъ платьицѣ, неразвернувшійся бутончикъ, краснѣетъ, вспыхиваетъ, какъ заря (сказали ей, конечно). Не знаю какъ насчетъ женскихъ личекъ, но, по-моему, эти шестнадцать лѣтъ, эти дѣтскіе еще глазки, эта робость и слезинки стыдливости, — по-моему, это лучше красоты, а она еще къ тому жъ и собой картинка. Свѣтленкіе волоски, въ маленькіе локончики барашкомъ взбитые, губки пухленькія, аленькія, ножки — прелесть.. Ну, познакомились, я объявилъ, что спѣшу по домашнимъ обстоятельствамъ, и на другой же день, третьяго дня то есть, насъ и благословили. Съ тѣхъ поръ какъ пріѣду, такъ сейчасъ ее къ себѣ на колѣни, да такъ и не спускаю... Ну, вспыхиваетъ, какъ заря, а я цѣлую поминутно; мамаша-то, разумѣется, внушаетъ, что это, дескать, твой мужъ и

что это такъ требуется, однимъ словомъ, малина! И это состояніе теперешнее, жениховое, право, можетъ быть, лучше и мужняго. Тутъ что̀ называется la nature et la verité! Ха-ха! Я съ нею раза два переговаривалъ — куда не глупа дѣвчонка; иной разъ такъ украдкой на меня взглянетъ, — ажно прожжетъ. А знаете, у ней личико въ родѣ Рафаэлевой Мадонны. Вѣдь у Сикстинской Мадонны лицо фантастическое, лицо скорбной юродивой, вамъ это не бросалось въ глаза? Ну, такъ въ этомъ родѣ. Только что насъ благословили, я на другой день на полторы тысячи и привезъ: брилліантовый уборъ одинъ, жемчужный другой, да серебряную дамскую туалетную шкатулку, — вотъ какой величины, со всякими разностями, такъ даже у ней, у Мадонны-то, личико зардѣлось. Посадилъ я ее вчера на колѣни, да, должно быть, ужъ очень безцеремонно, — вся вспыхнула и слезинки брызнули, да выдать не хочетъ, сама вся горитъ. Ушли всѣ на минуту, мы съ нею какъ есть одни остались, вдругъ бросается мнѣ на шею (сама въ первый разъ), обнимаетъ меня обѣими ручонками, цѣлуетъ и клянется, что она будетъ мнѣ послушною, вѣрною и доброю женой, что она сдѣлаетъ меня счастливымъ, что она употребитъ всю жизнь, всякую минуту своей жизни, всѣмъ, всѣмъ пожертвуетъ, а за все это желаетъ имѣть отъ меня только *одно мое уваженіе* и болѣе мнѣ, говоритъ — «ничего, ничего не надо, никакихъ подарковъ!» Согласитесь сами, что выслушать подобное признаніе наединѣ отъ такого шестнадцатилѣтняго ангельчика, съ краскою дѣвичьяго стыда и со слезинками энтузіазма въ глазахъ, — согласитесь сами, оно довольно заманчиво. Вѣдь заманчиво? Вѣдь сто̀итъ чего-

нибудь, а? Ну, вѣдь стоитъ? Ну... ну слушайте... ну, поѣдемте къ моей невѣстѣ... только не сейчасъ!

— Однимъ словомъ, въ васъ эта чудовищная разница лѣтъ и развитій и возбуждаетъ сладострастіе! И неужели вы въ самомъ дѣлѣ такъ женитесь?

— А что жъ? Непремѣнно. Всякъ объ себѣ самъ промышляетъ и всѣхъ веселѣй тотъ и живетъ, кто всѣхъ лучше себя сумѣетъ надуть. Ха-ха! Да что вы въ добродѣтель-то такъ всѣмъ дышломъ въѣхали? Пощадите, батюшка, я человѣкъ грѣшный. Хе-хе-хе!

— Вы, однакожъ, пристроили дѣтей Катерины Ивановны. Впрочемъ... впрочемъ, вы имѣли на это свои причины... я теперь все понимаю.

— Дѣтей я вообще люблю, я очень люблю дѣтей, — захохоталъ Свидригайловъ. — На этотъ счетъ я вамъ могу даже разсказать прелюбопытный одинъ эпизодъ, который и до сихъ поръ продолжается. Въ первый же день по пріѣздѣ пошелъ я по разнымъ этимъ клоакамъ, ну, послѣ семи-то лѣтъ такъ и набросился. Вы, вѣроятно, замѣчаете, что я со своею компаніей не спѣшу сходиться, съ прежними-то друзьями и пріятелями. Ну, да и какъ можно дольше безъ нихъ протяну. Знаете: у Марѳы Петровны въ деревнѣ меня до смерти измучили воспоминанія о всѣхъ этихъ таинственныхъ мѣстахъ и мѣстечкахъ, въ которыхъ, кто знаетъ, тотъ много можетъ найти. Чертъ возьми! Народъ пьянствуетъ, молодежь образованная отъ бездѣйствія перегораетъ въ несбыточныхъ снахъ и грезахъ, уродуется въ теоріяхъ; откуда-то жиды наѣхали, прячутъ деньги, а все остальное развратничаетъ.

Такъ и пахнулъ на меня этотъ городъ съ первыхъ часовъ знакомымъ запахомъ. Попалъ я на одинъ танцовальный такъ называемый вечеръ,—клоакъ страшный (а я люблю клоаки именно съ грязнотцой), ну, разумѣется, канканъ какихъ нѣту и какихъ въ мое время не было. Да-съ, въ этомъ прогрессъ. Вдругъ, смотрю, дѣвочка, лѣтъ тринадцати, премило одѣтая, танцуетъ съ однимъ виртуозомъ; другой предъ ней визави. У стѣнки же на стулѣ сидитъ ея мать. Ну, можете себѣ представить каковъ канканъ! Дѣвочка конфузится, краснѣетъ, наконецъ, принимаетъ себѣ въ обиду и начинаетъ плакать. Виртуозъ подхватываетъ ее и начинаетъ ее вертѣть и передъ нею представлять, всѣ кругомъ хохочутъ и — люблю въ такія мгновенія вашу публику, хотя бы даже и канканную, хохочутъ и кричатъ: «И дѣло, такъ и надо! А не возить дѣтей!» Ну, мнѣ-то наплевать, да и дѣла нѣтъ: логично аль не логично сами себя они утѣшаютъ! Я тотчасъ мое мѣсто намѣтилъ, подсѣлъ къ матери, и начинаю о томъ, что я тоже пріѣзжій, что какіе все тутъ невѣжи, что они не умѣютъ отличать истинныхъ достоинствъ и питать достодолжнаго уваженія; далъ знать, что у меня денегъ много; пригласилъ довезти въ своей каретѣ; довезъ домой, познакомился (въ какой-то каморкѣ отъ жильцовъ стоятъ, только что пріѣхали). Мнѣ объявили, что мое знакомство и она, и дочь ея могутъ принимать не иначе какъ за честь; узнаю, что у нихъ ни кола, ни двора, а пріѣхали хлопотать о чемъ-то въ какомъ-то присутствіи; предлагаю услуги, деньги; узнаю, что они ошибкой поѣхали на вечеръ, думая, что дѣйствительно танцовать тамъ учатъ; предлагаю способствовать съ своей стороны воспитанію молодой дѣвицы, французскому языку и

танцамъ. Принимаютъ съ восторгомъ, считаютъ за честь, и до сихъ поръ знакомъ... Хотите, поѣдемъ, — только не сейчасъ.

— Оставьте, оставьте ваши подлые, низкіе анекдоты, развратный, низкій, сладострастный человѣкъ!

— Шиллеръ-то, Шиллеръ-то нашъ, Шиллеръ-то! Où va-t-elle la vertu se nicher? А знаете, я нарочно буду вамъ этакія вещи разсказывать, чтобы слышать ваши вскрикиванія. Наслажденіе!

— Еще бы, развѣ я самъ себѣ въ эту минуту не смѣшенъ? — съ злобою пробормоталъ Раскольниковъ.

Свидригайловъ хохоталъ во все горло; наконецъ, кликнулъ Филиппа, расплатился и сталъ вставать:

— Ну, да и пьянъ же я, assez causé! — сказалъ онъ, — наслажденіе!

— Еще бы вамъ-то не ощущать наслажденія,— вскрикнулъ Раскольниковъ тоже вставая; — развѣ для исшаркавшагося развратника разсказывать о такихъ похожденіяхъ, — имѣя въ виду какое-нибудь чудовищное намѣреніе въ этомъ же родѣ, — не наслажденіе, да еще при такихъ обстоятельствахъ и такому человѣку, какъ я... Разжигаетъ.

— Ну, если такъ, — даже съ нѣкоторымъ удивленіемъ отвѣтилъ Свидригайловъ, разсматривая Раскольникова, — если такъ, то вы и сами порядочный циникъ. Матеріалъ, по крайней мѣрѣ, заключаете въ себѣ огромный. Сознавать много можете, много... ну, да вы и дѣлать-то много можете. Ну, однакожъ, довольно. Искренно жалѣю, что съ вами мало переговорилъ, да вы отъ меня не уйдете... Вотъ подождите только...

Свидригайловъ пошелъ вонъ изъ трактира. Раскольниковъ за нимъ. Свидригайловъ былъ, однако, не очень много хмѣленъ; въ голову только на мгновеніе ударило, хмѣль же отходилъ съ каждою минутой. Онъ былъ чѣмъ-то очень озабоченъ, чѣмъ-то чрезвычайно важнымъ, и хмурился. Какое-то ожиданіе видно волновало его и безпокоило. Съ Раскольниковымъ въ послѣднія минуты онъ какъ-то вдругъ измѣнился и съ каждою минутой становился грубѣе и насмѣшливѣе. Раскольниковъ все это примѣтилъ и былъ тоже въ тревогѣ. Свидригайловъ сталъ ему очень подозрителенъ; онъ рѣшился пойти за нимъ.

Сошли на тротуаръ.

— Вамъ направо, а мнѣ налѣво, или, пожалуй, наоборотъ, только — adieu mon plaisir, до радостнаго свиданія!

И онъ пошелъ направо къ Сѣнной.

V.

Раскольниковъ пошелъ вслѣдъ за нимъ.

— Это что! — вскричалъ Свидригайловъ, оборачиваясь, — я вѣдь, кажется, сказалъ . . .

— Это значитъ то, что я отъ васъ теперь не отстану.

— Что-о-о?

Оба остановились, и оба съ минуту глядѣли другъ на друга, какъ бы мѣряясь.

— Изъ всѣхъ вашихъ полупьяныхъ разсказовъ, — рѣзко отрѣзалъ Раскольниковъ, — я заключилъ *положительно,* что вы не только не оставили вашихъ подлѣйшихъ замысловъ на мою сестру, но даже болѣе чѣмъ когда-нибудь ими заня-

ты. Мнѣ извѣстно, что сегодня утромъ сестра моя получила какое-то письмо. Вамъ все время не сидѣлось на мѣстѣ... Вы, положимъ, могли откопать по дорогѣ какую-нибудь жену, но это ничего не значитъ. Я желаю удостовѣриться лично...

Раскольниковъ врядъ ли и самъ могъ опредѣлить, чего ему именно теперь хотѣлось и въ чемъ именно желалъ онъ удостовѣриться лично.

— Вотъ какъ! А хотите, я сейчасъ полицію кликну?

— Кличь!

Они опять постояли съ минуту другъ предъ другомъ. Наконецъ, лицо Свидригайлова измѣнилось. Удостовѣрившись, что Раскольниковъ не испугался угрозы, онъ принялъ вдругъ самый веселый и дружескій видъ.

— Вѣдь этакой! Я нарочно о вашемъ дѣлѣ съ вами не заговаривалъ, хоть меня, разумѣется, мучитъ любопытство. Дѣло фантастическое. Отложилъ было до другого раза, да, право, вы способны и мертваго раздразнить... Ну, пойдемте, только заранѣе скажу: я теперь только на минутку домой, чтобы денегъ захватить; потомъ запираю квартиру, беру извозчика и на цѣлый вечеръ на острова. Ну, куда же вамъ за мной?

— Я покамѣстъ на квартиру, да и то не къ вамъ, а къ Софьѣ Семеновнѣ, извиниться, что на похоронахъ не былъ.

— Это какъ вамъ угодно, но Софьи Семеновны дома нѣтъ. Она всѣхъ дѣтей отвела къ одной дамѣ, къ одной знатной дамѣ-старушкѣ, къ моей прежней давнишней знакомой и распорядительницѣ въ какихъ-то сиротскихъ заведеніяхъ. Я очаровалъ эту даму, внеся ей деньги за всѣхъ трехъ птен-

цовъ Катерины Ивановны, кромѣ того, и на заведенія пожертвовалъ еще денегъ; наконецъ, разсказалъ ей исторію Софьи Семеновны, даже со всѣми онерами, ничего не скрывая. Эффектъ произвело неописанный. Вотъ почему Софьѣ Семеновнѣ и назначено было явиться сегодня же, прямо въ —ую отель, гдѣ временно, съ дачи, присутствуетъ моя барыня.

— Нужды нѣтъ, я все-таки зайду.

— Какъ хотите, только я-то вамъ не товарищъ; а мнѣ что! Вотъ мы сейчасъ и дома. Скажите, я убѣжденъ, вы оттого на меня смотрите подозрительно, что я самъ былъ настолько деликатенъ и до сихъ поръ не безпокоилъ васъ разспросами . . . вы понимаете? Вамъ показалось это дѣломъ необыкновеннымъ; бьюсь объ закладъ, что такъ! Ну, вотъ и будьте послѣ того деликатнымъ.

— И подслушивайте у дверей!

— А, вы про это! — засмѣялся Свидригайловъ, — да, я бы удивился, если бы, послѣ всего, вы пропустили это безъ замѣчанія. Ха-ха! Я хоть нѣчто и понялъ изъ того, что вы тогда . . . тамъ . . . накуралесили и Софьѣ Семеновнѣ сами разсказывали, но однако, что жъ это такое? Я, можетъ, совсѣмъ, отсталый человѣкъ и ничего ужъ понимать не могу. Объясните, ради Бога, голубчикъ! Просвѣтите новѣйшими началами.

— Ничего вы не могли слышать, врете вы все!

— Да я не про то, не про то (хоть я, впрочемъ, кое-что и слышалъ), нѣтъ, я про то, что вы вотъ охаете, да охаете! Шиллеръ-то въ васъ смущается поминутно. А теперь вотъ и у дверей не подслушивай. Если такъ, ступайте да и объявите по начальству, что вотъ, дескать, такъ и такъ, случился

со мной такой казусъ: въ теоріи ошибочка небольшая вышла. Если же убѣждены, что у дверей нельзя подслушивать, а старушенокъ можно лущить, чѣмъ попало, въ свое удовольствіе, такъ уѣзжайте куда-нибудь поскорѣе въ Америку! Бѣгите, молодой человѣкъ! Можетъ, есть еще время. Я искренно говорю. Денегъ, что ли, нѣтъ? Я дамъ на дорогу.

— Я совсѣмъ объ этомъ не думаю, — перервалъ было Раскольниковъ съ отвращеніемъ.

— Понимаю (вы, впрочемъ, не утруждайте себя: если хотите, то много и не говорите); понимаю, какіе у васъ вопросы въ ходу: нравственные, что ли? Вопросы гражданина и человѣка? А вы ихъ по боку; зачѣмъ они вамъ теперь-то? Хе-хе! Затѣмъ, что все еще и гражданинъ и человѣкъ? А коли такъ, такъ и соваться не надо было; нечего не за свое дѣло браться. Ну, застрѣлитесь; что̀, аль не хочется?

— Вы, кажется, нарочно хотите меня раздразнить, чтобъ я только отъ васъ теперь отсталъ...

— Вотъ чудакъ-то, да мы ужъ пришли, милости просимъ на лѣстницу. Видите, вотъ тутъ входъ къ Софьѣ Семеновнѣ, смотрите, нѣтъ никого! Не вѣрите? Спросите у Капернаумова; она имъ ключъ отдаетъ. Вотъ она и сама madame de Капернаумовъ, а? Что? (она глуха немного). Ушла? Куда? Ну, вотъ слышали теперь? Нѣтъ ея и не будетъ до глубокаго, можетъ быть, вечера. Ну, теперь пойдемте ко мнѣ. Вѣдь вы хотѣли и ко мнѣ? Ну, вотъ мы и у меня. Madame Ресслихъ нѣтъ дома. Эта женщина вѣчно въ хлопотахъ, но хорошая женщина, увѣряю васъ... можетъ быть, она бы вамъ пригодилась, если бы вы были нѣсколько разсудительнѣе. Ну, вотъ изволите видѣть: я беру изъ бюро

этотъ пятипроцентный билетъ (вотъ у меня ихъ еще сколько!), а этотъ сегодня по боку у мѣнялы пойдетъ. Ну, видѣли? Болѣе мнѣ терять времени нечего. Бюро запирается, квартира запирается, и мы опять на лѣстницѣ. Ну, хотите, наймемте извозчика? Я вѣдь на острова. Не угодно ли прокатиться? Вотъ я беру эту коляску на Елагинъ, что? Отказываетесь? Не выдержали? Прокатимтесь, ничего. Кажется, дождь надвигается, ничего, спустимъ верхъ...

Свидригайловъ сидѣлъ уже въ колескѣ. Раскольниковъ разсудилъ, что подозрѣнія его, по крайней мѣрѣ въ эту минуту, несправедливы. Не отвѣчая ни слова, онъ повернулся и пошелъ обратно по направленію къ Сѣнной. Если бъ онъ обернулся хоть разъ дорогой, то успѣлъ бы увидѣть, какъ Свидригайловъ, отъѣхавъ не болѣе ста шаговъ, расплатился съ коляской и самъ очутился на тротуарѣ. Но онъ ничего уже не могъ видѣть и зашелъ уже за уголъ. Глубокое отвращеніе влекло его прочь отъ Свидригайлова. «И я могъ хоть мгновеніе ожидать чего-нибудь отъ этого грубаго злодѣя, отъ этого сладострастнаго развратника и подлеца!» вскричалъ онъ невольно. Правда, что сужденіе свое Раскольниковъ произнесъ слишкомъ поспѣшно и легкомысленно. Было нѣчто во всей обстановкѣ Свидригайлова, что, по крайней мѣрѣ, придавало ему хоть нѣкоторую оригинальность, если не таинственность. Что же касалось во всемъ этомъ сестры, то Раскольниковъ оставался все-таки убѣжденъ, навѣрно, что Свидригайловъ не оставитъ ея въ покоѣ. Но слишкомъ ужъ тяжело и невыносимо становилось обо всемъ этомъ думать и передумывать!

По обыкновенію своему, онъ, оставшись одинъ, съ двадцати шаговъ впалъ въ глубокую задумчивость. Взойдя на мостъ, онъ остановился у перилъ и сталъ смотрѣть на воду. А между тѣмъ надъ нимъ стояла Авдотья Романовна.

Онъ повстрѣчался съ нею при входѣ на мостъ, но прошелъ мимо, не разсмотрѣвъ ея. Дунечка еще никогда не встрѣчала его такимъ на улицѣ и была поражена до испуга. Она остановилась и не знала: окликнуть его или нѣтъ? Вдругъ она замѣтила поспѣшно подходящаго со стороны Сѣнной Свидригайлова.

Но тотъ, казалось, приближался таинственно и осторожно. Онъ не взошелъ на мостъ, а остановился въ сторонѣ, на тротуарѣ, стараясь всѣми силами, чтобъ Раскольниковъ не увидалъ его. Дуню онъ уже давно замѣтилъ и сталъ дѣлать ей знаки. Ей показалось, что знаками своими онъ упрашивалъ ее не окликать брата и оставить его въ покоѣ, а звалъ ее къ себѣ.

Такъ Дуня и сдѣлала. Она потихоньку обошла брата и приблизилась къ Свидригайлову.

— Пойдемте поскорѣе, — прошепталъ ей Свидригайловъ. — Я не желаю, чтобы Родіонъ Романычъ зналъ о нашемъ свиданіи. Предупреждаю васъ, что я съ нимъ сидѣлъ тутъ недалеко, въ трактирѣ, гдѣ онъ отыскалъ меня самъ, и насилу отъ него отвязался. Онъ знаетъ почему-то о моемъ къ вамъ письмѣ и что-то подозрѣваетъ. Ужъ, конечно, не вы ему открыли? А если не вы, такъ кто же?

— Вотъ мы ужъ поворотили за уголъ, — перебила Дуня, — теперь насъ братъ не увидитъ. Объявляю вамъ, что я не пойду съ вами дальше. Скажите мнѣ все здѣсь; все это можно сказать и на улицѣ.

— Во-первыхъ, этого никакъ нельзя сказать на улицѣ; во-вторыхъ, вы должны выслушать и Софью Семеновну; въ-третьихъ, я покажу вамъ кое-какіе документы... Ну да, наконецъ, если вы не согласитесь войти ко мнѣ, то я отказываюсь отъ всякихъ разъясненій и тотчасъ же ухожу. При этомъ попрошу васъ не забывать, что весьма любопытная тайна вашего возлюбленнаго братца находится совершенно въ моихъ рукахъ.

Дуня остановилась въ нерѣшительности и пронзающимъ взглядомъ смотрѣла на Свидригайлова.

— Чего вы боитесь! — замѣтилъ тотъ спокойно, — городъ не деревня. Въ деревнѣ вреда сдѣлали больше вы мнѣ, чѣмъ я вамъ, а тутъ...

— Софья Семеновна предупреждена?

— Нѣтъ, я не говорилъ ей ни слова и даже не совсѣмъ увѣренъ, дома ли она теперь? Впрочемъ, вѣроятно, дома. Она сегодня похоронила свою родственницу: не такой день, чтобы по гостямъ ходить. До времени, я никому не хочу говорить объ этомъ и даже раскаиваюсь отчасти, что вамъ сообщилъ. Тутъ малѣйшая неосторожность равняется уже доносу. Я живу вотъ тутъ, вотъ въ этомъ домѣ, вотъ мы и подходимъ. Вотъ это дворникъ нашего дома; дворникъ очень хорошо меня знаетъ; вотъ онъ кланяется; онъ видитъ, что я иду съ дамой, и, ужъ конечно, успѣлъ замѣтить ваше лицо, а это вамъ пригодится, если вы очень боитесь и меня подозрѣваете. Извините, что я такъ грубо говорю. Самъ я живу отъ жильцовъ. Софья Семеновна живетъ со мною стѣна объ стѣну, тоже отъ жильцовъ. Весь этажъ въ жильцахъ. Чего же вамъ бояться, какъ ребенку? Или я ужъ такъ очень страшенъ?

Лицо Свидригайлова искривилось въ снисходительную улыбку; но ему было уже не до улыбки. Сердце его стукало, и дыханье спиралось въ груди. Онъ нарочно говорилъ громче, чтобы скрыть свое возрастающее волненіе, но Дуня не успѣла замѣтить этого особеннаго волненія; ужъ слишкомъ раздражило ее замѣчаніе о томъ, что она боится его какъ ребенокъ и что онъ такъ для нея страшенъ.

— Хоть я и знаю, что вы человѣкъ... безъ чести, но я васъ нисколько не боюсь. Йдите впередъ, — сказала она, повидимому спокойно, но лицо ея было очень блѣдно.

Свидригайловъ остановился у квартиры Сони.

— Позвольте справиться, дома ли. Нѣту. Неудача! Но я знаю, что она можетъ придти очень скоро. Если она вышла, то не иначе, какъ къ одной дамѣ, по поводу своихъ сиротъ. У нихъ мать умерла. Я тутъ такъ же ввязался и распоряжался. Если Софья Семеновна не воротится черезъ десять минутъ, то я пришлю ее къ вамъ самое, если хотите, сегодня же; ну, вотъ и мой нумеръ. Вотъ мои двѣ комнаты. За дверью помѣщается моя хозяйка, госпожа Ресслихъ. Теперь взгляните сюда, я вамъ покажу мои главные документы: изъ моей спальни эта вотъ дверь ведетъ въ совершенно пустыя двѣ комнаты, которыя отдаются въ наемъ. Вотъ онѣ... на это вамъ нужно взглянуть нѣсколько внимательнѣе...

Свидригайловъ занималъ двѣ меблированныя, довольно просторныя комнаты. Дунечка недовѣрчиво осматривалась, но ничего особеннаго не замѣтила ни въ убранствѣ, ни въ расположеніи комнатъ, хотя бы и можно было кой-что замѣтить, напримѣръ, что квартира Свидригайлова приходилась

какъ-то между двумя почти необитаемыми квартирами. Входъ къ нему былъ не прямо изъ корридора, а черезъ двѣ хозяйкины комнаты, почти пустыя. Изъ спальни же Свидригайловъ, отомкнувъ дверь, запертую на ключъ, показалъ Дунечкѣ тоже пустую, отдающуюся въ наемъ квартиру. Дунечка остановилась было на порогѣ, не понимая для чего ее приглашаютъ смотрѣть, но Свидригайловъ поспѣшилъ съ разъясненіемъ:

— Вотъ, посмотрите сюда, въ эту вторую большую комнату. Замѣтьте эту дверь, она заперта на ключъ. Возлѣ дверей стоитъ стулъ, всего одинъ стулъ въ обѣихъ комнатахъ. Это я принесъ изъ своей квартиры, чтобъ удобнѣе слушать. Вотъ тамъ сейчасъ за дверью стоитъ столъ Софьи Семеновны тамъ она сидѣла и разговаривала съ Родіономъ Романычемъ. А я здѣсь подслушивалъ, сидя на стулѣ, два вечера сряду, оба раза часа по два, — и ужъ, конечно, могъ узнать что-нибудь, какъ вы думаете?

— Вы подслушивали?

— Да, я подслушивалъ; теперь пойдемте ко мнѣ; здѣсь и сѣсть негдѣ.

Онъ привелъ Авдотью Романовну обратно въ свою первую комнату, служившую ему залой, и пригласилъ ее сѣсть на стулъ. Самъ сѣлъ на другомъ концѣ стола, по крайней мѣрѣ, отъ нея на сажень, но, вѣроятно, въ глазахъ его уже блисталъ тотъ же самый пламень, который такъ испугалъ когда-то Дунечку. Она вздрогнула и еще разъ недовѣрчиво осмотрѣлась. Жестъ ея былъ невольный: ей видимо не хотѣлось выказывать недовѣрчивости. Но уединенное положеніе квартиры Свидригайлова, наконецъ, ее поразило. Ей хотѣлось спро-

сить, дома ли, по крайней мѣрѣ, его хозяйка, но она не спросила... изъ гордости. Къ тому же и другое, несоразмѣрно бо́льшее страданіе, чѣмъ страхъ за себя, было въ ея сердцѣ. Она нестерпимо мучилась.

— Вотъ ваше письмо, — начала она, положивъ его на столъ. — Развѣ возможно то, что вы пишете? Вы намекаете на преступленіе, совершенное будто бы братомъ. Вы слишкомъ ясно намекаете, вы не смѣете теперь отговариваться. Знайте же, что я еще до васъ слышала объ этой глупой сказкѣ и не вѣрю ей ни въ одномъ словѣ. Это гнусное и смѣшное подозрѣніе. Я знаю исторію, и какъ и отчего она выдумалась. У васъ не можетъ быть никакихъ доказательствъ. Вы обѣщали доказать: говорите же! Но заранѣе знайте, что я вамъ не вѣрю! Не вѣрю!..

Дунечка проговорила это скороговоркой, торопясь, и на мгновеніе краска бросилась ей въ лицо.

— Если бы вы не вѣрили, то могло ли сбыться, чтобы вы рискнули придти одна ко мнѣ? Зачѣмъ же вы пришли? Изъ одного любопытства?

— Не мучьте меня, говорите, говорите!

— Нечего и говорить, что вы храбрая дѣвушка. Ей Богу, я думалъ, что вы попросите господина Разумихина сопровождать васъ сюда. Но его ни съ вами, ни кругомъ васъ не было; я-таки смотрѣлъ; это отважно; хотѣли, значитъ, пощадить Родіона Романыча. Впрочемъ, въ васъ все божественно... Что же касается до вашего брата, то что я вамъ скажу? Вы сейчасъ его видѣли сами. Каковъ?

— Не на этомъ же одномъ вы основываете?

— Нѣтъ, не на этомъ, а на его собственныхъ словахъ. Вотъ сюда два вечера сряду онъ прихо-

дилъ къ Софьѣ Семеновнѣ. Я вамъ показывалъ, гдѣ они сидѣли. Онъ сообщилъ ей полную свою исповѣдь. Онъ убійца. Онъ убилъ старуху-чиновницу, процентщицу, у которой и самъ закладывалъ вещи; убилъ тоже сестру ея, торговку, по имени Лизавету, нечаянно вошедшую во время убійства сестры. Убилъ онъ ихъ обѣихъ топоромъ, который принесъ съ собою. Онъ ихъ убилъ, чтобъ ограбить, и ограбилъ: взялъ деньги и кой-какія вещи... Онъ самъ это все передавалъ слово въ слово Софьѣ Семеновнѣ, которая одна и знаетъ секретъ, но въ убійствѣ не участвовала ни словомъ, ни дѣломъ, а, напротивъ, ужаснулась такъ же, какъ и вы теперь. Будьте покойны, она его не выдастъ.

— Этого быть не можетъ! — бормотала Дунечка блѣдными, помертвѣвшими губами; она задыхалась; — быть не можетъ, нѣтъ никакой, ни малѣйшей причины, никакого повода... Это ложь! Ложь!

— Онъ ограбилъ, вотъ и вся причина. Онъ взялъ деньги и вещи. Правда, онъ, по собственному своему сознанію, не воспользовался ни деньгами, ни вещами, а снесъ ихъ куда-то подъ камень, гдѣ онѣ и теперь лежатъ. Но это потому, что онъ не посмѣлъ воспользоваться.

— Да развѣ вѣроятно, чтобъ онъ могъ украсть, ограбить? Чтобъ онъ могъ объ этомъ только помыслить? — вскричала Дуня и вскочила со стула.— Вѣдь вы его знаете, видѣли? Развѣ онъ можетъ быть воромъ?

Она точно умаливала Свидригайлова; она весь свой страхъ забыла.

— Тутъ, Авдотья Романовна, тысячи и милліоны комбинацій и сортировокъ. Воръ воруетъ, зато

ужъ онъ про себя и знаетъ, что онъ подлецъ; а вотъ я слышалъ про одного благороднаго человѣка, что почту разбилъ; такъ кто его знаетъ, можетъ, онъ и въ самомъ дѣлѣ думалъ, что порядочное дѣло сдѣлалъ! Разумѣется, я бы и самъ не повѣрилъ, такъ же какъ и вы, если бы мнѣ передали со стороны. Но своимъ собственнымъ ушамъ я повѣрилъ. Онъ Софьѣ Семеновнѣ и причины всѣ объяснялъ; но та и ушамъ своимъ сначала не повѣрила, да глазамъ, наконецъ, повѣрила, своимъ собственнымъ глазамъ. Онъ вѣдь самъ ей лично передавалъ.

— Какія же... причины!

— Дѣло длинное, Авдотья Романовна. Тутъ, какъ бы вамъ это выразить, своего рода теорія, то же самое дѣло, по которому я нахожу, напримѣръ, что единичное злодѣйство позволительно, если главная цѣль хороша. Единичное зло и сто добрыхъ дѣлъ! Оно тоже, конечно, обидно для молодого человѣка съ достоинствами и съ самолюбіемъ непомѣрнымъ знать, что были бы, напримѣръ, всего только тысячи три, и вся карьера, все будущее въ его жизненной цѣли формируется иначе, а между тѣмъ нѣтъ этихъ трехъ тысячъ. Прибавьте къ этому раздраженіе отъ голода, отъ тѣсной квартиры, отъ рубища, отъ яркаго сознанія красоты своего соціальнаго положенія, а вмѣстѣ съ тѣмъ положенія сестры и матери. Пуще же всего тщеславіе, гордость и тщеславіе, а впрочемъ, Богъ его знаетъ, можетъ, и при хорошихъ наклонностяхъ... Я вѣдь его не виню, не думайте пожалуйста, да и не мое дѣло. Тутъ была тоже одна собственная теорійка, — такъ себѣ теорія,—по которой люди раздѣляются, видите ли, на матеріалъ и на особенныхъ людей, т. е. на такихъ людей, для ко-

торыхъ, по ихъ высокому положенію, законъ не писанъ, а напротивъ, которые сами сочиняютъ законы остальнымъ людямъ, матеріалу-то, сору-то. Ничего, такъ себѣ теорійка: une théorie comme une autre. Наполеонъ его ужасно увлекъ, т. е. собственно увлекло его то, что очень многіе геніальные люди на единичное зло не смотрѣли, а шагали черезъ, не задумываясь. Онъ, кажется, вообразилъ себѣ, что и онъ геніальный человѣкъ, — то есть былъ въ томъ нѣкоторое время увѣренъ. Онъ очень страдалъ и теперь страдаетъ отъ мысли, что теорію-то сочинить онъ умѣлъ, а перешагнуть-то, не задумываясь, и не въ состояніи, стало быть, человѣкъ не геніальный. Ну, а ужъ это для молодого человѣка съ самолюбіемъ и унизительно, въ нашъ вѣкъ-то особенно...

— А угрызеніе совѣсти? Вы отрицаете въ немъ, стало быть, всякое нравственное чувство? Да развѣ онъ таковъ?

— Ахъ, Авдотья Романовна, теперь все помутилось, т. е., впрочемъ, оно и никогда въ порядкѣ-то особенномъ не было. Русскіе люди вообще широкіе люди, Авдотья Романовна, широкіе, какъ ихъ земля, и чрезвычайно склонны къ фантастическому, къ безпорядочному; но бѣда быть широкимъ безъ особенной геніальности. А помните, какъ много мы въ этомъ же родѣ и на эту же тему переговорили съ вами вдвоемъ, сидя по вечерамъ на террасѣ въ саду, каждый разъ послѣ ужина. Еще вы меня именно этой широкостью укоряли. Кто знаетъ, можетъ, въ то же самое бремя и говорили, когда онъ здѣсь лежалъ, да свое обдумывалъ. У насъ въ образованномъ обществѣ особенно священныхъ преданій вѣдь нѣтъ, Авдотья Романовна:

развѣ кто какъ-нибудь себѣ по книгамъ составитъ... али изъ лѣтописей что-нибудь выведетъ. Но вѣдь это больше ученые и, знаете, въ своемъ родѣ все колпаки, такъ что даже и неприлично свѣтскому человѣку. Впрочемъ, мои мнѣнія вообще вы знаете; я никого рѣшительно не обвиняю. Самъ я бѣлоручка, этого и придерживаюсь. Да мы объ этомъ уже не разъ говорили. Я даже имѣлъ счастье интересовать васъ моими сужденіями... Вы очень блѣдны, Авдотья Романовна!

— Я эту теорію его знаю. Я читала его статью въ журналѣ о людяхъ, которымъ все разрѣшается... Мнѣ приносилъ Разумихинъ...

— Господинъ Разумихинъ? Статью вашего брата? Въ журналѣ? Есть такая статья? Не зналъ я. Вотъ, должно быть, любопытно-то! Но куда же вы, Авдотья Романовна?

— Я хочу видѣть Софью Семеновну, — проговорила слабымъ голосомъ Дунечка. — Куда къ ней пройти? Она, можетъ, и пришла; я, непремѣнно, сейчасъ хочу ее видѣть. Пусть она...

Авдотья Романовна не могла договорить: дыханіе ея буквально пресѣклось.

— Софья Семеновна не воротится до ночи. Я такъ полагаю. Она должна была придти очень скоро, если же нѣтъ, то ужъ очень поздно...

— А, такъ ты лжешь! Я вижу... ты лгалъ... ты все лгалъ!... Я тебѣ не вѣрю! Не вѣрю! Не вѣрю! — кричала Дунечка въ настоящемъ изступленіи, совершенно теряя голову.

Почти въ обморокѣ упала она на стулъ, который поспѣшилъ ей подставить Свидригайловъ.

— Авдотья Романовна, что съ вами, очнитесь! Вотъ вода. Отпейте одинъ глотокъ...

Онъ брызнулъ на нее воды. Дунечка вздрогнула и очнулась.

— Сильно подѣйствовало! — бормоталъ про себя Свидригайловъ, нахмурясь. — Авдотья Романовна, успокойтесь! Знайте, что у него есть друзья. Мы его спасемъ, выручимъ. Хотите, я увезу его за границу? У меня есть деньги; я въ три дня достану билетъ. А насчетъ того что онъ убилъ, то онъ еще надѣлаетъ много добрыхъ дѣлъ, такъ что все это загладится; успокойтесь. Великимъ человѣкомъ еще можетъ быть. Ну, что съ вами? Какъ вы себя чувствуете?

— Злой человѣкъ! Онъ еще насмѣхается. Пустите меня...

— Куда вы? Да куда вы?

— Къ нему. Гдѣ онъ? Вы знаете? Отчего эта дверь заперта? Мы сюда вошли въ эту дверь, а теперь она заперта на ключъ. Когда вы успѣли запереть ее на ключъ?

— Нельзя же было кричать на всѣ комнаты о томъ, что мы здѣсь говорили. Я вовсе не насмѣхаюсь; мнѣ только говорить этимъ языкомъ надоѣло. Ну, куда вы такая пойдете? Или вы хотите предать его? Вы его доведете до бѣшенства, и онъ предастъ себя самъ. Знайте, что ужъ за нимъ слѣдятъ, уже попали на слѣдъ. Вы только его выдадите. Подождите: я видѣлъ его и говорилъ съ нимъ сейчасъ; его еще можно спасти. Подождите, сядьте, обдумаемъ вмѣстѣ. Я для того и звалъ васъ, чтобы поговорить объ этомъ наединѣ и хорошенько обдумать. Да сядьте же!

— Какимъ образомъ вы можете его спасти? Развѣ его можно спасти?

Дуня сѣла. Свидригайловъ сѣлъ подлѣ нея.

— Все это отъ васъ зависитъ, отъ васъ, отъ васъ одной, — началъ онъ съ сверкающими глазами, почти шепотомъ, сбиваясь и даже не выговаривая иныхъ словъ отъ волненія.

Дуня въ испугѣ отшатнулась отъ него дальше. Онъ тоже весь дрожалъ.

— Вы... одно ваше слово, и онъ спасенъ! Я... я его спасу. У меня есть деньги и друзья. Я тотчасъ отправлю его, а самъ возьму паспортъ, два паспорта. Одинъ его, другой мой. У меня друзья; у меня есть дѣловые люди... Хотите? Я возьму еще вамъ паспортъ... вашей матери... зачѣмъ вамъ Разумихинъ? Я васъ такъ же люблю... Я васъ безконечно люблю. Дайте мнѣ край вашего платья поцѣловать, дайте! Дайте! Я не могу слышать, какъ оно шумитъ. Скажите мнѣ: сдѣлай то, и я сдѣлаю. Я невозможное сдѣлаю. Чему вы вѣруете, тому и я буду вѣровать. Я все, все сдѣлаю! Не смотрите, не смотрите на меня такъ! Знаете ли, что вы меня убиваете...

Онъ начиналъ даже бредить. Съ нимъ что-то вдругъ сдѣлалось, точно ему въ голову вдругъ ударило. Дуня вскочила и бросилась къ дверямъ.

— Отворите! Отворите! — кричала она чрезъ дверь, призывая кого-нибудь и потрясая дверь руками. — Отворите же! Неужели нѣтъ никого?

Свидригайловъ всталъ и опомнился. Злобная и насмѣшливая улыбка медленно выдавливалась на дрожавшихъ еще губахъ его.

— Тамъ никого нѣтъ дома, — проговорилъ онъ тихо и съ разстановками; — хозяйка ушла и напрасный трудъ такъ кричать: только себя волнуете понапрасну.

— Гдѣ ключъ? Отвори сейчасъ дверь, сейчасъ, низкій человѣкъ!

— Я ключъ потерялъ и не могу его отыскать.

— А! Такъ это насиліе! — вскричала Дуня, поблѣднѣла, какъ смерть, и бросилась въ уголъ, гдѣ поскорѣй заслонилась столикомъ, случившимся подъ рукой. Она не кричала; но она впилась взглядомъ въ своего мучителя и зорко слѣдила за каждымъ его движеніемъ. Свидригайловъ тоже не двигался съ мѣста и стоялъ противъ нея на другомъ концѣ комнаты. Онъ даже овладѣлъ собою, по крайней мѣрѣ, снаружи. Но лицо его было блѣдно попрежнему. Насмѣшливая улыбка не покидала его.

— Вы сказали сейчасъ «насиліе», Авдотья Романовна. Если насиліе, то сами можете разсудить, что я принялъ мѣры. Софьи Семеновны дома нѣтъ; до Капернаумовыхъ очень далеко, пять запертыхъ комнатъ. Наконецъ, я, по крайней мѣрѣ, вдвое сильнѣе васъ и, кромѣ того, мнѣ бояться нечего, потому что вамъ и потомъ нельзя жаловаться: вѣдь не захотите же вы предать въ самомъ дѣлѣ вашего брата? Да и не повѣритъ вамъ никто: ну, съ какой стати дѣвушка пошла одна къ одинокому человѣку на квартиру? Такъ что, если даже и братомъ пожертвуете, то и тутъ ничего не докажете: нисиліе очень трудно доказать, Авдотья Романовна.

— Подлецъ! — прошептала Дуня въ негодованіи.

— Какъ хотите, но замѣтьте, я говорилъ еще только въ видѣ предположенія. По моему же личному убѣжденію вы совершенно правы: насиліе — мерзость. Я говорилъ только къ тому, что на совѣсти вашей ровно ничего не останется, если бы

даже ... если бы даже вы и захотѣли спасти вашего брата добровольно, такъ, какъ я вамъ предлагаю. Вы просто, значитъ, подчинились обстоятельствамъ, ну силѣ, наконецъ, если ужъ безъ этого слова нельзя. Подумайте объ этомъ; судьба вашего брата и вашей матери въ вашихъ рукахъ. Я же буду вашъ рабъ ... всю жизнь ... я вотъ здѣсь буду ждать ...

Свидригайловъ сѣлъ на диванъ, шагахъ въ восьми отъ Дуни. Для нея уже не было ни малѣйшаго сомнѣнія въ его непоколебимой рѣшимости. Къ тому же она его знала ...

Вдругъ она вынула изъ кармана револьверъ, взвела курокъ и опустила руку съ револьверомъ на столикъ. Свидригайловъ вскочилъ съ мѣста.

— Ага! Такъ вотъ какъ! — вскричалъ онъ въ удивленіи, но злобно усмѣхаясь; — ну, это совершенно измѣняетъ ходъ дѣла! Вы мнѣ чрезвычайно облегчаете дѣло сами, Авдотья Романовна! Да гдѣ это вы револьверъ достали? Ужъ не господинъ ли Разумихинъ? Ба! Да револьверъ-то мой! Старый знакомый! А я-то его тогда какъ искалъ!.. Наши деревенскіе уроки, которые я имѣлъ честь вамъ давать, не пропали таки даромъ.

— Не твой ревельверъ, а Марѳы Петровны, которую ты убилъ, злодѣй! У тебя ничего не было своего въ ея домѣ. Я взяла его, какъ стала подозрѣвать, на что ты способенъ. Смѣй шагнуть хоть одинъ шагъ, и клянусь, я убью тебя!

Дуня была въ изступленіи. Револьверъ она держала наготовѣ.

— Ну, а братъ? Изъ любопытства спрашиваю, — спросилъ Свидригайловъ, все еще стоя на мѣстѣ.

— Доноси, если хочешь! Ни съ мѣста! Не сходи! Я выстрѣлю! Ты жену отравилъ, я знаю, ты самъ убійца . .

— А вы твердо увѣрены, что я Марѳу Петровну отравилъ?

— Ты! Ты мнѣ самъ намекалъ; ты мнѣ говорилъ объ ядѣ . . . я знаю, ты за нимъ ѣздилъ . . . у тебя было готово . . . Это непремѣнно ты . . . подлецъ!

— Если бы даже это была и правда, такъ изъ-за тебя же. . . все-таки ты же была бы причиной.

— Лжешь! Я тебя ненавидѣла всегда, всегда . . .

— Эге, Авдотья Романовна! Видно забыли, какъ въ жару пропаганды уже склонились и млѣли... Я по глазкамъ видѣлъ; помните вечеромъ-то, при лунѣ-то, соловей-то еще свисталъ?

— Лжешь! (бѣшенство засверкало въ глазахъ Дуни), лжешь, клеветникъ!

— Лгу? Ну, пожалуй, и лгу. Солгалъ. Женщинамъ про эти вещицы поминать не слѣдуетъ. (Онъ усмѣхнулся.) Знаю, что выстрѣлишь, звѣрекъ хорошенькій. Ну, и стрѣляй!

Дуня подняла револьверъ, и мертво-блѣдная, съ побѣлѣвшею, дрожавшею нижнею губкой, съ сверкающими, какъ огонь, большими черными глазами, смотрѣла на него, рѣшившись, измѣряя и выжидая перваго движенія съ его стороны. Никогда еще онъ не видалъ ея столь прекрасною. Огонь, сверкнувшій изъ глазъ ея въ ту минуту, когда она поднимала револьверъ, точно обжегъ его, и сердце его съ болью сжалось. Онъ ступилъ шагъ, и выстрѣлъ раздался. Пуля скользнула по его волосамъ и ударилась сзади въ стѣну. Онъ остановился и тихо засмѣялся:

— Укусила оса! Прямо въ голову мѣтитъ . . .

Что̀ это? Кровь! Онъ вынулъ платокъ, чтобъ обтереть кровь, тоненькою струйкой стекавшую по его правому виску; вѣроятно, пуля чуть-чуть задѣла по кожѣ черепа. Дуня опустила револьверъ и смотрѣла на Свидригайлова не то что въ страхѣ, а въ какомъ-то дикомъ недоумѣніи. Она какъ бы сама ужъ не понимала, что̀ такое она сдѣлала и что̀ это дѣлается!

— Ну что жъ, промахъ! Стрѣляйте еще, я жду, — тихо проговорилъ Свидригайловъ, все еще усмѣхаясь, но какъ-то мрачно; — этакъ я васъ схватить успѣю, прежде чѣмъ вы взведете курокъ!

Дунечка вздрогнула, быстро взвела курокъ и опять подняла револьверъ.

— Оставьте меня! — проговорила она въ отчаяніи, — клянусь, я опять выстрѣлю... Я... убью!..

— Ну что жъ... въ трехъ шагахъ и нельзя не убить. Ну, а не убьете... тогда...—Глаза его засверкали, и онъ ступилъ еще два шага.

Дунечка выстрѣлила, осѣчка!

— Зарядили неаккуратно. Ничего! У васъ тамъ еще есть капсюль. Поправьте, я подожду.

Онъ стоялъ предъ нею въ двухъ шагахъ, ждалъ и смотрѣлъ на нее съ дикою рѣшимостью, воспаленно-страстнымъ, тяжелымъ взглядомъ. Дуня поняла, что онъ скорѣе умретъ, чѣмъ отпуститъ ее. «И... и ужъ конечно она убьетъ его теперь, въ двухъ шагахъ!.. »

Вдругъ она отбросила револьверъ.

— Бросила! — съ удивленіемъ проговорилъ Свидригайловъ и глубоко перевелъ духъ. Что-то какъ бы разомъ отошло у него отъ сердца и, можетъ быть, не одна тягость смертнаго страха: да

врядъ ли онъ и ощущалъ его въ эту минуту. Это было избавленіе отъ другого, болѣе скорбнаго и мрачнаго, чувства, котораго бы онъ и самъ не могъ во всей силѣ опредѣлить.

Онъ подошелъ къ Дунѣ и тихо обнялъ ее рукой за талію. Она не сопротивлялась, но вся, трепеща, какъ листъ, смотрѣла на него умоляющими глазами. Онъ было хотѣлъ что-то сказать, но только губы его кривились, а выговорить онъ не могъ.

— Отпусти меня! — умоляя, сказала Дуня.

Свидригайловъ вздрогнулъ: это *ты* было уже какъ-то не такъ проговорено, какъ давешнее.

— Такъ не любишь? — тихо спросилъ онъ.

Дуня отрицательно повела головой.

— И . . . не можешь? . . Никогда? — съ отчаяніемъ прошепталъ онъ.

— Никогда! — прошептала Дуня.

Прошло мгновеніе ужасной, нѣмой борьбы въ душѣ Свидригайлова. Невыразимымъ взглядомъ глядѣлъ онъ на нее. Вдругъ онъ отнялъ руку, отвернулся, быстро отошелъ къ окну и сталъ предъ нимъ.

Прошло еще мгновеніе.

— Вотъ ключъ! (Онъ вынулъ его изъ лѣваго кармана пальто и положилъ сзади себя на столъ, не глядя и не оборачиваясь къ Дунѣ.) Берите; уходите скорѣй! . .

Онъ упорно смотрѣлъ въ окно.

Дуня подошла къ столу взять ключъ.

— Скорѣй! Скорѣй! — повторилъ Свидригайловъ, все еще не двигаясь и не оборачиваясь. Но въ этомъ: «скорѣй» видно прозвучала какая-то страшная нотка.

Дуня поняла ее, схватила ключъ, бросилась къ

дверямъ, быстро отомкнула ихъ и вырвалась изъ комнаты. Чрезъ минуту, какъ безумная, не помня себя, выбѣжала она на канаву и побѣжала по направленію къ —му мосту.

Свидригайловъ простоялъ еще у окна минуты три; наконецъ, медленно обернулся, осмотрѣлся кругомъ и тихо провелъ ладонью по лбу. Странная улыбка искривила его лицо, жалкая, печальная, слабая улыбка, улыбка отчаянія. Кровь, уже засыхавшая, запачкала ему ладонь; онъ посмотрѣлъ на кровь со злобою; затѣмъ намочилъ полотенце и вымылъ себѣ високъ. Револьверъ, отброшенный Дуней и отлетѣвшій къ дверямъ, вдругъ попался ему на глаза. Онъ поднялъ и осмотрѣлъ его. Это былъ маленькій, карманный трехъ-ударный револьверъ, стараго устройства; въ немъ осталось еще два заряда и одинъ капсюль. Одинъ разъ можно было выстрѣлить. Онъ подумалъ, сунулъ револьверъ въ карманъ, взялъ шляпу и вышелъ.

VI.

Весь этотъ вечеръ до десяти часовъ онъ провелъ по разнымъ трактирамъ и клоакамъ, переходя изъ одного въ другой. Отыскалась гдѣ-то и Катя, которая опять пѣла другую лакейскую пѣсню, о томъ, какъ кто-то, «подлецъ и тиранъ»,

„Началъ Катю цѣловать".

Свидригайловъ поилъ и Катю, и шарманщика, и пѣсенниковъ, и лакеевъ, и двухъ какихъ-то писаришекъ. Съ этими писаришками онъ связался собственно потому, что оба они были съ кривыми носами: у одного носъ шелъ криво вправо, а у дру-

гого влѣво. Это поразило Свидригайлова. Они увлекли его, наконецъ, въ какой-то увеселительный садъ, гдѣ онъ заплатилъ за нихъ и за входъ. Въ этомъ саду была одна тоненькая, трехлѣтняя елка и три кустика. Кромѣ того выстроенъ былъ «вакзалъ», въ сущности распивочная, но тамъ можно было получать и чай, да сверхъ того стояли нѣсколько зеленыхъ столиковъ и стульевъ. Хоръ скверныхъ пѣсенниковъ и какой-то пьяный мюнхенскій нѣмецъ въ родѣ паяца, съ краснымъ носомъ, но отчего-то чрезвычайно унылый, увеселяли публику. Писаришки поссорились съ какими-то другими писаришками и затѣяли было драку. Свидригайловъ выбранъ былъ ими судьей. Онъ судилъ ихъ уже съ четверть часа, но они такъ кричали, что не было ни малѣйшей возможности что-нибудь разобрать. Вѣрнѣе всего было то, что одинъ изъ нихъ что-то укралъ и даже успѣлъ тутъ же продать какому-то подвернувшемуся жиду: но, продавъ, не захотѣлъ подѣлиться съ своимъ товарищемъ. Оказалось, наконецъ, что проданный предметъ была чайная ложка, принадлежавшая вокзалу. Въ вокзалѣ хватились ея, и дѣло стало принимать размѣры хлопотливые. Свидригайловъ заплатилъ за ложку, всталъ и вышелъ изъ сада. Было часовъ около десяти. Самъ онъ не выпилъ во все это время ни одной капли вина и всего только спросилъ себѣ въ вокзалѣ чаю, да и то больше для порядка. Между тѣмъ вечеръ былъ душный и мрачный. Къ десяти часамъ надвинулись со всѣхъ сторонъ страшныя тучи; ударилъ громъ, и дождь хлынулъ, какъ водопадъ. Вода падала не каплями, а цѣлыми струями хлестала на землю. Молнія сверкала поминутно, и можно было сосчитать до пяти разъ въ про-

долженіе каждаго зарева. Весь промокшій до нитки, дошелъ онъ домой, заперся, отворилъ свое бюро, вынулъ всѣ свои деньги и разорвалъ двѣ-три бумаги. Затѣмъ, сунувъ деньги въ карманъ, онъ хотѣлъ было перемѣнить на себѣ платье, но посмотрѣвъ въ окно и прислушавшись къ грозѣ и дождю, махнувъ рукой, взялъ шляпу и вышелъ, не заперевъ квартиры. Онъ прошелъ прямо къ Сонѣ. Та была дома.

Она была не одна; кругомъ нея было четверо маленькихъ дѣтей Капернаумова. Софья Семеновна поила ихъ чаемъ. Она молча и почтительно встрѣтила Свидригайлова, съ удивленіемъ оглядѣла его измокшее платье, но не сказала ни слова. Дѣти же всѣ тотчасъ убѣжали въ неописанномъ ужасѣ.

Свидригайловъ сѣлъ къ столу, а Соню попросилъ сѣсть подлѣ. Та робко приготовилась слушать.

— Я, Софья Семеновна, можетъ, въ Америку уѣду, — сказалъ Свидригайловъ,—и такъ какъ мы видимся съ вами, вѣроятно, въ послѣдній разъ, то я пришелъ кой-какія распоряженія сдѣлать. Ну, вы эту даму сегодня видѣли? Я знаю, что она вамъ говорила, нечего пересказывать. (Соня сдѣлала было движеніе и покраснѣла.) У этого народа извѣстная складка. Что же касается до сестрицъ и до братца вашего, то они, дѣйствительно, пристроены, и деньги, причитающіяся имъ, выданы мною на каждаго, подъ расписки, куда слѣдуетъ, въ вѣрныя руки. Вы, впрочемъ, эти расписки возьмите себѣ, такъ, на всякій случай. Вотъ, возьмите! Ну-съ, теперь это кончено. Вотъ три пятипроцентные билета, всего на три тысячи. Это вы возьмите себѣ, собственно себѣ, и пусть это такъ между нами и

будетъ, чтобы никто и не зналъ, что бы тамъ вы ни услышали. Они же вамъ понадобятся, потому, Софья Семеновна, такъ жить, попрежнему—скверно, да и нужды вамъ болѣе нѣтъ никакой.

— Я-съ вами такъ облагодѣтельствована, и сироты-съ, и покойница, — заторопилась Соня, — что если до сихъ поръ я васъ мало такъ благодарила, то . . . не сочтите . . .

— Э, полноте, полноте.

— А, эти деньги, Аркадій Ивановичъ, я вамъ очень благодарна, но я вѣдь теперь въ нихъ не нуждаюсь. Я себя одну завсегда прокормлю, не сочтите неблагодарностью: если вы такіе благодѣтельные, то эти деньги-съ . . .

— Вамъ, вамъ, Софья Семеновна, и пожалуйста безъ особенныхъ разговоровъ, потому, даже мнѣ и некогда. А вамъ понадобятся. У Родіона Романыча двѣ дороги: или пуля въ лобъ, или по Владиміркѣ. (Соня дико посмотрѣла на него и задрожала.) Не безпокойтесь, я все знаю, отъ него же самого, и я не болтунъ; никому не скажу. Это вы его хорошо учили тогда, чтобъ онъ самъ на себя пошелъ и сказалъ. Это ему будетъ гораздо выгоднѣе. Ну, какъ выйдетъ Владиміркa — онъ по ней, а вы вѣдь за нимъ? Вѣдь такъ? Вѣдь такъ? Ну, а коли такъ, то значитъ деньги вотъ и понадобятся. Для него же понадобятся, понимаете? Давая вамъ, я все равно что ему даю. Къ тому же вы вотъ обѣщались и Амаліи Ивановнѣ долгъ заплатить; я вѣдь слышалъ. Что это вы, Софья Семеновна, такъ необдуманно все такіе контракты и обязательства на себя берете? Вѣдь Катерина Ивановна осталась должна этой нѣмкѣ, а не вы, такъ и наплевать бы вамъ на нѣмку. Такъ на свѣтѣ не проживешь. Ну-съ, если

васъ когда кто будетъ спрашивать, — ну, завтра или послѣзавтра, — обо мнѣ, или насчетъ меня (а васъ-то будутъ спрашивать), то вы о томъ, что я теперь къ вамъ заходилъ, не упоминайте и деньги отнюдь не показывайте и не сказывайте, что я вамъ далъ, никому. Ну, теперь до свиданья. (Онъ всталъ со стула.) Родіону Романычу поклонъ. Кстати: держите-ка деньги-то до времени хоть у господина Разумихина. Знаете господина Разумихина? Ужъ, конечно, знаете. Это малый такъ себѣ. Снесите-ка къ нему, завтра, или... когда придетъ время. А до тѣхъ поръ подальше спрячьте.

Соня также вскочила со стула и испуганно смотрѣла на него. Ей очень хотѣлось что-то сказать, что-то спросить, но она въ первыя минуты не смѣла, да и не знала какъ ей начать.

— Какъ же вы... какъ же вы-съ, теперь же въ такой дождь и пойдете?

— Ну, въ Америку собираться, да дождя боятьсяся, хе-хе! Прощайте, голубчикъ, Софья Семеновна! Живите и много живите, вы другимъ пригодитесь. Кстати... скажите-ка господину Разумихину, что я велѣлъ ему кланяться. Такъ-таки и передайте: Аркадій, дескать, Ивановичъ Свидригайловъ кланяется. Да непремѣнно же.

Онъ вышелъ, оставивъ Соню въ изумленіи, въ испугѣ и въ какомъ-то неясномъ и тяжеломъ подозрѣніи.

Оказалось потомъ, что въ этотъ же вечеръ, часу въ двѣнадцатомъ, онъ сдѣлалъ и еще одинъ весьма эксцентрическій и неожиданный визитъ. Дождь все еще не переставалъ. Весь мокрый, вошелъ онъ въ двадцать минутъ двѣнадцатаго въ тѣсную квартирку родителей своей невѣсты, на

Васильевскомъ островѣ, въ третьей линіи, на Маломъ проспектѣ. Насилу достучался и вначалѣ произвелъ было большое смятеніе; но Аркадій Ивановичъ, когда хотѣлъ, былъ человѣкъ съ весьма обворожительными манерами, такъ что первоначальная (хотя, впрочемъ, весьма остроумная) догадка благоразумныхъ родителей невѣсты, что Аркадій Ивановичъ, вѣроятно, до того уже гдѣ-нибудь нахлестался пьянъ, что ужъ и себя не помнитъ, — тотчасъ же пала сама собою. Разслабленнаго родителя выкатила въ креслѣ къ Аркадію Ивановичу сердобольная и благоразумная мать невѣсты, и, по своему обыкновенію, тотчасъ же приступила къ кой-какимъ отдаленнымъ вопросамъ. (Эта женщина никогда не дѣлала вопросовъ прямыхъ, а всегда пускала въ ходъ сперва улыбки и потиранія рукъ, а потомъ, если надо было что-нибудь узнать непремѣнно и вѣрно, напримѣръ: когда угодно будетъ Аркадію Ивановичу назначить свадьбу, то начинала любопытнѣйшими и почти жадными вопросами о Парижѣ и о тамошней придворной жизни, и развѣ потомъ уже доходила по порядку и до третьей линіи Васильевскаго острова.) Въ другое время все это, конечно, внушало много уваженія, но на этотъ разъ Аркадій Ивановичъ оказался какъ-то особенно нетерпѣливымъ и наотрѣзъ пожелалъ поскорѣе видѣть невѣсту, хотя ему уже и доложили въ самомъ началѣ, что невѣста легла уже спать. Разумѣется, невѣста явилась. Аркадій Ивановичъ прямо сообщилъ ей, что на время долженъ по одному весьма важному обстоятельству уѣхать изъ Петербурга, а потому и принесъ ей пятнадцать тысячъ рублей серебромъ въ разныхъ билетахъ, прося принять ихъ отъ него въ видѣ подарка, такъ

какъ онъ и давно собирался подарить ей эту бездѣлку предъ свадьбой. Особенно логической связи подарка съ немедленнымъ отъѣздомъ и непремѣнною необходимостью придти для того въ дождь и въ полночь, конечно, этими объясненіями ничуть не выказывалось, но дѣло однакоже обошлось весьма складно. Даже необходимыя оханья и аханья, разспросы и удивленія сдѣлались какъ-то вдругъ необыкновенно умѣренны и сдержанны; зато благодарность была выказана самая пламенная и подкрѣплена даже слезами благоразумнѣйшей матери. Аркадій Ивановичъ всталъ, засмѣялся, поцѣловалъ невѣсту, потрепалъ ее по щечкѣ, подтвердилъ, что скоро пріѣдетъ, и, замѣтивъ въ ея глазкахъ хотя и дѣтское любопытство, но вмѣстѣ съ тѣмъ и какой-то очень серьезный, нѣмой вопросъ, подумалъ, поцѣловалъ ее въ другой разъ и тутъ же искренно подосадовалъ въ душѣ, что подарокъ пойдетъ немедленно на сохраненіе подъ замокъ благоразумнѣйшей изъ матерей. Онъ вышелъ, оставивъ всѣхъ въ необыкновенно возбужденномъ состояніи. Но сердобольная мамаша тотчасъ же, полушепотомъ и скороговоркой, разрѣшила нѣкоторыя важнѣйшія недоумѣнія, а именно, что Аркадій Ивановичъ человѣкъ большой, человѣкъ съ дѣлами и со связями, богачъ — Богъ знаетъ, что̀ у него въ головѣ, вздумалъ и поѣхалъ, вздумалъ и деньги отдалъ, а, стало быть, и дивиться нечего. Конечно, странно, что онъ весь мокрый, но англичане, напримѣръ, и того эксцентричнѣе, да и всѣ эти высшаго тона не смотрятъ на то, что̀ о нихъ скажутъ, и не церемонятся. Можетъ быть, онъ даже и нарочно такъ ходитъ, чтобы показать, что онъ никого не боится. А главное, объ этомъ ни слова никому не говорить,

потому что Богъ знаетъ еще что̀ изъ этого выйдетъ, а деньги поскорѣе подъ замокъ и ужъ, конечно, самое лучшее во всемъ этомъ, что Ѳедосья просидѣла въ кухнѣ, а главное отнюдь, отнюдь, отнюдь, не надо сообщать ничего этой пройдохѣ Ресслихъ, и прочее, и прочее. Просидѣли и прошептались часовъ до двухъ. Невѣста, впрочемъ, ушла спать гораздо раньше, удивленная и немного грустная.

А Свидригайловъ между тѣмъ ровнехонько въ полночь переходилъ чрезъ —сковъ мостъ, по направленію на Петербургскую сторону. Дождь пересталъ, но шумѣлъ вѣтеръ. Онъ начиналъ дрожать и одну минуту съ какимъ-то особеннымъ любопытствомъ и даже съ вопросомъ посмотрѣлъ на черную воду Малой Невы. Но скоро ему показалось очень холодно стоять надъ водой; онъ повернулся и пошелъ на —ой проспектъ. Онъ шагалъ по безконечному —ому проспекту уже очень долго, почти съ полчаса, не разъ обрываясь въ темнотѣ на деревянной мостовой, но не переставалъ чего-то съ любопытствомъ разыскивать по правой сторонѣ проспекта. Тутъ гдѣ-то, уже въ концѣ проспекта, онъ замѣтилъ, какъ-то проѣзжая недавно мимо, одну гостиницу деревянную, но обширную, и имя ея, сколько ему помнилось, было что-то въ родѣ Адріанополя. Онъ не ошибся въ своихъ расчетахъ: эта гостиница въ такой глуши была такою видною точкой, что возможности не было не отыскать ея, даже среди темноты. Это было длинное, деревянное, почернѣвшее зданіе, въ которомъ, несмотря на поздній часъ, еще свѣтились огни и замѣчалось нѣкоторое оживленіе. Онъ вошелъ и у встрѣтившагося ему въ корридорѣ оборванца спросилъ ну-

меръ. Оборванецъ, окинувъ взглядомъ Свидригайлова, встряхнулся и тотчасъ же повелъ его въ отдѣльный нумеръ, душный и тѣсный, гдѣ-то въ самомъ концѣ корридора, въ углу, подъ лѣстницей. Но другого не было; всѣ были заняты. Оборванецъ смотрѣлъ вопросительно.

— Чай есть? — спросилъ Свидригайловъ.

— Это можно-съ.

— Еще что̀ есть?

— Телятина-съ, водка-съ, закуска-съ.

— Принеси телятины и чаю.

— А больше ничего не потребуется? — спросилъ даже въ нѣкоторомъ недоумѣніи оборванецъ.

— Ничего, ничего!

Оборванецъ удалился, совершенно разочарованный.

«Хорошее, должно быть, мѣсто — подумалъ Свидригайловъ; — какъ это я не зналъ. Я тоже, вѣроятно, имѣю видъ возвращающагося откуда-нибудь изъ кафе-шантана, но уже имѣвшаго дорогой исторію. А любопытно, однакожъ, кто здѣсь останавливается и ночуетъ?»

Онъ зажегъ свѣчу и осмотрѣлъ нумеръ подробнѣе. Это была клѣтушка до того маленькая, что даже почти не подъ ростъ Свидригайлову, въ одно окно; постель очень грязная, простой крашеный столъ и стулъ занимали почти все пространство. Стѣны имѣли видъ какъ бы сколоченныхъ изъ досокъ съ обшарканными обоями, до того уже пыльными и изодранными, что цвѣтъ ихъ (желтый) угадать еще можно было, но рисунка же нельзя было распознать никакого. Одна часть стѣны и потолка была срѣзана накось, какъ обыкновенно въ мансардахъ, но тутъ надъ этимъ косякомъ шла лѣстница.

Свидригайловъ поставилъ свѣчу, сѣлъ на кровать и задумался. Но странный и безпрерывный шепотъ, иногда подымавшійся чуть не до крику, въ сосѣдней клѣтушкѣ обратилъ, наконецъ, его вниманіе. Этотъ шепотъ не переставалъ съ того времени, какъ онъ вошелъ. Онъ прислушался: кто-то ругалъ и чуть ли не со слезами укорялъ другого, но слышался одинъ только голосъ. Свидригайловъ всталъ, заслонилъ рукою свѣчку, и на стѣнкѣ тотчасъ же блеснула щелочка; онъ подошелъ и сталъ смотрѣть. Въ нумерѣ, нѣсколько большемъ, чѣмъ его собственный, было двое посѣтителей. Одинъ изъ нихъ безъ сюртука, съ чрезвычайно курчавою головой и съ краснымъ воспаленнымъ лицомъ, стоялъ въ ораторской позѣ, раздвинувъ ноги, чтобъ удержать равновѣсіе, и, ударяя себя рукой въ грудь, патетически укорялъ другого въ томъ, что тотъ нищій и что даже чина на себѣ не имѣетъ, что онъ вытащилъ его изъ грязи и что когда хочетъ, тогда и можетъ выгнать его, и что все это видитъ одинъ только перстъ Всевышняго. Укоряемый другъ сидѣлъ на стулѣ и имѣлъ видъ человѣка, чрезвычайно желающаго чихнуть, но которому это никакъ не удается. Онъ изрѣдка, бараньимъ и мутнымъ взглядомъ глядѣлъ на оратора, но, очевидно, не имѣлъ никакого понятія, о чемъ идетъ рѣчь, и врядъ ли что-нибудь даже и слышалъ. На столѣ догорала свѣча, стоялъ почти пустой графинъ водки, рюмки, хлѣбъ, стаканы, огурцы и посуда съ давно уже выпитымъ чаемъ. Осмотрѣвъ внимательно эту картину, Свидригайловъ безучастно отошелъ отъ щелочки и сѣлъ опять на кровать.

Оборванецъ, воротившійся съ чаемъ и съ телятиной, не могъ удержаться, чтобы не спросить еще

разъ: «не надо ли еще чего-нибудь?» и, выслушавъ опять отвѣтъ отрицательный, удалился окончательно. Свидригайловъ набросился на чай, чтобы согрѣться, и выпилъ стаканъ, но съѣсть не могъ ни куска, за совершенною потерей аппетита. Въ немъ видимо начиналась лихорадка. Онъ снялъ съ себя пальто, жакетку, закутался въ одѣяло и легъ на постель. Ему было досадно: «все бы лучше на этотъ разъ быть здоровымъ», подумалъ онъ и усмѣхнулся. Въ комнатѣ было душно, свѣчка горѣла тускло, на дворѣ шумѣлъ вѣтеръ, гдѣ-то въ углу скребла мышь, да и во всей комнатѣ будто пахло мышами и чѣмъ-то кожанымъ. Онъ лежалъ и словно грезилъ: мысль смѣнялась мыслью. Казалось, ему очень бы хотѣлось хоть къ чему-нибудь особенно прицѣпиться воображеніемъ. «Это подъ окномъ, должно быть, какой-нибудь садъ, — подумалъ онъ, — шумятъ деревья; какъ я не люблю шумъ деревьевъ ночью, въ бурю и въ темноту, скверное ощущеніе! И онъ вспомнилъ, какъ, проходя давеча мимо Петровскаго парка, съ отвращеніемъ даже подумалъ о немъ. Тутъ онъ вспомнилъ кстати и о —ковѣ мостѣ, и о Малой Невѣ, и ему опять какъ бы стало холодно, какъ давеча, когда онъ стоялъ надъ водой. «Никогда въ жизнь мою не любилъ я воды, даже въ пейзажахъ», подумалъ онъ вновь и вдругъ опять усмѣхнулся на одну странную мысль: «вѣдь вотъ, кажется, теперь бы должно быть все равно насчетъ всей этой эстетики и комфорта, а тутъ-то именно и разборчивъ сталъ, точно звѣрь, который непремѣнно себѣ мѣсто выбираетъ . . . въ подобномъ же случаѣ. Именно поворотить бы давеча на Петровскій! Небось темно показалось, холодно, хе-хе! Чуть ли не ощущеній

пріятныхъ понадобилось... Кстати, зачѣмъ я свѣчку не затушу?» (Онъ задулъ ее.) «У сосѣдей улеглись», подумалъ онъ, не видя свѣта въ давешней щелочкѣ. «Вѣдь вотъ, Марѳа Петровна, вотъ бы теперь вамъ и пожаловать, и темно, и мѣсто пригодное, и минута оригинальная. А вѣдь вотъ именно теперь-то и не придете...»

Ему вдругъ почему-то вспомнилось, какъ давеча, за часъ до исполненія замысла надъ Дунечкой, онъ рекомендовалъ Раскольникову поручить ее охраненію Разумихина. «Въ самомъ дѣлѣ я, пожалуй, пуще для своего собственнаго задора тогда это говорилъ, какъ и угадалъ Раскольниковъ. А шельма, однакожъ, этотъ Раскольниковъ! Много на себѣ перетащилъ. Большею шельмой можетъ быть современемъ, когда вздоръ повыскочитъ, а теперь *слишкомъ* ужъ жить ему хочется! Насчетъ этого пункта этотъ народъ — подлецы. Ну, да чертъ съ нимъ, какъ хочетъ, мнѣ что».

Ему все не спалось. Мало-по-малу давешній образъ Дунечки сталъ возникать предъ нимъ, и вдругъ дрожь прошла по его тѣлу. «Нѣтъ, это ужъ надо теперь бросить», — подумалъ онъ, очнувшись, — «надо о чемъ-нибудь другомъ думать. Странно и смѣшно: ни къ кому я никогда не имѣлъ большой ненависти, даже мстить никогда особенно не желалъ, а вѣдь это дурной признакъ, дурной признакъ! Спорить тоже не любилъ и не горячился — тоже дурной признакъ! А сколько я ей давеча наобѣщалъ — фу, чертъ! А вѣдь, пожалуй, и перемолола бы меня какъ-нибудь...» Онъ опять замолчалъ и стиснулъ зубы: опять образъ Дунечки появился предъ нимъ точь-въ-точь, какъ была она, когда, выстрѣ-

ливъ въ первый разъ, ужасно испугалась, опустила револьверъ и, помертвѣвъ, смотрѣла на него, такъ что онъ два раза успѣлъ бы схватить ее, а она и руки бы не подняла въ защиту, если бъ онъ самъ ей не напомнилъ. Онъ вспомнилъ, какъ ему въ то мгновеніе точно жалко стало ее, какъ бы сердце сдавило ему . . . «Э! Къ черту! Опять эти мысли, все это надо бросить, бросить! . . »

Онъ уже забывался; лихорадочная дрожь утихала; вдругъ какъ бы что-то пробѣжало подъ одѣяломъ по рукѣ его и по ногѣ. Онъ вздрогнулъ: «фу, чертъ, да это чуть ли не мышь!» подумалъ онъ: «это я телятину оставилъ на столѣ . . . » Ему ужасно не хотѣлось раскрываться, вставать, мерзнуть, но вдругъ опять что-то непріятно шоркнуло ему по ногѣ; онъ сорвалъ съ себя одѣяло и зажегъ свѣчу. Дрожа отъ лихорадочнаго холода, нагнулся онъ осмотрѣть постель, — ничего не было; онъ встряхнулъ одѣяло, и вдругъ на простыню выскочила мышь. Онъ бросился ловить ее; но мышь не сбѣгала съ постели, а мелькала зигзагами во всѣ стороны, скользила изъ-подъ пальцевъ, перебѣгала по рукѣ и вдругъ юркнула подъ подушку; онъ сбросилъ подушку, но въ одно мгновеніе почувствовалъ, какъ что-то вскочило ему за пазуху, шоркаетъ по тѣлу, и уже за спиной подъ рубашкой. Онъ нервно задрожалъ и проснулся. Въ комнатѣ было темно, онъ лежалъ на кровати, закутавшись, какъ давеча, въ одѣяло, подъ окномъ выл вѣтеръ: «Экая скверность!» подумалъ онъ съ досадой.

Онъ всталъ и усѣлся на краю постели, спиной къ окну. «Лучше ужъ совсѣмъ не спать», рѣшилъ онъ. Отъ окна было, впрочемъ, холодно и сыро; не вставая съ мѣста, онъ натащилъ на себя одѣяло

и закутался въ него. Свѣчи онъ не зажигалъ. Онъ ни о чемъ не думалъ, да и не хотѣлъ думать; но грезы вставали одна за другою, мелькали отрывки мыслей, безъ начала и конца и безъ связи. Какъ будто онъ впадалъ въ полудремоту. Холодъ ли, мракъ ли, сырость ли, вѣтеръ ли, завывавшій подъ окнами и качавшій деревья, вызвали въ немъ какую-то упорную фантастическую наклонность и желаніе, — но ему все стали представляться цвѣты. Ему вообразился прелестный пейзажъ; свѣтлый, теплый, почти жаркій день, праздничный день, Троицынъ день. Богатый, роскошный, деревенскій коттеджъ, въ англійскомъ вкусѣ, весь обросшій душистыми клумбами цвѣтовъ, обсаженный грядами, идущими кругомъ всего дома; крыльцо, увитое вьющимися растеніями, заставленное грядами розъ; свѣтлая, прохладная лѣстница, устланная роскошнымъ ковромъ, обставленная рѣдкими цвѣтами въ китайскихъ банкахъ. Онъ особенно замѣтилъ въ банкахъ съ водой на окнахъ букеты нѣжныхъ и бѣлыхъ нарцизовъ, склоняющихся на своихъ ярко-зеленыхъ, тучныхъ и длинныхъ стебляхъ, съ сильнымъ ароматнымъ запахомъ. Ему даже отойти отъ нихъ не хотѣлось, но онъ поднялся по лѣстницѣ и вошелъ въ большую, высокую залу, и опять и тутъ вездѣ, у оконъ, около растворенныхъ дверей на террасу, на самой террасѣ, вездѣ были цвѣты. Полы были усыпаны свѣжею накошенною душистою травой, окна были отворены, свѣжій, легкій, прохладный воздухъ проникалъ въ комнату, птички чирикали подъ окнами, а посреди залы, на покрытыхъ бѣлыми атласными пеленами столахъ, стоялъ гробъ. Этотъ гробъ былъ обитъ бѣлымъ гроденаплемъ и обшитъ бѣлымъ густымъ рюшемъ. Гирлянды цвѣ-

товъ обвивали его со всѣхъ сторонъ. Вся въ цвѣтахъ лежала въ немъ дѣвочка, въ бѣломъ тюлевомъ платьѣ, со сложенными и прижатыми на груди, точно выточенными изъ мрамора, руками. Но распущенные волосы ея, волосы свѣтлой блондинки, были мокры; вѣнокъ изъ розъ обвивалъ ея голову. Строгій и уже окостенѣлый профиль ея лица былъ тоже какъ бы выточенъ изъ мрамора, но улыбка на блѣдныхъ рубахъ ея была полна какой-то недѣтской, безпредѣльной скорби и великой жалобы. Свидригайловъ зналъ эту дѣвочку; ни образа, ни зажженныхъ свѣчей не было у этого гроба и не слышно было молитвъ. Эта дѣвочка была самоубійца, — утопленница. Ей было только четырнадцать лѣтъ, но это было уже разбитое сердце, и оно погубило себя, оскорбленное обидой, ужаснувшею и удивившею это молодое, дѣтское сознаніе, залившею незаслуженнымъ стыдомъ ея ангельски-чистую душу и вырвавшею послѣдній крикъ отчаянія, не услышанный, а нагло поруганный въ темную ночь, во мракѣ, въ холодѣ, въ сырую оттепель, когда былъ вѣтеръ...

Свидригайловъ очнулся, всталъ съ постели и шагнулъ къ окну. Онъ ощупью нашелъ задвижку и отворилъ окно. Вѣтеръ хлынулъ неистово въ его тѣсную каморку и какъ бы морознымъ инеемъ облѣпилъ ему лицо и прикрытую одною рубашкой грудь. Подъ окномъ, должно быть, дѣйствительно, было что-то въ родѣ сада и, кажется, тоже увеселительнаго; вѣроятно, днемъ здѣсь тоже пѣвали пѣсенники и выносился на столики чай. Теперь же съ деревьевъ и кустовъ летѣли въ окно брызги, было темно, какъ въ погребѣ, такъ что едва-едва можно было различить только какія-то темныя

пятна, обозначавшія предметы. Свидригайловъ, нагнувшись и опираясь локтями на подоконникъ, смотрѣлъ уже минутъ пять, не отрываясь, въ эту мглу. Среди мрака и ночи раздался пушечный выстрѣлъ, за нимъ другой.

«А, сигналъ! Вода прибываетъ», — подумалъ онъ, — «къ утру хлынетъ, тамъ, гдѣ пониже мѣсто, на улицы, зальетъ подвалы и погреба, всплывутъ подвальныя крысы, и среди дождя и вѣтра люди начнутъ, ругаясь, мокрые, перетаскивать свой соръ въ верхніе этажи... А который-то теперь часъ?» И только что подумалъ онъ это, гдѣ-то близко, тикая и какъ бы торопясь изо всей мочи, стѣнные часы пробили три. — «Эге, да черезъ часъ уже будетъ свѣтать! Чего дожидаться? Выйду сейчасъ, пойду прямо на Петровскій: тамъ гдѣ-нибудь выберу большой кустъ, весь облитый дождемъ, такъ что чуть-чуть плечомъ задѣть, и милліоны брызгъ обдадутъ всю голову...» Онъ отошелъ отъ окна, зажегъ свѣчу, натянулъ на себя жилетку, пальто, надѣлъ шляпу и вышелъ со свѣчой въ корридоръ, чтобъ отыскать гдѣ-нибудь спавшаго въ каморкѣ между всякимъ хламомъ и свѣчными огарками оборванца, расплатиться съ нимъ за нумеръ и выйти изъ гостиницы. — «Самая лучшая минута, нельзя лучше и выбрать!»

Онъ долго ходилъ по всему длинному и узкому корридору, не находя никого, и хотѣлъ уже громко кликнуть, какъ вдругъ въ темномъ углу, между старымъ шкафомъ и дверью, разглядѣлъ какой-то странный предметъ, что-то будто бы живое. Онъ нагнулся со свѣчой и увидѣлъ ребенка — дѣвочку лѣтъ пяти не болѣе, въ измокшемъ, какъ поломойная тряпка, платьишкѣ, дрожавшую и плакавшую.

Она какъ будто и не испугалась Свидригайлова, но смотрѣла на него съ тупымъ удивленіемъ своими большими черными глазенками и изрѣдка всхлипывала, какъ дѣти, которыя долго плакали, но уже перестали и даже утѣшились, а между тѣмъ, нѣтъ-нѣтъ, и вдругъ опять всхлипнутъ. Личико дѣвочки было блѣдное и изнуренное; она окостенѣла отъ холода, но — «какъ же она попала сюда? Значитъ, она здѣсь спряталась и не спала всю ночь». Онъ сталъ ее разспрашивать. Дѣвочка вдругъ оживилась и быстро-быстро залепетала ему что-то на своемъ дѣтскомъ языкѣ. Тутъ было что-то про «мамасю» и что «мамася плибьетъ», про какую-то чашку, которую «лязбиля» (разбила). Дѣвочка говорила не умолкая; кое какъ можно было угадать изъ всѣхъ этихъ разсказовъ, что это нелюбимый ребенокъ, котораго мать, какая-нибудь вѣчно пьяная кухарка, вѣроятно, изъ здѣшней же гостиницы, заколотила и запугала; что дѣвочка разбила мамашину чашку и что до того испугалась, что сбѣжала еще съ вечера; долго, вѣроятно, скрывалась гдѣ-нибудь на дворѣ, подъ дождемъ, наконецъ, пробралась сюда, спряталась за шкафомъ и просидѣла здѣсь въ углу всю ночь, плача, дрожа отъ сырости, отъ темноты и отъ страха, что ее теперь больно за все это прибьютъ. Онъ взялъ ее на руки, пошелъ къ себѣ въ нумеръ, посадилъ на кровать и сталъ раздѣвать. Дырявые башмаченки ея, на босу ногу, были такъ мокры, какъ будто всю ночь пролежали въ лужѣ. Раздѣвъ, онъ положилъ ее на постель, накрылъ и закуталъ совсѣмъ съ головой въ одѣяло. Она тотчасъ заснула. Кончивъ все, онъ опять угрюмо задумался.

«Вотъ еще вздумалъ связаться!» — рѣшилъ онъ

вдругъ съ тяжелымъ и злобнымъ ощущеніемъ. — «Какой вздоръ!» Въ досадѣ взялъ онъ свѣчу, чтобы идти и отыскать во что бы то ни стало оборванца и поскорѣе уйти отсюда. «Эхъ, дѣвченка!» — подумалъ онъ съ проклятіемъ, уже растворяя дверь, но вернулся еще разъ посмотрѣть на дѣвочку, спитъ ли она и какъ она спитъ? Онъ осторожно приподнялъ одѣяло. Дѣвочка спала крѣпкимъ и блаженнымъ сномъ. Она согрѣлась подъ одѣяломъ, и краска уже разлилась по ея блѣднымъ щечкамъ. Но странно: эта краска обозначалась какъ бы ярче и сильнѣе, чѣмъ могъ быть обыкновенный дѣтскій румянецъ. «Это лихорадочный румянецъ», — подумалъ Свидригайловъ, это — точно румянецъ отъ вина, точно какъ будто ей дали выпить цѣлый стаканъ. Алыя губки точно горятъ, пышутъ, но что это? Ему вдругъ показалось, что длинныя черныя рѣсницы ея какъ будто вздрагиваютъ и мигаютъ, какъ бы приподнимаются, и изъ-подъ нихъ выглядываетъ лукавый, острый, какой-то не дѣтски подмигивающій глазокъ, точно дѣвочка не спитъ, и притворяется. Да, такъ и есть: ея губки раздвигаются въ улыбку, кончики губокъ вздрагиваютъ, какъ бы еще сдерживаясь. Но вотъ уже она совсѣмъ перестала сдерживаться; это уже смѣхъ, явный смѣхъ; что-то нахальное, вызывающее свѣтится въ этомъ совсѣмъ не дѣтскомъ лицѣ; это развратъ, это лицо камеліи, нахальное лицо продажной камеліи изъ француженокъ. Вотъ, уже совсѣмъ не таясь, открываются оба глаза: они обводятъ его огненнымъ и безстыжимъ взглядомъ, они зовутъ его, смѣются... Что-то безконечно безобразное и оскорбительное было въ этомъ смѣхѣ, въ этихъ глазахъ, во всей этой мерзости въ лицѣ

ребенка. «Какъ! Пятилѣтняя!» — прошепталъ въ ужасѣ Свидригайловъ, — «это . . . что жъ это такое?» Но вотъ она уже совсѣмъ поворачивается къ нему всѣмъ пылающимъ личикомъ, простираетъ руки . . . «А, проклятая!» — вскричалъ въ ужасѣ Свидригайловъ, занося надъ ней руку . . . Но въ ту же минуту проснулся.

Онъ на той же постели, такъ же закутанный въ одѣяло; свѣча не зажжена, а ужъ въ окнахъ бѣлѣетъ полный день.

«Кошмаръ во всю ночь!» Онъ злобно приподнялся, чувствуя, что весь разбитъ; кости его болѣли. На дворѣ совершенно густой туманъ и ничего разглядѣть нельзя. Часъ пятый въ исходѣ; проспалъ! Онъ всталъ и надѣлъ свою жакетку и пальто, еще сырыя. Нащупавъ въ карманѣ револьверъ, онъ вынулъ его и поправилъ капсюль; потомъ сѣлъ, вынувъ изъ кармана записную книжку и на заглавномъ, самомъ замѣтномъ листкѣ, написалъ крупно нѣсколько строкъ. Перечитавъ ихъ, онъ задумался, облокотясь на столъ. Револьверъ и записная книжка лежали тутъ же, у локтя. Проснувшіяся мухи лѣпились на нетронутую порцію телятины, стоявшую тутъ же на столѣ. Онъ долго смотрѣлъ на нихъ и, наконецъ, свободною правою рукой началъ ловить одну муху. Долго истощался онъ въ усиліяхъ, но никакъ не могъ поймать. Наконецъ, поймавъ себя на этомъ интересномъ занятіи, очнулся, вздрогнулъ, всталъ и рѣшительно пошелъ изъ комнаты. Черезъ минуту онъ былъ на улицѣ.

Молочный, густой туманъ лежалъ надъ городомъ. Свидригайловъ пошелъ по скользкой, грязной, деревянной мостовой, по направленію къ Малой Невѣ. Ему мерещилась высоко поднявшаяся за

ночь вода Малой Невы, Петровскій островъ, мокрыя дорожки, мокрая трава, мокрые деревья и кусты и, наконецъ, тотъ самый кустъ... Съ досадой сталъ онъ разсматривать дома, чтобы думать о чемъ-нибудь другомъ. Ни прохожаго, ни извозчика не встрѣчалось по проспекту. Уныло и грязно смотрѣли ярко-желтые деревянные домики, съ закрытыми ставнями. Холодъ и сырость прохватывали все его тѣло, и его стало знобить. Изрѣдка онъ натыкался на лавочныя и овощныя вывѣски и каждую тщательно прочитывалъ. Вотъ уже кончилась деревянная мостовая. Онъ уже поравнялся съ большимъ каменнымъ домомъ. Грязная, издрогшая собаченка, съ поджатымъ хвостомъ, перебѣжала ему дорогу. Какой-то мертво-пьяный въ шинели, лицомъ внизъ, лежалъ поперекъ тротуара. Онъ поглядѣлъ на него и пошелъ далѣе. Высокая каланча мелькнула ему влѣво. — Ба! подумалъ онъ, да вотъ и мѣсто, зачѣмъ на Петровскій? По крайней мѣрѣ, при оффиціальномъ свидѣтелѣ... Онъ чуть не усмѣхнулся этой новой мысли и поворотилъ въ —скую улицу. Тутъ-то стоялъ большой домъ съ каланчей. У запертыхъ большихъ воротъ дома стоялъ, прислонясь къ нимъ плечомъ, небольшой человѣчекъ, закутанный въ сѣрое солдатское пальто и въ мѣдной ахиллесовой каскѣ. Дремлющимъ взглядомъ, холодно покосился онъ на подошедшаго Свидригайлова. На лицѣ его виднѣлась та вѣковѣчная брюзгливая скорбь, которая такъ кисло отпечаталась на всѣхъ безъ исключенія лицахъ еврейскаго племени. Оба они, Свидригайловъ и Ахиллесъ, нѣсколько времени, молча, разсматривали одинъ другого. Ахиллесу, наконецъ, показалось не порядкомъ, что человѣкъ не пьянъ, а стоитъ

передъ нимъ въ трехъ шагахъ, глядитъ въ упоръ и ничего не говоритъ.

— А-зе, сто-зе вамъ и здѣся на-а-до? — проговорилъ онъ, все еще не шевелясь и не измѣняя своего положенія.

— Да ничего, братъ, здравствуй! — отвѣтилъ Свидригайловъ.

— Здѣся не мѣста.

— Я, братъ, ѣду въ чужіе краи.

— Въ чужіе краи?

— Въ Америку.

— Въ Америку?

Свидригайловъ вынулъ револьверъ и взвелъ курокъ. Ахиллесъ приподнялъ брови.

— Азе, сто-зе, эти сутки (шутки), здѣся не мѣста!

— Да почему же бы и не мѣсто?

— А потому зе сто не мѣста.

— Ну, братъ, это все равно. Мѣсто хорошее; коли тебя станутъ спрашивать, такъ и отвѣчай, что поѣхалъ, дескать, въ Америку.

Онъ приставилъ револьверъ къ своему правому виску.

— А-зе здѣся нельзя, здѣся не мѣста! — встрепенулся Ахиллесъ, расширяя все больше и больше зрачки.

Свидригайловъ спустилъ курокъ . . .

VII.

Въ тотъ же день, но уже вечеромъ, часу въ седьмомъ, Раскольниковъ подходилъ къ квартирѣ матери и сестры своей, — къ той самой квартирѣ въ домѣ Бакалѣева, гдѣ устроилъ ихъ Разумихинъ.

Входъ на лѣстницу былъ съ улицы. Раскольниковъ подходилъ, все еще сдерживая шагъ и какъ бы колеблясь: войти или нѣтъ? Но онъ бы не воротился ни за что; рѣшеніе его было принято. «Къ тому же все равно, они еще ничего не знаютъ», — думалъ онъ, — «а меня уже привыкли считать за чудака . . . » Костюмъ его былъ ужасенъ: все грязное, пробывшее всю ночь подъ дождемъ, изорванное, истрепанное. Лицо его было почти обезображено отъ усталости, непогоды, физическаго утомленія и чуть не суточной борьбы съ самимъ собою. Всю эту ночь провелъ онъ одинъ, Богъ знаетъ гдѣ. Но, по крайней мѣрѣ, онъ рѣшился.

Онъ постучалъ въ дверь; ему отперла мать. Дунечки дома не было. Даже и служанки на ту пору не случилось. Пульхерія Александровна сначала онѣмѣла отъ радостнаго изумленія; потомъ схватила его за руку и потащила въ комнату.

— Ну, вотъ и ты! — начала она, запинаясь отъ радости. — Не сердись на меня, Родя, что я тебя такъ глупо встрѣчаю, со слезами: это я смѣюсь, а не плачу. Ты думаешь, я плачу? Нѣтъ, это я радуюсь, а ужъ у меня глупая привычка такая: слезы текутъ. Это у меня со смерти твоего отца, отъ всего плачу. Садись, голубчикъ, усталъ, должно быть, вижу. Ахъ, какъ ты испачкался.

— Я подъ дождемъ вчера былъ, мамаша . . . — началъ было Раскольниковъ.

— Да нѣтъ же, нѣтъ! — вскинулась Пульхерія Александровна, перебивая его, — ты думалъ, я тебя сейчасъ и допрашивать начну, по бабьей прежней привычкѣ; не тревожься. Я вѣдь понимаю, все понимаю; теперь я ужъ выучилась по-здѣшнему и, право, сама вижу, что здѣсь умнѣе. Я разъ на-

всегда разсудила: гдѣ мнѣ понимать твои соображенія и требовать у тебя отчетовъ? У тебя, можетъ быть, и Богъ знаетъ какія дѣла и планы въ головѣ, или мысли тамъ какія-нибудь зарождаются; такъ мнѣ тебя и толкать подъ руку: объ чемъ, дескать, думаешь? Я вотъ... Ахъ, Господи! Да что же это я толкусь туда и сюда, какъ угорѣлая... Я вотъ, Родя, твою статью въ журналѣ читаю уже въ третій разъ, мнѣ Дмитрій Прокофьичъ принесъ. Такъ я и ахнула, какъ увидѣла: вотъ дура-то, думаю про себя, вотъ онъ чѣмъ занимается, вотъ и разгадка вещей! Ученые всегда такіе. У него, можетъ, новыя мысли въ головѣ, на ту пору; онъ ихъ обдумываетъ, я его мучаю и смущаю. Читаю, другъ мой, и, конечно, многаго не понимаю; да оно, впрочемъ, такъ и должно быть: гдѣ мнѣ?

— Покажите-ка, мамаша.

Раскольниковъ взялъ газетку и мелькомъ взглянулъ на свою статью. Какъ ни противорѣчило это его положенію и состоянію, но онъ ощутилъ то странное и язвительно-сладкое чувство, какое испытываетъ авторъ, въ первый разъ видящій себя напечатаннымъ; къ тому же и двадцать три года сказались. Это продолжалось одно мгновеніе. Прочитавъ нѣсколько строкъ, онъ нахмурился, и страшная тоска сжала его сердце. Вся его душевная борьба послѣднихъ мѣсяцевъ напомнилась ему разомъ. Съ отвращеніемъ и досадой отбросилъ онъ статью на столъ.

— Но только, Родя, какъ я ни глупа, но все-таки я могу судить, что ты весьма скоро будешь однимъ изъ первыхъ людей, если не самымъ первымъ въ нашемъ ученомъ мірѣ. И смѣли они про тебя думать, что ты помѣшался. Ха-ха-ха! Ты не

знаешь — вѣдь они это думали! Ахъ, низкіе червяки, да гдѣ имъ понимать, что такое умъ! И вѣдь Дунечка, Дунечка тоже чуть не вѣрила — каково! Покойникъ отецъ твой два раза отсылалъ въ журналы, — сначала стихи (у меня и тетрадка хранится, я тебѣ когда-нибудь покажу), а потомъ ужъ и цѣлую повѣсть (я сама выпросила, чтобъ онъ далъ мнѣ переписать), и ужъ какъ мы молились оба, чтобы приняли, — не приняли! Я, Родя, дней шесть-семь назадъ убивалась, смотря на твое платье, какъ ты живешь, что ѣшь и въ чемъ ходишь? А теперь вижу, что опять-таки глупа была, потому захочешь, все теперь себѣ сразу достанешь, умомъ и талантомъ. Это ты покамѣстъ, значитъ, не хочешь теперь и гораздо важнѣйшими дѣлами занимаешься...

— Дуни дома нѣтъ, мамаша?

— Нѣту, Родя. Очень часто ея дома не вижу, оставляетъ меня одну. Дмитрій Прокофьичъ, спасибо ему, заходитъ со мной посидѣть и все объ тебѣ говоритъ. Любитъ онъ тебя и уважаетъ, мой другъ. Про сестру же не говорю, чтобъ она ужъ такъ очень была ко мнѣ непочтительна. Я вѣдь не жалуюсь. У ней свой характеръ, у меня свой; у ней свои тайны какія-то завелись; ну, у меня тайнъ отъ васъ нѣтъ никакихъ. Конечно, я твердо увѣрена, что Дуня слишкомъ умна, и кромѣ того, и меня и тебя любитъ... но ужъ не знаю, къ чему все это приведетъ. Вотъ ты меня осчастливилъ теперь, Родя, что зашелъ, а она-то вотъ и прогуляла; придетъ, я и скажу: а безъ тебя братъ былъ, а ты гдѣ изволила время проводить? Ты меня, Родя, очень-то и не балуй: можно тебѣ — зайди, нельзя — нечего дѣлать, и такъ подожду. Вѣдь я

все-таки буду знать, что ты меня любишь, съ меня и того довольно. Буду, вотъ, твои сочиненія читать, буду про тебя слышать ото всѣхъ, а нѣтъ-нѣтъ — и самъ зайдешь провѣдать, чего жъ лучше? Вѣдь вотъ зашелъ же теперь, чтобъ утѣшить мать, а я вѣдь вижу...

Тутъ Пульхерія Александровна вдругъ заплакала.

— Опять я! Не гляди на меня, дуру! Ахъ, Господи, да что жъ я сижу, — вскричала она, срываясь съ мѣста, — вѣдь кофей есть, а я тебя и не подчую! Вотъ вѣдь эгоизмъ-то старушечій что значитъ. Сейчасъ, сейчасъ!

— Маменька, оставьте это, я сейчасъ пойду. Я не для того пришелъ. Пожалуйста, выслушайте меня.

Пульхерія Александровна робко подошла къ нему.

— Маменька, что бы ни случилось, что бы вы обо мнѣ ни услышали, что бы вамъ обо мнѣ ни сказали, будете ли вы любить меня такъ, какъ теперь? — спросилъ онъ вдругъ отъ полноты сердца, какъ бы не думая о своихъ словахъ и не взвѣшивая ихъ.

— Родя, Родя, что съ тобою? Да какъ же ты объ этомъ спрашивать можешь? Да кто про тебя мнѣ что-нибудь скажетъ? Да я и не повѣрю никому, кто бы ко мнѣ ни пришелъ, просто прогоню.

— Я пришелъ васъ увѣрить, что я васъ всегда любилъ, и теперь радъ, что мы одни, радъ даже, что Дунечки нѣтъ, — продолжалъ онъ съ тѣмъ же порывомъ, — я пришелъ вамъ сказать прямо, что хоть вы и несчастны будете, но все-таки знайте, что сынъ вашъ любитъ васъ больше себя и что все,

что вы думали про меня, что я жестокъ и не люблю васъ, все это была неправда. Васъ я никогда не перестану любить... Ну, и довольно; мнѣ казалось, что такъ надо сдѣлать и этимъ начать...

Пульхерія Александровна молча обнимала его, прижимала къ своей груди и тихо плакала.

— Что съ тобой, Родя, не знаю, — сказала она, наконецъ, — думала я все это время, что мы просто надоѣдаемъ тебѣ, а теперь вижу по всему, что тебѣ великое горе готовится, оттого ты и тоскуешь. Давно я ужъ предвижу это, Родя. Прости меня, что объ этомъ заговорила; все объ этомъ думаю и по ночамъ не сплю. Эту ночь и сестра твоя всю напролетъ въ бреду пролежала и все о тебѣ вспоминала. Разслушала я что-то, а ничего не поняла. Все утро какъ передъ казнью ходила, чего-то ждала, предчувствовала и вотъ дождалась! Родя, Родя, куда же ты? Ѣдешь, что ли, куда-нибудь?

— Ѣду.

— Такъ я и думала! Да вѣдь и я съ тобой поѣхать могу, если тебѣ надо будетъ. И Дуня; она тебя любитъ, она очень любитъ тебя, и Софья Семеновна, пожалуй, пусть съ нами ѣдетъ, если надо; видишь, я охотно ее вмѣсто дочери даже возьму. Намъ Дмитрій Прокофьичъ поможетъ вмѣстѣ собраться... но... куда же ты... ѣдешь?

— Прощайте, маменька.

— Какъ! Сегодня же! — вскрикнула она, какъ бы теряя его навѣки.

— Мнѣ нельзя, мнѣ пора, мнѣ очень нужно...

— И мнѣ нельзя съ тобой?

— Нѣтъ, а вы станьте на колѣни и помолитесь за меня Богу. Ваша молитва, можетъ, и дойдетъ.

— Дай же я перекрещу тебя, благословлю

тебя! Вотъ такъ, вотъ такъ. О, Боже, что это мы дѣлаемъ!

Да, онъ былъ радъ, онъ былъ очень радъ, что никого не было, что они были наединѣ съ матерью. Какъ бы за все это ужасное время разомъ размягчилось его сердце. Онъ упалъ передъ нею, онъ ноги ей цѣловалъ, и оба, обнявшись, плакали. И она не удивлялась и не разспрашивала на этотъ разъ. Она уже давно понимала, что съ сыномъ что-то ужасное происходитъ, а теперь приспѣла какая-то страшная для него минута.

— Родя, милый мой, первенецъ ты мой, — говорила она, рыдая, — вотъ ты теперь такой же, какъ былъ маленькій, такъ же приходилъ ко мнѣ, такъ же обнималъ и цѣловалъ меня; еще когда мы съ отцомъ жили и бѣдовали, ты утѣшалъ насъ однимъ уже тѣмъ, что былъ съ нами, а какъ я похоронила отца, — то сколько разъ мы, обнявшись съ тобой вотъ такъ, какъ теперь, на могилкѣ его плакали. А что я давно плачу, то это сердце материнское бѣду предузнало. Я какъ только въ первый разъ увидѣла тебя тогда, вечеромъ, помнишь, какъ мы только что пріѣхали сюда, то все по твоему взгляду одному угадала, такъ сердце у меня тогда и дрогнуло, а сегодня какъ отворила тебѣ, взглянула, ну, думаю, видно пришелъ часъ роковой. Родя, Родя, ты вѣдь не сейчасъ ѣдешь?

— Нѣтъ.

— Ты еще придешь?

— Да... приду.

— Родя, не сердись, я и разспрашивать не смѣю. Знаю, что не смѣю, но такъ, два только словечка скажи мнѣ, далеко куда ты ѣдешь?

— Очень далеко.

— Что же тамъ, служба какая, карьера, что ли, тебѣ?

— Что Богъ пошлетъ... помолитесь только за меня...

Раскольниковъ пошелъ къ дверямъ, но она ухватилась за него и отчаяннымъ взглядомъ смотрѣла ему въ глаза. Лицо ея исказилось отъ ужаса.

— Довольно, маменька, — сказалъ Раскольниковъ, глубоко раскаиваясь, что вздумалъ придти.

— Не навѣкъ? Вѣдь еще не навѣкъ? Вѣдь ты придешь, завтра придешь?

— Приду, приду, прощайте.

Онъ вырвался, наконецъ.

Вечеръ былъ свѣжій, теплый и ясный; погода разгулялась еще съ утра. Раскольниковъ шелъ въ свою квартиру; онъ спѣшилъ. Ему хотѣлось кончить все, до заката солнца. До тѣхъ же поръ не хотѣлось бы съ кѣмъ-нибудь повстрѣчаться. Поднимаясь въ свою квартиру, онъ замѣтилъ, что Настасья, оторвавшись отъ самовара, пристально слѣдитъ за нимъ и провожаетъ его глазами. «Ужъ нѣтъ ли кого у меня?» — подумалъ онъ. Ему съ отвращеніемъ померещился Порфирій. Но, дойдя до своей комнаты и отворивъ ее, онъ увидѣлъ Дунечку. Она сидѣла одна-одинешенька, въ глубокомъ раздумьѣ и, кажется, давно уже ждала его. Онъ остановился на порогѣ. Она привстала съ дивана въ испугѣ и выпрямилась предъ нимъ. Ея взглядъ, неподвижно устремленный на него, изображалъ ужасъ и неутолимую скорбь. И по одному этому взгляду онъ уже понялъ сразу, что ей все извѣстно.

— Что же мнѣ входить къ тебѣ или уйти? — спросилъ онъ недовѣрчиво.

— Я цѣлый день сидѣла у Софьи Семеновны; мы ждали тебя обѣ. Мы думали, что ты непремѣнно туда зайдешь.

Раскольниковъ вошелъ въ комнату и въ изнеможеніи сѣлъ на стулъ.

— Я какъ-то слабъ, Дуня; ужъ очень усталъ; а мнѣ бы хотѣлось хоть въ эту-то минуту владѣть собою вполнѣ.

Онъ недовѣрчиво вскинулъ на нее глазами.

— Гдѣ же ты былъ всю ночь?

— Не помню хорошо; видишь, сестра, я окончательно хотѣлъ рѣшиться и много разъ ходилъ близъ Невы; это я помню. Я хотѣлъ тамъ и покончить, но... я не рѣшился... — прошепталъ онъ, опять недовѣрчиво взглядывая на Дуню.

— Слава Богу! А какъ мы боялись именно этого, я и Софья Семеновна! Стало быть, ты въ жизнь еще вѣруешь; слава Богу, слава Богу!

Раскольниковъ горько усмѣхнулся.

— Я не вѣровалъ, а сейчасъ вмѣстѣ съ матерью, обнявшись, плакали; я не вѣрую, а ее просилъ за себя молиться. Это Богъ знаетъ, какъ дѣлается, Дунечка, и я ничего въ этомъ не понимаю.

— Ты у матери былъ? Ты же ей и сказалъ? — въ ужасѣ воскликнула Дуня. — Неужели ты рѣшился сказать?

— Нѣтъ, не сказалъ... словами; но она многое поняла. Она слышала ночью, какъ ты бредила. Я увѣренъ, что она уже половину понимаетъ. Я, можетъ быть, дурно сдѣлалъ, что заходилъ. Ужъ и не знаю, для чего я даже и заходилъ-то. Я низкій человѣкъ, Дуня.

— Низкій человѣкъ, а на страданье готовъ идти! Вѣдь ты идешь же?

— Иду. Сейчасъ. Да, чтобъ избѣжать этого стыда, я и хотѣлъ утопиться, Дуня, но подумалъ, уже стоя надъ водой, что если я считалъ себя до сей поры сильнымъ, то пусть же я и стыда теперь не убоюсь, — сказалъ онъ, забѣгая напередъ. — Это гордость, Дуня?

— Гордость, Родя.

Какъ будто огонь блеснулъ въ его потухшихъ глазахъ; ему точно пріятно стало, что онъ еще гордъ.

— А ты не думаешь, сестра, что я просто струсилъ воды, — спросилъ онъ, съ безобразною усмѣшкой заглядывая въ ея лицо.

— О, Родя, полно! — горько воскликнула Дуня.

Минуты двѣ продолжалось молчаніе. Онъ сидѣлъ потупившись и смотрѣлъ въ землю; Дунечка стояла на другомъ концѣ стола и съ мученіемъ смотрѣла на него. Вдругъ онъ всталъ:

— Поздно, пора. Я сейчасъ иду предавать себя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя.

Крупныя слезы текли по щекамъ ея.

— Ты плачешь, сестра, а можешь ты протянуть мнѣ руку?

— И ты сомнѣваешься въ этомъ?

Она крѣпко обняла его.

— Развѣ ты, идучи на страданіе, не смываешь уже вполовину свое преступленіе? — вскричала она, сжимая его въ объятіяхъ и цѣлуя его.

— Преступленіе? Какое преступленіе? — вскричалъ онъ вдругъ въ какомъ-то внезапномъ бѣшенствѣ; — то, что я убилъ гадкую, зловредную вошь, старушенку-процентщицу, никому ненужную, которую убить сорокъ грѣховъ простятъ, которая изъ бѣдныхъ сокъ высасывала, и это-то преступле-

ніе? Не думаю я о немъ и смывать его не думаю. И что мнѣ всѣ тычутъ со всѣхъ сторонъ: «преступленіе, преступленіе!» Только теперь вижу ясно всю нелѣпость моего малодушія, теперь, какъ ужъ рѣшился идти на этотъ ненужный стыдъ! Просто, отъ низости и бездарности моей рѣшаюсь, да развѣ еще изъ выгоды, какъ предлагалъ этотъ... Порфирій!..

— Братъ, братъ, что ты это говоришь! Но вѣдь ты кровь пролилъ! — въ отчаяніи вскричала Дуня.

— Которую всѣ проливаютъ, — подхватилъ онъ чуть не въ иступленіи, — которая льется и всегда лилась на свѣтѣ, какъ водопадъ, которую льютъ какъ шампанское и за которую вѣнчаютъ въ Капитоліи и называютъ потомъ благодѣтелемъ человѣчества. Да ты взгляни только пристальнѣе и разгляди! Я самъ хотѣлъ добра людямъ и сдѣлалъ бы сотни, тысячи добрыхъ дѣлъ, вмѣсто одной этой глупости, даже не глупости, а просто неловкости, такъ какъ вся эта мысль была вовсе не такъ глупа, какъ теперь она кажется, при неудачѣ... (при неудачѣ все кажется глупо!) Этою глупостью я хотѣлъ поставить себя въ независимое положеніе, первый шагъ сдѣлать, достичь средствъ, и тамъ все бы загладилось неизмѣримою, сравнительно, пользой... Но я, я и перваго шага не выдержалъ, потому что я — подлецъ! Вотъ въ чемъ все и дѣло! И все-таки вашимъ взглядомъ не стану смотрѣть: если бы мнѣ удалось, то меня бы увѣнчали, а теперь въ капканъ!

— Но вѣдь это не то, совсѣмъ не то! Братъ, что̀ ты это говоришь!

— А! Не та форма, не такъ эстетически хоро-

шая форма! Ну, я рѣшительно не понимаю: почему лупить въ людей бомбами, правильною осадой, болѣе почтенная форма? Боязнь эстетики есть первый признакъ безсилія!.. Никогда, никогда яснѣе не сознавалъ я этого, какъ теперь, и болѣе чѣмъ когда-нибудь не понимаю моего преступленія! Никогда, никогда не былъ я сильнѣе и убѣжденнѣе, чѣмъ теперь!..

Краска даже ударила въ его блѣдное, изнуренное лицо. Но, проговаривая послѣднее восклицаніе, онъ нечаянно встрѣтился взглядомъ съ глазами Дуни и столько, столько муки за себя встрѣтилъ онъ въ этомъ взглядѣ, что невольно опомнился. Онъ почувствовалъ, что все-таки сдѣлалъ несчастными этихъ двухъ бѣдныхъ женщинъ. Все-таки онъ же причиной...

— Дуня, милая! Если я виновенъ, прости меня (хотя меня и нельзя простить, если я виновенъ). Прощай! Не будемъ спорить! Пора, очень пора. Не ходи за мной, умоляю тебя. Мнѣ еще надо зайти... А поди теперь и тотчасъ же сядь подлѣ матери. Умоляю тебя объ этомъ! Это послѣдняя, самая большая моя просьба къ тебѣ. Не отходи отъ нея все время; я оставилъ ее въ тревогѣ, которую она врядъ ли перенесетъ: она или умретъ, или сойдетъ съ ума. Будь же съ нею! Разумихинъ будетъ при васъ; я ему говорилъ... Не плачь обо мнѣ: я постараюсь быть и мужественнымъ, и честнымъ, всю жизнь, хоть я и убійца. Можетъ быть, ты услышишь когда-нибудь мое имя. Я не осрамлю васъ, увидишь; я еще докажу... теперь покамѣстъ до свиданья,—поспѣшилъ онъ заключить, опять замѣтивъ какое-то странное выраженіе въ глазахъ Дуни при послѣднихъ словахъ и обѣщаніяхъ его.—

Что же ты такъ плачешь? Не плачь, не плачь; вѣдь не совсѣмъ же разстаемся!.. Ахъ, да! Постой, забылъ!..

Онъ подошелъ къ столу, взялъ одну толстую, запыленную книгу, развернулъ ее и вынулъ заложенный между листами маленькій портретикъ, акварелью, на слоновой кости. Это былъ портретъ хозяйкиной дочери, его бывшей невѣсты, умершей въ горячкѣ, той самой странной дѣвушки, которая хотѣла идти въ монастырь. Съ минуту онъ всматривался въ это выразительное и болѣзненное личико, поцѣловалъ портретъ и передалъ Дунечкѣ.

— Вотъ съ нею я много переговорилъ и *объ этомъ*, съ нею одной, — произнесъ онъ вдумчиво; — ея сердцу я много сообщилъ изъ того, что потомъ такъ безобразно сбылось. Не безпокойся,— обратился онъ къ Дунѣ, — она не согласна была, какъ и ты, и я радъ, что ея ужъ нѣтъ. Главное, главное въ томъ, что все теперь пойдетъ по-новому, переломится на двое,—вскричалъ онъ вдругъ, опять возвращаясь къ тоскѣ своей, — все, все, а приготовленъ ли я къ тому? Хочу ли я этого самъ? Это, говорятъ, для меня испытаніе нужно! Къ чему, къ чему всѣ эти безсмысленныя испытанія? Къ чему они, лучше ли я буду сознавать тогда, раздавленный муками, идіотствомъ, въ старческомъ безсиліи послѣ двадцатилѣтней каторги, чѣмъ теперь сознаю, и къ чему мнѣ тогда и жить? Зачѣмъ я теперь-то соглашаюсь такъ жить? О, я зналъ, что я подлецъ, когда я сегодня, на разсвѣтѣ, стоялъ надъ Невой!

Оба, наконецъ, вышли. Трудно было Дунѣ, но она любила его! Она пошла, но, отойдя шаговъ пятьдесятъ, обернулась еще разъ взглянуть на него. Его еще было видно. Но, дойдя до угла, обернулся

и онъ; въ послѣдній разъ они встрѣтились взглядами; но, замѣтивъ, что она на него смотритъ, онъ нетерпѣливо и даже съ досадой махнулъ рукой, чтобъ она шла, а самъ круто повернулъ за уголъ.

«Я золъ, я это вижу», думалъ онъ про себя, устыдясь черезъ минуту своего досадливаго жеста рукой Дунѣ. «Но зачѣмъ же онѣ сами меня такъ любятъ, если я не стою того! О, если бъ я былъ одинъ и никто не любилъ меня, и самъ бы я никого никогда не любилъ! *Не было бы всего этого!* А любопытно, неужели въ эти будущія пятнадцать-двадцать лѣтъ такъ уже смирится душа моя, что я съ благоговѣніемъ буду хныкать предъ людьми, называя себя ко всякому слову разбойникомъ? Да, именно, именно! Для этого-то они и ссылаютъ меня теперь, этого-то имъ и надобно... Вотъ они снуютъ всѣ по улицѣ взадъ и впередъ, и вѣдь всякій-то изъ нихъ подлецъ и разбойникъ уже по натурѣ своей; хуже того,—идіотъ! А попробуй обойти меня ссылкой, и всѣ они взбѣсятся отъ благороднаго негодованія! О, какъ я ихъ всѣхъ ненавижу!»

Онъ глубоко задумался о томъ: «какимъ же это процессомъ можетъ такъ произойти, что онъ, наконецъ, предъ всѣми ими уже безъ разсужденій смирится, убѣжденіемъ смирится? А что жъ, почему жъ и нѣтъ? Конечно, такъ и должно быть. Развѣ двадцать лѣтъ безпрерывнаго гнета не добьютъ окончательно? Вода камень точитъ. И зачѣмъ, зачѣмъ же жить послѣ этого, зачѣмъ я иду теперь, когда самъ знаю, что все это будетъ именно такъ, какъ по книгѣ, а не иначе!»

Онъ уже въ сотый разъ, можетъ быть, задавалъ себѣ этотъ вопросъ со вчерашняго вечера, но все-таки шелъ.

VIII.

Когда онъ вошелъ къ Сонѣ, уже начинались сумерки. Весь день Соня прождала его въ ужасномъ волненіи. Онѣ ждали вмѣстѣ съ Дуней. Та пришла къ ней еще съ утра, вспомнивъ вчерашнія слова Свидригайлова, что Соня «объ этомъ знаетъ». Не станемъ передавать подробностей разговора и слезъ обѣихъ женщинъ, и насколько сошлись онѣ между собой. Дуня изъ этого свиданія, по крайней мѣрѣ, вынесла одно утѣшеніе, что братъ будетъ не одинъ: къ ней, Сонѣ, къ первой пришелъ онъ со своею исповѣдью, въ ней искалъ онъ человѣка, когда ему понадобился человѣкъ; она же и пойдетъ за нимъ, куда пошлетъ судьба. Она и не спрашивала, но знала, что это будетъ такъ. Она смотрѣла на Соню даже съ какимъ-то благоговѣніемъ и сначала почти смущала ее этимъ благоговѣйнымъ чувствомъ, съ которымъ къ ней относилась. Соня готова была даже чуть не заплакать: она, напротивъ, считала себя недостойною даже взглянуть на Дуню. Прекрасный образъ Дуни, когда та откланялась ей съ такимъ вниманіемъ и уваженіемъ во время ихъ перваго свиданія у Раскольникова, съ тѣхъ поръ навѣки остался въ душѣ ея, какъ одно изъ самыхъ прекрасныхъ и недосягаемыхъ видѣній въ ея жизни.

Дунечка, наконецъ, не вытерпѣла и оставила Соню, чтобы ждать брата въ его квартирѣ; ей все казалось, что онъ туда прежде придетъ. Оставшись одна, Соня тотчасъ же стала мучиться отъ страха при мысли, что, можетъ быть, дѣйствительно, онъ покончитъ самоубійствомъ. Того же боялась и Дуня. Но обѣ онѣ весь день наперерывъ разубѣ-

ждали другъ друга всѣми доводами въ томъ, что этого быть не можетъ, и были спокойнѣе, пока были вмѣстѣ. Теперь же, только что разошлись, и та, и другая стали объ одномъ этомъ только и думать. Соня припоминала, какъ вчера Свидригайловъ сказалъ ей, что у Раскольникова двѣ дороги — Владимірка или... Она знала къ тому же его тщеславіе, заносчивость, самолюбіе и невѣріе. Неужели же одно только малодушіе и боязнь смерти могутъ заставить его жить? подумала она, наконецъ, въ отчаяніи. Солнце между тѣмъ уже закатывалось. Она грустно стояла предъ окномъ и пристально смотрѣла въ него, — но въ окно это была видна только одна капитальная, небѣленая стѣна сосѣдняго дома. Наконецъ, когда ужъ она дошла до совершеннаго убѣжденія въ смерти несчастнаго, — онъ вошелъ въ ея комнату.

Радостный крикъ вырвался изъ ея груди. Но, взглянувъ пристально въ его лицо, она вдругъ поблѣднѣла.

— Ну, да! — сказалъ усмѣхаясь Раскольниковъ, — я за твоими крестами, Соня. Сама же ты меня на перекрестокъ посылала; что жъ теперь, какъ дошло до дѣла, и струсила?

Соня въ изумленіи смотрѣла на него. Страненъ показался ей этотъ тонъ; холодная дрожь прошла было по ея тѣлу, но черезъ минуту она догадалась, что и тонъ и слова эти, все было напускное. Онъ и говорилъ-то съ нею, глядя какъ-то въ уголъ и точно избѣгая заглянуть ей прямо въ лицо.

— Я, видишь, Соня, разсудилъ, что этакъ, пожалуй, будетъ и выгоднѣе. Тутъ есть обстоятельство... Ну, да долго разсказывать, да и нечего. Меня только, знаешь, что̀ злитъ? Мнѣ досадно, что

всѣ эти глупыя, звѣрскія хари обступятъ меня сейчасъ, будутъ пялить прямо на меня свои буркалы, задавать мнѣ свои глупые вопросы, на которые надобно отвѣчать, — будутъ указывать пальцами... Тьфу! Знаешь, я не къ Порфирію иду; надоѣлъ онъ мнѣ. Я лучше къ моему пріятелю Пороху пойду, то-то удивлю, то-то эффекта въ своемъ родѣ достигну. А надо бы быть хладнокровнѣе; слишкомъ ужъ я желченъ сталъ въ послѣднее время. Вѣришь ли: я сейчасъ погрозилъ сестрѣ чуть не кулакомъ за то только, что она обернулась въ послѣдній разъ взглянуть на меня. Свинство этакое состояніе! Эхъ, до чего я дошелъ! Ну, что же, гдѣ же кресты?

Онъ былъ какъ бы самъ не свой. Онъ даже и на мѣстѣ не могъ устоять одной минуты, ни на одномъ предметѣ не могъ сосредоточить вниманія; мысли его перескакивали одна черезъ другую, онъ заговаривался; руки его слегка дрожали.

Соня молча вынула изъ ящика два креста, кипарисный и мѣдный, перекрестилась сама, перекрестила его и надѣла ему на грудь кипарисный крестикъ.

— Это, значитъ, символъ того, что крестъ беру на себя, хе! хе! И точно я до сихъ поръ мало страдалъ! Кипарисный, то есть простонародный; мѣдный — это Лизаветинъ, себѣ берешь, — покажи-ка? такъ на ней онъ былъ... въ ту минуту? Я знаю тоже подобныхъ два креста, серебряный и образокъ. Я ихъ сбросилъ тогда старушенкѣ на грудь. Вотъ бы тѣ кстати теперь, право, тѣ бы мнѣ и надѣть... А впрочемъ, вру я все, о дѣлѣ забуду; разсѣянъ я какъ-то!.. Видишь, Соня, — я собственно затѣмъ пришелъ, чтобы тебя предувѣдо-

мить, чтобы ты знала... Ну, вотъ и все... Я только затѣмъ вѣдь и пришелъ. (Гм., я, впрочемъ, думалъ, что больше скажу.) Да вѣдь ты и сама хотѣла, чтобъ я пошелъ, ну, вотъ и буду сидѣть въ тюрьмѣ, и сбудется свое желаніе; ну чего жъ ты плачешь? И ты тоже? Перестань, полно; охъ, какъ мнѣ это все тяжело!

Чувство однакоже родилось въ немъ; сердце его сжалось на нее глядя: — «Эта-то, эта-то чего?» думалъ онъ про себя; — «я-то что̀ ей? Чего она плачетъ, чего собираетъ меня, какъ мать, или Дуня? Нянька будетъ моя!»

— Перекрестись, помолись хоть разъ, — дрожащимъ, робкимъ голосомъ попросила Соня.

— О, изволь, это сколько тебѣ угодно! И отъ чистаго сердца, Соня, отъ чистаго сердца...

Ему хотѣлось, впрочемъ, сказать что-то другое.

Онъ перекрестился нѣсколько разъ. Соня схватила свой платокъ и накинула его на голову. Это былъ зеленый драдедамовый платокъ, вѣроятно, тотъ самый, про который упоминалъ тогда Мармеладовъ, «фамильный». У Раскольникова мелькнула объ этомъ мысль, но онъ не спросилъ. Дѣйствительно, онъ уже самъ сталъ чувствовать, что ужасно разсѣянъ и какъ-то безобразно встревоженъ. Онъ испугался этого. Его вдругъ поразило и то, что Соня хочетъ уйти вмѣстѣ съ нимъ.

— Что̀ ты! Ты куда? Оставайся, оставайся! Я одинъ, — вскричалъ онъ въ малодушной досадѣ, и почти озлобившись, пошелъ къ дверямъ. — И къ чему тутъ цѣлая свита! — бормоталъ онъ, выходя.

Соня осталась среди комнаты. Онъ даже и не простился съ ней, онъ уже забылъ о ней; одно язви-

тельное и бунтующее сомнѣніе вскипѣло въ душѣ его:

«Да такъ ли, такъ ли все это? опять-таки подумалъ онъ, сходя съ лѣстницы: неужели нельзя еще остановиться и опять все переправить . . . и не ходить?»

Но онъ все-таки шелъ. Онъ вдругъ почувствовалъ окончательно, что нечего себѣ задавать вопросы. Выйдя на улицу, онъ вспомнилъ, что не простился съ Соней, что она осталась среди комнаты, въ своемъ зеленомъ платкѣ, не смѣя шевельнуться отъ его окрика, и пріостановился на мигъ. Въ то же мгновеніе вдругъ одна мысль ярко озарила его,— точно ждала, чтобы поразить его окончательно.

«Ну для чего, ну зачѣмъ я приходилъ къ ней теперь? Я ей сказалъ: за дѣломъ; за какимъ же дѣломъ? Никакого совсѣмъ и не было дѣла! Объявить, что *иду;* такъ что же? Экая надобность! Люблю что ли я ее? Вѣдь нѣтъ, нѣтъ? Вѣдь вотъ отогналъ ее теперь, какъ собаку. Крестовъ, что ли, мнѣ въ самомъ дѣлѣ отъ нея понадобилось? О, какъ низко упалъ я! Нѣтъ, — мнѣ слезъ ея надобно было, мнѣ испугъ ея видѣть надобно было, смотрѣть, какъ сердце ея болитъ и терзается! Надо было хоть обо что-нибудь зацѣпиться, помедлить, на человѣка посмотрѣть! И я смѣлъ такъ на себя надѣяться, такъ мечтать о себѣ, нищій я, ничтожный я, подлецъ, подлецъ!»

Онъ шелъ по набережной канавы, и недалеко ужъ оставалось ему. Но, дойдя до моста, онъ пріостановился и вдругъ повернулъ на мостъ, въ сторону, и пошелъ на Сѣнную.

Онъ жадно осматривался направо и налѣво, всматривался съ напряженіемъ въ каждый предметъ

и ни на чемъ не могъ сосредоточить вниманія; все выскользало. «Вотъ, черезъ недѣлю, черезъ мѣсяцъ, меня провезутъ куда-нибудь въ этихъ арестантскихъ каретахъ по этому мосту, какъ-то я тогда взгляну на эту канаву, — запомнить бы это?» мелькнуло у него въ головѣ. «Вотъ эта вывѣска, какъ-то я тогда прочту эти самыя буквы? Вотъ тутъ написано: *Товарищество,* ну, вотъ и запомнить это *а,* букву *а,* и посмотрѣть на нее черезъ мѣсяцъ, на это самое *а:* какъ-то я тогда посмотрю? Что-то я тогда буду ощущать и думать? . . Боже, какъ это все должно быть низко, всѣ эти мои теперешнія . . . заботы! Конечно, все это должно быть любопытно . . . въ своемъ родѣ . . . (ха-ха-ха! объ чемъ я думаю!) я ребенкомъ дѣлаюсь, я самъ передъ собою фанфарону; ну чего я стыжу себя? Фу, какъ толкаются! Вотъ этотъ толстый, — нѣмецъ, должно быть, — что толкнулъ меня: ну, знаетъ ли онъ кого толкнулъ? Баба съ ребенкомъ проситъ милостыню, любопытно, что она считаетъ меня счастливѣе себя! А что, вотъ бы и подать для курьезу. Ба, пятакъ уцѣлѣлъ въ карманѣ, откуда? На, на . . . возьми, матушка!»

— Сохрани тебя Богъ! — послышался плачевный голосъ нищей.

Онъ вошелъ на Сѣнную. Ему непріятно, очень непріятно было сталкиваться съ народомъ, но онъ шелъ именно туда, гдѣ виднѣлось больше народу. Онъ бы далъ все на свѣтѣ, чтобъ остаться одному; но онъ самъ чувствовалъ, что ни одной минуты не пробудетъ одинъ. Въ толпѣ безобразничалъ одинъ пьяный: ему все хотѣлось плясать, но онъ все валился на сторону. Его обступили. Раскольниковъ протиснулся сквозь толпу, нѣсколько минутъ смо-

трѣлъ на пьянаго и вдругъ коротко и отрывисто захохоталъ. Черезъ минуту онъ уже забылъ о немъ, даже не видалъ его, хоть и смотрѣлъ на него. Онъ отошелъ, наконецъ, даже не помня, гдѣ онъ находится; но когда дошелъ до средины площади, съ нимъ вдругъ произошло одно движеніе, одно ощущеніе овладѣло имъ сразу, захватило его всего — съ тѣломъ и мыслью.

Онъ вдругъ вспомнилъ слова Сони: «Поди на перекрестокъ, поклонись народу, поцѣлуй землю, потому что ты и предъ ней согрѣшилъ, и скажи всему міру вслухъ: «я убійца!» Онъ весь задрожалъ, припомнивъ это. И до того уже задавила его безвыходная тоска и тревога всего этого времени, но особенно послѣднихъ часовъ, что онъ такъ и ринулся въ возможность этого цѣльнаго, новаго, полнаго ощущенія. Какимъ-то припадкомъ оно къ нему вдругъ подступило: загорѣлось въ душѣ одною искрою и вдругъ, какъ огонь, охватило всего. Все разомъ въ немъ размягчилось, и хлынули слезы. Какъ стоялъ, такъ и упалъ онъ на землю . . .

Онъ сталъ на колѣни среди площади, поклонился до земли и поцѣловалъ эту грязную землю, съ наслажденіемъ и счастіемъ. Онъ всталъ и поклонился въ другой разъ.

— Ишь нахлестался! — замѣтилъ подлѣ него одинъ парень.

Раздался смѣхъ.

— Это онъ въ Іерусалимъ идетъ, братцы, съ дѣтьми, съ родиной прощается, всему міру кланяется, столичный городъ Санктпетербургъ и его грунтъ лобызаетъ, — прибавилъ какой-то пьяненькій изъ мѣщанъ.

— Парнишка еще молодой! — ввернулъ третій.

— Изъ благородныхъ! — замѣтилъ кто-то солиднымъ голосомъ.

— Нонѣ ихъ не разберешь, кто благородный, кто нѣтъ.

Всѣ эти отклики и разговоры сдержали Раскольникова и слова: «я убилъ», можетъ быть, готовившіяся слетѣть у него съ языка, замерли въ немъ. Онъ спокойно однакожъ вынесъ всѣ эти крики и, не озираясь, пошелъ прямо черезъ переулокъ по направленію къ конторѣ. Одно видѣніе мелькнуло предъ нимъ дорогой, но онъ не удивился ему; онъ уже предчувствовалъ, что такъ и должно было быть. Въ то время, когда онъ, на Сѣнной, поклонился до земли въ другой разъ, оборотившись влѣво, шагахъ въ пятидесяти отъ себя онъ увидѣлъ Соню. Она пряталась отъ него за однимъ изъ деревянныхъ бараковъ, стоявшихъ на площади, стало быть, она сопровождала все его скорбное шествіе! Раскольниковъ почувствовалъ и понялъ въ эту минуту, разъ навсегда, что Соня теперь съ нимъ навѣки и пойдетъ за нимъ хоть на край свѣта, куда бы ему ни вышла судьба. Все сердце его перевернулось... но, — вотъ ужъ онъ и дошелъ до рокового мѣста...

Онъ довольно бодро вошелъ во дворъ. Надо было подняться въ третій этажъ. «Покамѣстъ еще подымусь», подумалъ онъ. Вообще ему казалось, что до роковой минуты еще далеко, еще много времени остается, о многомъ еще можно передумать.

Опять тотъ же соръ, тѣ же скорлупы на винтообразной лѣстницѣ, опять двери квартиръ отворены настежь, опять тѣ же кухни, изъ которыхъ несетъ чадъ и вонь. Раскольниковъ съ тѣхъ поръ здѣсь не былъ. Ноги его нѣмѣли и подгибались, но шли.

Онъ остановился на мгновеніе, чтобы перевести духъ, чтобъ оправиться, чтобъ войти *человѣкомъ*. «А для чего? Зачѣмъ?» подумалъ онъ вдругъ, осмысливъ свое движеніе. «Если ужъ надо выпить эту чашу, то не все ли ужъ равно? Чѣмъ гаже, тѣмъ лучше». Въ воображеніи его мелькнула въ это мгновеніе фигура Ильи Петровича Пороха. Неужели въ самомъ дѣлѣ къ нему? А нельзя ли къ другому? Нельзя ли къ Никодиму Ѳомичу? Поворотить сейчасъ и пойти къ самому надзирателю на квартиру? По крайней мѣрѣ, обойдется домашнимъ образомъ... Нѣтъ, нѣтъ! Къ Пороху, къ Пороху! Пить, такъ пить все разомъ...»

Похолодѣвъ и чуть-чуть себя помня, отворилъ онъ дверь въ контору. На этотъ разъ въ ней было очень мало народу, стоялъ какой-то дворникъ и еще какой-то простолюдинъ. Сторожъ и не выглядывалъ изъ своей перегородки. Раскольниковъ прошелъ въ слѣдующую комнату. «Можетъ, еще можно будетъ и не говорить», мелькало въ немъ. Тутъ одна какая-то личность изъ писцовъ, въ приватномъ сюртукѣ, прилаживалась что-то писать у бюро. Въ углу усаживался еще одинъ писарь. Заметова не было. Никодима Ѳомича, конечно, тоже не было.

— Никого нѣтъ? — спросилъ было Раскольниковъ, обращаясь къ личности у бюро.

— А вамъ кого?

— А-а-а! Слыхомъ не слыхать, видомъ не видать, русскій духъ... какъ это тамъ въ сказкѣ... забылъ! М-мае п-пачтенье! — вскричалъ вдругъ знакомый голосъ.

Раскольниковъ задрожалъ. Предъ нимъ стоялъ Порохъ; онъ вдругъ вышелъ изъ третьей ком-

наты. «Это сама судьба», подумалъ Раскольниковъ, «почему онъ тутъ?»

— Къ намъ? По какому? — восклицалъ Илья Петровичъ. (Онъ былъ, повидимому, въ превосходнѣйшемъ и даже капельку въ возбужденномъ состояніи духа.) Если по дѣлу, то еще рано пожаловали. Я самъ по случаю . . . А впрочемъ, чѣмъ могу. Я признаюсь вамъ . . . какъ? Какъ? Извините . . .

— Раскольниковъ.

— Ну что: Раскольниковъ! И неужели вы могли предположить, что я забылъ! Вы ужъ, пожалуйста, меня не считайте за такого . . . Родіонъ Ро . . . Ро . . . Родіонычъ, такъ, кажется?

— Родіонъ Романычъ.

— Да, да, да! Родіонъ Романычъ, Родіонъ Романычъ! Этого-то я и добивался. Даже многократно справлялся. Я, признаюсь вамъ, съ тѣхъ поръ искренно горевалъ, что мы такъ тогда съ вами . . . мнѣ потомъ объяснили, я узналъ, что молодой литераторъ и даже ученый . . . и, такъ сказать, первые шаги . . . О, Господи! Да кто же изъ литераторовъ и ученыхъ первоначально не дѣлалъ оригинальныхъ шаговъ! Я и жена моя, — мы оба уважаемъ литературу, а жена такъ до страсти! . . Литературу и художественность! Былъ бы благороденъ, а прочее все можно пріобрѣсти талантами, знаніемъ, разсудкомъ, геніемъ! Шляпа, — ну что, напримѣръ, значитъ шляпа? Шляпа есть блинъ, я ее у Циммермана куплю; но что подъ шляпой сохраняется и шляпой прикрывается, того ужъ я не куплю-съ! . . Я, признаюсь, хотѣлъ даже къ вамъ идти объясниться, да думалъ, можетъ вы . . . Однакожъ и не спрошу: вамъ и въ самомъ дѣлѣ что-нибудь надо? Къ вамъ, говорятъ, родные пріѣхали?

— Да, мать и сестра.

— Имѣлъ даже честь и счастіе встрѣтить вашу сестру, — образованная и прелестная особа. Признаюсь, я пожалѣлъ, что мы тогда съ вами до того разгорячились. Казусъ! А что я васъ тогда, по поводу вашего обморока, нѣкоторымъ взглядомъ окинулъ, — то потомъ оно самымъ блистательнымъ образомъ объяснилось! Изувѣрство и фанатизмъ! Понимаю ваше негодованіе. Можетъ быть, по поводу прибывшаго семейства квартиру перемѣняете?

— Н-нѣтъ, я только такъ . . . Я зашелъ спросить . . . я думалъ, что найду здѣсь Заметова.

— Ахъ, да! Вѣдь вы подружились; слышалъ-съ. Ну, Заметова у насъ нѣтъ, — не застали. Да-съ, лишились мы Александра Григорьевича! Со вчерашняго дня въ наличности не имѣется; перешелъ... и, переходя, со всѣми даже перебранился . . . такъ даже невѣжливо . . . Вѣтренный мальчишка, больше ничего; даже надежды могъ подавать; да вотъ, подите съ ними, съ блистательнымъ-то юношествомъ нашимъ! Экзаменъ, что ли, какой-то хочетъ держать, да вѣдь у насъ только бы поговорить, да пофанфаронить, тѣмъ и экзаменъ кончится. Вѣдь это не то, что, напримѣръ, вы, али тамъ господинъ Разумихинъ, вашъ другъ! Ваша карьера ученая часть, и васъ уже не собьютъ неудачи! Вамъ всѣ эти красоты жизни, можно сказать — nihil est, аскетъ, монахъ, отшельникъ! . . для васъ книга, перо за ухомъ, ученыя изслѣдованія, — вотъ гдѣ паритъ вашъ духъ! Я самъ отчасти . . . записки Ливингстона изволили читать?

— Нѣтъ.

— А я читалъ. Нынче, впрочемъ, очень много

нигилистовъ распространилось; ну, да вѣдь оно и понятно; времена-то какія, я васъ спрошу? А впрочемъ, я съ вами . . . вѣдь вы, ужъ конечно, не нигилистъ! Отвѣчайте откровенно, откровенно!

— Н-нѣтъ . . .

— Нѣтъ, знаете, вы со мной откровенно, вы не стѣсняйтесь, какъ бы наединѣ самъ себѣ! Иное дѣло служба, иное дѣло . . . вы думали, я хотѣлъ сказать: *дружба,* нѣтъ-съ, не угадали! Не дружба, а чувство гражданина и человѣка, чувство гуманности и любви ко Всевышнему. Я могу быть и официальнымъ лицомъ, и при должности, но гражданина и человѣка я всегда ощутить въ себѣ обязанъ и дать отчетъ . . . Вы вотъ изволили заговорить про Заметова. Заметовъ, онъ соскандалитъ что-нибудь на французскій манеръ въ неприличномъ заведеніи, за стаканомъ шампанскаго или донского, — вотъ что̀ такое вашъ Заметовъ! А я, можетъ быть, такъ сказать, сгорѣлъ отъ преданности и высокихъ чувствъ, и сверхъ того имѣю значеніе, чинъ, занимаю мѣсто! Женатъ и имѣю дѣтей. Исполняю долгъ гражданина и человѣка, а онъ кто, позвольте спросить? Отношусь къ вамъ, какъ къ человѣку, облагороженному образованіемъ. Вотъ еще этихъ повивальныхъ бабокъ чрезмѣрно много распространяется.

Раскольниковъ поднялъ вопросительно брови. Слова Ильи Петровича, очевидно, недавно вышедшаго изъ-за стола, стучали и сыпались передъ нимъ большею частью какъ пустые звуки. Но часть ихъ онъ все-таки кое-какъ понималъ; онъ глядѣлъ вопросительно и не зналъ, чѣмъ это все кончится.

— Я говорю про этихъ стриженыхъ дѣвокъ,— продолжалъ словоохотливый Илья Петровичъ, — я

прозвалъ ихъ самъ отъ себя повивальными бабками и нахожу, что прозваніе совершенно удовлетворительно. Хе-хе! Лѣзутъ въ академію, учатся анатоміи; ну, скажите, я вотъ заболѣю, ну позову ли я дѣвицу лѣчить себя? Хе-хе!

Илья Петровичъ хохоталъ, вполнѣ довольный своими остротами.

— Оно, положимъ, жажда къ просвѣщенію неумѣренная; но вѣдь просвѣтился и довольно. Зачѣмъ же злоупотреблять? Зачѣмъ же оскорблять благородныя личности, какъ дѣлаетъ негодяй Заметовъ? Зачѣмъ онъ меня оскорбилъ, я васъ спрошу? Вотъ еще сколько этихъ самоубійствъ распространилось, — такъ это вы представить не можете. Все это проживаетъ послѣднія деньги и убиваетъ самого себя. Дѣвченки, мальчишки, старцы... Вотъ еще сегодня утромъ сообщено о какомъ-то недавно пріѣхавшемъ господинѣ. Нилъ Павлычъ, а Нилъ Павлычъ! какъ его, джентльмена-то, о которомъ сообщили давеча, застрѣлился-то на Петербургской?

— Свидригайловъ, — сипло и безучастно отвѣтилъ кто-то изъ другой комнаты.

Раскольниковъ вздрогнулъ.

— Свидригайловъ! Свидригайловъ застрѣлился! — вскричалъ онъ.

— Какъ! Вы знаете Свидригайлова?

— Да... знаю... Онъ недавно пріѣхалъ...

— Ну да, недавно пріѣхалъ, жены лишился, человѣкъ поведенія забубеннаго, и вдругъ застрѣлился, и такъ скандально, что представить нельзя... оставилъ въ своей записной книжкѣ нѣсколько словъ, что онъ умираетъ въ здравомъ разсудкѣ и проситъ никого не винить въ его смерти. Этотъ

деньги, говорятъ, имѣлъ. Вы какъ же изволите знать?

— Я... знакомъ... моя сестра жила у нихъ въ домѣ гувернанткой...

— Ба, ба, ба... Да вы намъ, стало быть, можете о немъ сообщить. А вы и не подозрѣвали?

— Я вчера его видѣлъ... онъ... пилъ вино... я ничего не зналъ.

Раскольниковъ чувствовалъ, что на него какъ бы что-то упало и его придавило.

— Вы опять какъ будто поблѣднѣли. У насъ здѣсь такой спертый воздухъ...

— Да, мнѣ пора-съ, — пробормоталъ Раскольниковъ, — извините, обезпокоилъ...

— О помилуйте, сколько угодно! Удовольствіе доставили, и я радъ заявить...

Илья Петровичъ даже руку протянулъ.

— Я хотѣлъ только... я къ Заметову...

— Понимаю, понимаю, и доставили удовольствіе.

— Я... очень радъ... до свиданія-съ... — улыбался Раскольниковъ.

Онъ вышелъ; онъ качался. Голова его кружилась. Онъ не чувствовалъ, стоитъ ли онъ на ногахъ. Онъ сталъ сходить съ лѣстницы, упираясь правою рукой объ стѣну. Ему показалось, что какой-то дворникъ, съ книжкой въ рукѣ, толкнулъ его, взбираясь навстрѣчу ему въ контору; что какая-то собаченка заливалась-лаяла гдѣ-то въ нижнемъ этажѣ, и что какая-то женщина бросила въ нее скалкой и закричала. Онъ сошелъ внизъ и вышелъ на дворъ. Тутъ на дворѣ, недалеко отъ выхода, стояла блѣдная, вся помертвѣвшая, Соня и дико, дико на него посмотрѣла. Онъ остановился передъ

нею. Что-то больное и измученное выразилось на на лицѣ ея, что-то отчаянное. Она всплеснула руками. Безобразная, потерянная улыбка выдавилась на его устахъ. Онъ постоялъ, усмѣхнулся и поворотилъ наверхъ, опять въ контору.

Илья Петровичъ усѣлся и рылся въ какихъ-то бумагахъ. Передъ нимъ стоялъ тотъ самый мужикъ, который только что толкнулъ Раскольникова, взбираясь по лѣстницѣ.

— А-а-а! Вы опять! Оставили что-нибудь? . . Но что̀ съ вами?

Раскольниковъ съ поблѣднѣвшими губами, съ неподвижнымъ взглядомъ, тихо приблизился къ нему, подошелъ къ самому столу, уперся въ него рукой, хотѣлъ что-то сказать, но не могъ; слышались лишь какіе-то безсвязные звуки.

— Съ вами дурно, стулъ! Вотъ, сядьте на стулъ, садитесь! Воды!

Раскольниковъ опустился на стулъ, но не спускалъ глазъ съ лица весьма непріятно удивленнаго Ильи Петровича. Оба съ минуту смотрѣли другъ на друга и ждали. Принесли воды.

— Это я . . . — началъ было Раскольниковъ.

— Выпейте воды.

Раскольниковъ отвелъ рукой воду и тихо, съ разстановками, но внятно проговорилъ:

— *Это я убилъ тогда старуху чиновницу и сестру ея Лизавету топоромъ, и ограбилъ.*

Илья Петровичъ раскрылъ ротъ. Со всѣхъ сторонъ сбѣжались.

Раскольниковъ повторилъ свое показаніе. . . .

. . . . . .

Эпилогъ.

I.

Сибирь. На берегу широкой, пустынной рѣки стоитъ городъ, одинъ изъ административныхъ центровъ Россіи; въ городѣ крѣпость, въ крѣпости острогъ. Въ острогѣ уже девять мѣсяцевъ заключенъ ссыльно-каторжный второго разряда, Родіонъ Раскольниковъ. Со дня преступленія его прошло почти полтора года.

Судопроизводство по дѣлу его прошло безъ большихъ затрудненій. Преступникъ твердо, точно и ясно поддерживалъ свое показаніе, не запутывая обстоятельствъ, не смягчая ихъ въ свою пользу, не искажая фактовъ, не забывая малѣйшей подробности. Онъ разсказалъ до послѣдней черты весь процессъ убійства, разъяснилъ тайну *заклада* (деревянной дощечки съ металлическою полоской), который оказался у убитой старухи въ рукахъ; разсказалъ подробно о томъ, какъ взялъ у убитой ключи, описалъ эти ключи, описалъ укладку и чѣмъ она была наполнена; даже исчислилъ нѣкоторые изъ отдѣльныхъ предметовъ, лежащихъ въ ней; разъяснилъ загадку объ убійствѣ Лизаветы; разсказалъ о томъ, какъ приходилъ и стучался Кохъ, а

за нимъ студентъ, передавъ все, что̀ они между собой говорили; какъ онъ, преступникъ, сбѣжалъ потомъ съ лѣстницы и слышалъ визгъ Миколки и Митьки; какъ онъ спрятался въ пустой квартирѣ, пришелъ домой, и въ заключеніе указалъ камень на дворѣ, на Вознесенскомъ проспектѣ, подъ воротами, подъ которымъ найдены были вещи и кошелекъ. Однимъ словомъ, дѣло вышло ясное. Слѣдователи и судья очень удивлялись между прочимъ тому, что онъ спряталъ кошелекъ и вещи подъ камень, не воспользовавшись ими, а пуще всего тому, что онъ не только не помнилъ въ подробности всѣхъ вещей собственно имъ похищенныхъ, но даже въ числѣ ихъ ошибся. То собственно обстоятельство, что онъ ни разу не открылъ кошелька и не зналъ даже сколько именно въ немъ лежитъ денегъ, показалось невѣроятнымъ (въ кошелькѣ оказалось триста семнадцать рублей серебромъ и три двугривенныхъ; отъ долгаго лежанья подъ камнемъ нѣкоторыя верхнія, самыя крупныя, бумажки чрезвычайно попортились). Долго добивались разузнать: почему именно подсудимый въ одномъ этомъ обстоятельствѣ лжетъ, тогда какъ во всемъ другомъ сознается добровольно и правдиво? Наконецъ, нѣкоторые (особенно изъ психологовъ) допустили даже возможность того, что, и дѣйствительно, онъ не заглядывалъ въ кошелекъ, а потому и не зналъ, что̀ въ немъ было, и не зная, такъ и снесъ подъ камень, но тутъ же изъ этого и заключали, что самое преступленіе не могло иначе и случиться, какъ при нѣкоторомъ временномъ умопомѣшательствѣ, такъ сказать, при болѣзненной мономаніи убійства и грабежа, безъ дальнѣйшихъ цѣлей и разсчетовъ на выгоду. Тутъ кстати подоспѣла

новѣйшая модная теорія временнаго умопомѣшательства, которую такъ часто стараются примѣнять въ наше время къ инымъ преступникамъ. Къ тому же давнишнее ипохондрическое состояніе Раскольникова было заявлено до точности многими свидѣтелями, докторомъ Зосимовымъ, прежними его товарищами, хозяйкой, прислугой. Все это сильно способствовало заключенію, что Раскольниковъ не совсѣмъ похожъ на обыкновеннаго убійцу, разбойника и грабителя, но что тутъ что-то другое. Къ величайшей досадѣ защищавшихъ это мнѣніе самъ преступникъ почти не пробовалъ защищать себя; на окончательные вопросы: что̀ именно могло склонить его къ смертоубійству и что̀ побудило его совершить грабежъ, онъ отвѣчалъ весьма ясно, съ самою грубою точностью, что причиной всему было его скверное положеніе, его нищета и безпомощность, желаніе упрочить первые шаги своей жизненной карьеры съ помощью, по крайней мѣрѣ, трехъ тысячъ рублей, которые онъ расчитывалъ найти у убитой. Рѣшился же онъ на убійство вслѣдствіе своего легкомысленнаго и малодушнаго характера, раздраженнаго, сверхъ того, лишеніями и неудачами. На вопросы же что̀ именно побудило его явиться съ повинною, прямо отвѣчалъ, что чистосердечное раскаяніе. Все это было почти уже грубо . . .

Приговоръ однакожъ оказался милостивѣе, чѣмъ можно было ожидать, судя по совершенному преступленію, и, можетъ быть, именно потому, что преступникъ не только не хотѣлъ оправдываться, но даже какъ бы изъявилъ желаніе самъ еще болѣе обвинить себя. Всѣ странныя и особенныя обстоятельства дѣла были приняты во вниманіе. Болѣз-

ненное и бѣдственное состояніе преступника до совершенія преступленія не подвергалось ни малѣйшему сомнѣнію. То, что онъ не воспользовался ограбленнымъ, зачтено частью за дѣйствіе пробудившагося раскаянія, частью за несовершенно здравое состояніе умственныхъ способностей во время совершенія преступленія. Обстоятельство нечаяннаго убійства Лизаветы даже послужило примѣромъ, подкрѣпляющимъ послѣднее предположеніе: человѣкъ совершаетъ два убійства и въ то же время забываетъ, что дверь стоитъ отпертая! Наконецъ, явка съ повинною, въ то самое время, когда дѣло необыкновенно запуталось вслѣдствіе ложнаго показанія на себя упавшаго духомъ изувѣра (Николая), и кромѣ того, когда на настоящаго преступника не только ясныхъ уликъ, но даже и подозрѣній почти не имѣлось (Порфирій Петровичъ вполнѣ сдержалъ слово), все это окончательно способствовало смягченію участи обвиненнаго.

Объявились, кромѣ того, совершенно неожиданно и другія обстоятельства, сильно благопріятствовавшія подсудимому. Бывшій студентъ Разумихинъ откопалъ откуда-то свѣдѣнія и представилъ доказательства, что преступникъ Раскольниковъ, въ бытность свою въ университетѣ, изъ послѣднихъ средствъ своихъ помогалъ одному своему бѣдному и чахоточному университетскому товарищу и почти содержалъ его въ продолженіе полугода. Когда же тотъ умеръ, ходилъ за оставшимся въ живыхъ старымъ и разслабленнымъ отцомъ умершаго товарища (который содержалъ и кормилъ своего отца своими трудами чуть не съ тринадцатилѣтняго возраста), помѣстилъ, наконецъ, этого ста-

рика въ больницу, и когда тотъ тоже умеръ, похоронилъ его. Всѣ эти свѣдѣнія имѣли нѣкоторое благопріятное вліяніе на рѣшеніе судьбы Раскольникова. Сама бывшая хозяйка его, мать умершей невѣсты Раскольникова, вдова Зарницына, засвидѣтельствовала тоже, что когда они еще жили въ другомъ домѣ, у Пяти-Угловъ, Раскольниковъ во время пожара, ночью, вытащилъ изъ одной квартиры, уже загорѣвшейся, двухъ маленькихъ дѣтей, и былъ при этомъ обожженъ. Этотъ фактъ былъ тщательно разслѣдованъ и довольно хорошо засвидѣтельствованъ многими свидѣтелями. Однимъ словомъ, кончилось тѣмъ, что преступникъ присужденъ былъ къ каторжной работѣ второго разряда, на срокъ всего только восьми лѣтъ, во уваженіе явки съ повинною и нѣкоторыхъ облегчающихъ вину обстоятельствъ.

Еще въ началѣ процесса мать Раскольникова сдѣлалась больна. Дуня и Разумихинъ нашли возможность увезти ее изъ Петербурга на все время суда. Разумихинъ выбралъ городъ на желѣзной дорогѣ и въ близкомъ разстояніи отъ Петербурга, чтобъ имѣть возможность регулярно слѣдить за всѣми обстоятельствами процесса и въ то же время какъ можно чаще видѣться съ Авдотьей Романовной. Болѣзнь Пульхеріи Александровны была какая-то странная, нервная, и сопровождалась чѣмъ-то въ родѣ помѣшательства, если не совершенно, то, по крайней мѣрѣ, отчасти. Дуня, воротившись съ послѣдняго свиданія съ братомъ, застала мать уже совсѣмъ больною, въ жару и въ бреду. Въ этотъ же вечеръ сговорилась она съ Разумихинымъ что именно отвѣчать матери на ея разспросы о братѣ, и даже выдумала вмѣстѣ съ нимъ, для матери,

цѣлую исторію объ отъѣздѣ Раскольникова куда-то далеко, на границу Россіи, по одному частному порученію, которое доставитъ ему, наконецъ, и деньги, и извѣстность. Но ихъ поразило, что ни объ чемъ объ этомъ сама Пульхерія Александровна ни тогда, ни потомъ не разспрашивала. Напротивъ, у ней у самой оказалась цѣлая исторія о внезапномъ отъѣздѣ сына; она со слезами разсказывала, какъ онъ приходилъ къ ней прощаться; давала при этомъ знать намеками, что только ей одной извѣстны многія весьма важныя и таинственныя обстоятельства, и что у Роди много весьма сильныхъ враговъ, такъ что ему надо даже скрываться. Что же касается до будущей карьеры его, то она тоже казалась ей несомнѣнною и блестящею, когда пройдутъ нѣкоторыя враждебныя обстоятельства; увѣряла Разумихина, что сынъ ея будетъ современемъ даже человѣкомъ государственнымъ, что̀ доказываетъ его статья и его блестящій литературный талантъ. Статью эту она читала безпрерывно, читала иногда даже вслухъ, чуть не спала вмѣстѣ съ нею, а все-таки гдѣ именно находится теперь Родя почти не разспрашивала, несмотря даже на то, что съ нею видимо избѣгали объ этомъ разговаривать, — что̀ уже одно могло возбудить ея мнительность. Стали, наконецъ, бояться этого страннаго молчанія Пульхеріи Александровны насчетъ нѣкоторыхъ пунктовъ. Она, напримѣръ, даже не жаловалась на то, что отъ него нѣтъ писемъ, тогда какъ прежде, живя въ своемъ городкѣ, только и жила одною надеждой и однимъ ожиданіемъ получить поскорѣе письмо отъ возлюбленнаго Роди. Послѣднее обстоятельство было ужъ слишкомъ необъяснимо и сильно безпокоило Дуню: ей приходила

мысль, что мать, пожалуй, предчувствуетъ что-нибудь ужасное въ судьбѣ сына и боится разспрашивать, чтобы не узнать чего-нибудь еще ужаснѣе. Во всякомъ случаѣ, Дуня ясно видѣла, что Пульхерія Александровна не въ здравомъ состояніи разсудка.

Раза два, впрочемъ, случилось, что она сама такъ навела разговоръ, что невозможно было, отвѣчая ей, не упомянуть о томъ, гдѣ именно находится теперь Родя; когда же отвѣты поневолѣ должны были выйти неудовлетворительными и подозрительными, она стала вдругъ чрезвычайно печальна, угрюма и молчалива, что̀ продолжалось весьма долгое время. Дуня увидѣла, наконецъ, что трудно лгать и выдумывать, и пришла къ окончательному заключенію, что лучше ужъ совершенно молчать объ извѣстныхъ пунктахъ; но все болѣе и болѣе становилось ясно до очевидности, что бѣдная мать подозрѣваетъ что-то ужасное. Дуня припомнила между прочими слова брата, что мать вслушивалась въ ея бредъ, въ ночь наканунѣ того послѣдняго рокового дня, послѣ сцены ея съ Свидригайловымъ: не разслышала ли она чего-нибудь тогда? Часто, иногда послѣ нѣсколькихъ дней и даже недѣль угрюмаго, мрачнаго молчанія и безмолвныхъ слезъ, больная какъ-то истерически оживлялась и начинала вдругъ говорить вслухъ, почти не умолкая, о своемъ сынѣ, о своихъ надеждахъ, о будущемъ . . . Фантазіи ея были иногда очень странны. Ее тѣшили, ей поддакивали (она сама, можетъ быть, видѣла ясно, что ей поддакиваютъ и только тѣшатъ ее), но она все-таки говорила . . .

Пять мѣсяцевъ спустя послѣ явки преступника съ повинною послѣдовалъ его приговоръ. Разумихинъ видѣлся съ нимъ въ тюрьмѣ, когда только это

было возможно. Соня тоже. Наконецъ, послѣдовала и разлука: Дуня поклялась брату, что эта разлука не навѣки; Разумихинъ тоже. Въ молодой и горячей головѣ Разумихина твердо укрѣпился проектъ положить въ будущіе три-четыре года, по возможности, хоть начало будущаго состоянія, скопить хоть нѣсколько денегъ и переѣхать въ Сибирь, гдѣ почва богата во всѣхъ отношеніяхъ, а работниковъ, людей и капиталовъ мало; тамъ поселиться въ томъ самомъ городѣ, гдѣ будетъ Родя, и . . . всѣмъ вмѣстѣ начать новую жизнь. Прощаясь, всѣ плакали. Раскольниковъ самые послѣдніе дни былъ очень задумчивъ, много разспрашивалъ о матери, постоянно о ней безпокоился. Даже ужъ очень о ней мучился, что̀ тревожило Дуню. Узнавъ подробности о болѣзненномъ настроеніи матери, онъ сталъ очень мраченъ. Съ Соней онъ былъ почему-то особенно неговорливъ во все время. Соня, съ помощью денегъ, оставленныхъ ей Свидригайловымъ, давно уже собралась и изготовилась послѣдовать за партіей арестантовъ, въ которой будетъ отправленъ и онъ. Объ этомъ никогда ни слова не было упомянуто между ею и Раскольниковымъ; но оба знали, что это такъ будетъ. Въ самое послѣднее прощанье онъ странно улыбался на пламенныя удостовѣренія сестры и Разумихина о счастливой ихъ будущности, когда онъ выйдетъ изъ каторги, и предрекъ, что болѣзненное состояніе матери кончится вскорѣ бѣдой. Онъ и Соня, наконецъ, отправились.

Два мѣсяца спустя Дунечка вышла замужъ за Разумихина. Свадьба была грустная и тихая. Изъ приглашенныхъ былъ, впрочемъ, Порфирій Петровичъ и Зосимовъ. Во все послѣднее время Разу-

михинъ имѣлъ видъ твердо рѣшившагося человѣка. Дуня вѣрила слѣпо, что онъ выполнитъ всѣ свои намѣренія, да и не могла не вѣрить; въ этомъ человѣкѣ виднѣлась желѣзная воля. Между прочимъ, онъ сталъ опять слушать университетскія лекціи, чтобы кончить курсъ. У нихъ обоихъ составлялись поминутно планы будущаго; оба твердо расчитывали чрезъ пять лѣтъ навѣрное переселиться въ Сибирь. До той же поры надѣялись тамъ на Соню...

Пульхерія Александровна съ радостью благословила дочь на бракъ съ Разумихинымъ; но послѣ этого брака стала какъ будто еще грустнѣе и озабоченнѣе. Чтобы доставить ей пріятную минуту, Разумихинъ сообщилъ ей между прочимъ фактъ о студентѣ и дряхломъ его отцѣ и томъ, что Родя былъ обожженъ и даже хворалъ, спасши отъ смерти, прошлаго года, двухъ малютокъ. Оба извѣстія довели и безъ того разстроенную разсудкомъ Пульхерію Александровну почти до восторженнаго состоянія. Она безпрерывно говорила объ этомъ, вступала въ разговоръ и на улицѣ (хотя Дуня постоянно сопровождала ее). Въ публичныхъ каретахъ, въ лавкахъ, поймавъ хоть какого-нибудь слушателя, наводила разговоръ на своего сына, на его статью, какъ онъ помогалъ студенту, былъ обожженъ на пожарѣ, и прочее. Дунечка даже не знала, какъ удержать ее. Ужъ кромѣ опасности такого восторженнаго, болѣзненнаго настроенія, одно уже то грозило бѣдой, что кто-нибудь могъ припомнить фамилію Раскольникова по бывшему судебному дѣлу и заговорить объ этомъ. Пульхерія Александровна узнала даже адресъ матери двухъ спасенныхъ отъ пожара малютокъ и хотѣла непремѣнно отправиться къ ней. Наконецъ, безпокойство ея

возросло до крайнихъ предѣловъ. Она иногда вдругъ начинала плакать, часто заболѣвала и въ жару бредила. Однажды, поутру, она объявила прямо, что по ея расчетамъ скоро долженъ прибыть Родя, что она помнитъ, какъ онъ, прощаясь съ нею, самъ упоминалъ, что именно черезъ девять мѣсяцевъ надо будетъ ожидать его. Стала все прибирать въ квартирѣ и готовиться къ встрѣчѣ, стала отдѣлывать назначавшуюся ему комнату (свою собственную), отчищать мебель, мыть и надѣвать новыя занавѣски, и прочее. Дуня встревожилась, но молчала и даже помогала ей устраивать комнату къ пріему брата. Послѣ тревожнаго дня, проведеннаго въ безпрерывныхъ фантазіяхъ, въ радостныхъ грезахъ и слезахъ, въ ночь она заболѣла и на утро была уже въ жару и бреду. Открылась горячка. Чрезъ двѣ недѣли она умерла. Въ бреду вырывались у ней слова, по которымъ можно было заключить, что она гораздо болѣе подозрѣвала въ ужасной судьбѣ сына, чѣмъ даже предполагали.

Раскольниковъ долго не зналъ о смерти матери, хотя корреспонденція съ Петербургомъ установилась еще съ самаго начала водворенія его въ Сибири. Устроилась она чрезъ Соню, которая аккуратно каждый мѣсяцъ писала въ Петербургъ на имя Разумихина и получала изъ Петербурга отвѣтъ. Письма Сони казались сперва Дунѣ и Разумихину какъ-то сухими и неудовлетворительными; но подъ конецъ оба они нашли, что и писать лучше невозможно, потому что изъ этихъ писемъ, въ результатѣ, получалось все-таки самое полное и точное представленіе о судьбѣ ихъ несчастнаго брата. Письма Сони были наполняемы самою обыденною дѣйствительностью, самымъ простымъ и яснымъ

описаніемъ всей обстановки каторжной жизни Раскольникова. Тутъ не было ни изложенія собственныхъ надеждъ ея, ни загадокъ о будущемъ, ни описаній собственныхъ чувствъ. Вмѣсто попытокъ разъясненія его душевнаго настроенія и вообще всей внутренней его жизни стояли одни факты, то есть собственныя слова его, подробныя извѣстія о состояніи его здоровья, чего онъ пожелалъ тогда-то при свиданіи, о чемъ попросилъ ее, что̀ поручалъ ей, и прочее. Всѣ эти извѣстія сообщались съ чрезвычайною подробностью. Образъ несчастнаго брата подъ конецъ выступилъ самъ собою, нарисовался точно и ясно; тутъ не могло быть и ошибокъ, потому что все были вѣрные факты.

Но мало отраднаго могли вывести Дуня и мужъ ея по этимъ извѣстіямъ, особенно вначалѣ. Соня безпрерывно сообщала, что онъ постоянно угрюмъ, несловоохотливъ и даже почти нисколько не интересуется извѣстіями, которыя она ему сообщаетъ каждый разъ изъ получаемыхъ ею писемъ; что онъ спрашиваетъ иногда о матери; и когда она, видя, что онъ уже предугадываетъ истину, сообщила ему, наконецъ, объ ея смерти, то, къ удивленію ея, даже и извѣстіе о смерти матери на него какъ бы не очень сильно подѣйствовало, по крайней мѣрѣ, такъ показалось ей съ наружнаго вида. Она сообщала между прочимъ, что несмотря на то, что онъ, повидимому, такъ углубленъ въ самого себя и ото всѣхъ какъ бы заперся, — къ новой жизни своей онъ отнесся очень прямо и просто; что онъ ясно понимаетъ свое положеніе, не ожидаетъ вблизи ничего лучшаго, не имѣетъ никакихъ легкомысленныхъ надеждъ (что̀ такъ свойственно въ его положеніи) и ничему почти не удивляется среди новой

окружающей его обстановки, такъ мало похожей на что-нибудь прежнее. Сообщила она, что здоровье его удовлетворительно. Онъ ходитъ на работы, отъ которыхъ не уклоняется и на которыя не напрашивается. Къ пищѣ почти равнодушенъ, но что эта пища, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, такъ дурна, что наконецъ онъ съ охотой принялъ отъ нея, Сони, нѣсколько денегъ, чтобы завести у себя ежедневный чай; насчетъ всего же остального просилъ ее не безпокоиться, увѣряя, что всѣ эти заботы о немъ только досаждаютъ ему. Далѣе Соня сообщала, что помѣщеніе его въ острогѣ общее со всѣми; внутренности ихъ казармъ она не видала, но заключаетъ, что тамъ тѣсно, безобразно и нездорово; что онъ спитъ на нарахъ, подстилая подъ себя войлокъ, и другого ничего не хочетъ себѣ устроить. Но что живетъ онъ такъ грубо и бѣдно вовсе не по какому-нибудь предвзятому плану или намѣренію, а такъ просто отъ невниманія и наружнаго равнодушія къ своей судьбѣ. Соня прямо писала, что онъ, особенно вначалѣ, не только не интересовался ея посѣщеніями, но даже почти досадовалъ на нее, былъ несловоохотливъ и даже грубъ съ нею, но что подъ конецъ эти свиданія обратились у него въ привычку и даже чуть не въ потребность, такъ что онъ очень даже тосковалъ, когда она нѣсколько дней была больна и не могла посѣщать его. Видится же она съ нимъ по праздникамъ у острожныхъ воротъ или въ кордегардіи, куда его вызываютъ къ ней на нѣсколько минутъ; по буднямъ же на работахъ, куда она заходитъ къ нему, или въ мастерскихъ, или на кирпичныхъ заводахъ, или въ сараяхъ на берегу Иртыша. Про себя Соня увѣдомляла, чо ей удалось

пріобрѣсть въ городѣ даже нѣкоторыя знакомства и покровительства; что она занимается шитьемъ, и такъ какъ въ городѣ почти нѣтъ модистки, то стала во многихъ домахъ даже необходимою; не упоминала только, что чрезъ нее и Раскольниковъ получилъ покровительство начальства, что ему облегчаемы были работы, и прочее. Наконецъ, пришло извѣстіе (Дуня даже примѣтила нѣкоторое особенное волненіе и тревогу въ ея послѣднихъ письмахъ), что онъ всѣхъ чуждается, что въ острогѣ каторжные его не полюбили; что онъ молчитъ по цѣлымъ днямъ и становится очень блѣденъ. Вдругъ, въ послѣднемъ письмѣ, Соня написала, что онъ заболѣлъ весьма серьезно и лежитъ въ госпиталѣ, въ арестантской палатѣ . . .

II.

Онъ былъ боленъ уже давно; но не ужасы каторжной жизни, не работы, не пища, не бритая голова, не лоскутное платье сломили его: о! что̀ ему было до всѣхъ этихъ мукъ и истязаній! Напротивъ, онъ даже радъ былъ работѣ: измучившись на работѣ физически, онъ, по крайней мѣрѣ, добывалъ себѣ нѣсколько часовъ спокойнаго сна. И что̀ значила для него пища, — эти пустыя щи съ тараканами? Студентомъ, во время прежней жизни, онъ часто и того не имѣлъ. Платье его было тепло и приспособлено къ его образу жизни. Кандаловъ онъ даже на себѣ не чувствовалъ. Стыдиться ли ему было своей бритой головы и половинчатой куртки? Но предъ кѣмъ? Предъ Соней? Соня боялась его, и предъ нею ли ему было стыдиться?

А что же? Онъ стыдился даже и предъ Соней,

которую мучилъ своимъ презрительнымъ и грубымъ обращеніемъ. Но не бритой головы и кандаловъ онъ стыдился: его гордость сильно была уязвлена; и онъ заболѣлъ отъ уязвленной гордости. О, какъ бы счастливъ онъ былъ, если бы могъ самъ обвинить себя! Онъ бы снесъ тогда все, даже стыдъ и позоръ. Но онъ строго судилъ себя, и ожесточенная совѣсть его не нашла никакой особенно ужасной вины въ его прошедшемъ, кромѣ развѣ простого *промаху*, который со всякимъ могъ случиться. Онъ стыдился именно того, что онъ, Раскольниковъ, погибъ такъ слѣпо, безнадежно, глухо и глупо, по какому-то приговору слѣпой судьбы, и долженъ смириться и покориться предъ «безсмыслицей» какого-то приговора, если хочетъ сколько-нибудь успокоить себя.

Тревога безпредметная и безцѣльная въ настоящемъ, а въ будущемъ одна безпрерывная жертва, которою ничего не пріобрѣталось — вотъ что̀ предстояло ему на свѣтѣ. И что̀ въ томъ, что чрезъ восемь лѣтъ ему будетъ только тридцать два года и можно снова начать еще жить! Зачѣмъ ему жить? Что̀ имѣть въ виду? Къ чему стремиться? Жить, чтобы существовать? Но онъ тысячу разъ и прежде готовъ былъ отдать свое существованіе за идею, за надежду, даже за фантазію. Одного существованія всегда было мало ему; онъ всегда хотѣлъ бо̀льшаго. Можетъ быть, по одной только силѣ своихъ желаній, онъ и счелъ себя тогда человѣкомъ, которому болѣе разрѣшено, чѣмъ другому.

И хотя бы судьба послала ему раскаяніе, — жгучее раскаяніе, разбивающее сердце, отгоняющее сонъ, такое раскаяніе, отъ ужасныхъ мукъ котораго мерещится петля и омутъ! О, онъ бы обрадо-

вался ему! Муки и слезы — вѣдь это тоже жизнь. Но онъ не раскаивался въ своемъ преступленіи.

По крайней мѣрѣ, онъ могъ бы злиться на свою глупость, какъ и злился онъ прежде на безобразныя и глупѣйшія дѣйствія свои, которыя довели его до острога. Но теперь, уже въ острогѣ, *на свободѣ*, онъ вновь обсудилъ и обдумалъ всѣ прежніе свои поступки и совсѣмъ не нашелъ ихъ такими глупыми и безобразными, какъ казались они ему въ то роковое время, прежде.

«Чѣмъ, чѣмъ», думалъ онъ, «моя мысль была глупѣе другихъ мыслей и теорій, роящихся и сталкивающихся одна съ другой на свѣтѣ, съ тѣхъ поръ какъ этотъ свѣтъ стоитъ? Стòитъ только посмотрѣть на дѣло совершенно независимымъ, широкимъ и избавленнымъ отъ обыденныхъ вліяній взглядомъ, и тогда, конечно, моя мысль окажется вовсе не такъ... странною. О, отрицатели и мудрецы въ пятачекъ серебра, зачѣмъ вы останавливаетесь на полдорогѣ!»

«Ну, чѣмъ мой поступокъ кажется имъ такъ безобразенъ?» — говорилъ онъ себѣ. — «Тѣмъ, что онъ — злодѣяніе? Что̀ значитъ слово злодѣяніе? Совѣсть моя спокойна. Конечно, сдѣлано уголовное преступленіе; конечно, нарушена буква закона и пролита кровь, ну, и возьмите за букву закона мою голову... и довольно! Конечно, въ такомъ случаѣ, даже многіе благодѣтели человѣчества, не наслѣдовавшіе власти, а сами ее захватившіе, должны бы были быть казнены при самыхъ первыхъ своихъ шагахъ. Но тѣ люди вынесли свои шаги, и потому *они правы*, а я не вынесъ, и, стало быть, я не имѣлъ права разрѣшить себѣ этотъ шагъ».

Вотъ въ чемъ одномъ признавалъ онъ свое пре-

ступленіе: только въ томъ, что не вынесъ его и сдѣлалъ явку съ повинною.

Онъ страдалъ тоже отъ мысли: зачѣмъ онъ тогда себя не убилъ? Зачѣмъ онъ стоялъ тогда надъ рѣкою и предпочелъ явку съ повинною? Неужели такая сила въ томъ желаніи жить и такъ трудно одолѣть его? Одолѣлъ же Свидригайловъ, боявшійся смерти?

Онъ съ мученіемъ задавалъ себѣ этотъ вопросъ и не могъ понять, что ужъ и тогда, когда стоялъ надъ рѣкой, можетъ быть, предчувствовалъ въ себѣ и въ убѣжденіяхъ своихъ глубокую ложь. Онъ не понималъ, что это предчувствіе могло быть предвѣстникомъ будущаго перелома въ жизни его, будущаго воскресенія его, будущаго новаго взгляда на жизнь.

Онъ скорѣе допускалъ тутъ одну только тупую тягость инстинкта, которую не ему было порвать и черезъ которую онъ опять-таки былъ не въ силахъ перешагнуть (за слабостью и ничтожностью). Онъ смотрѣлъ на каторжныхъ товарищей своихъ и удивлялся: какъ тоже всѣ они любили жизнь, какъ они дорожили ею. Именно, ему показалось, что въ острогѣ ее еще болѣе любятъ и цѣнятъ, и болѣе дорожатъ ею, чѣмъ на свободѣ. Какихъ страшныхъ мукъ и истязаній не перенесли иные изъ нихъ, напримѣръ, бродяги! Неужели ужъ столько можетъ для нихъ значить одинъ какой-нибудь лучъ солнца, дремучій лѣсъ, гдѣ-нибудь въ невѣдомой глуши холодный ключъ, отмѣченный еще съ третьяго года, и о свиданіи съ которымъ бродяга мечтаетъ какъ о свиданіи съ любовницей, видитъ его во снѣ, зеленую травку кругомъ его, поющую птичку въ кустѣ? Всматриваясь дальше, онъ видѣлъ примѣры еще болѣе необъяснимые.

Въ острогѣ, въ окружающей его средѣ, онъ, конечно, многаго не замѣчалъ, да и не хотѣлъ совсѣмъ замѣчать. Онъ жилъ какъ-то опустивъ глаза; ему омерзительно и невыносимо было смотрѣть. Но подъ конецъ многое стало удивлять его, и онъ, какъ-то поневолѣ, сталъ замѣчать то, чего прежде и не подозрѣвалъ. Вообще же и наиболѣе стала удивлять его та страшная, та непроходимая пропасть, которая лежала между нимъ и всѣмъ этимъ людомъ. Казалось, онъ и они были разныхъ націй. Онъ и они смотрѣли другъ на друга недовѣрчиво и непріязненно. Онъ зналъ и понималъ общія причины такого разъединенія; но никогда не допускалъ онъ прежде, чтобъ эти причины были на самомъ дѣлѣ такъ глубоки и сильны. Въ острогѣ были тоже ссыльные поляки, политическіе преступники. Тѣ просто считали весь этотъ людъ за невѣждъ и хлоповъ и презирали ихъ свысока; но Раскольниковъ не могъ такъ смотрѣть: онъ ясно видѣлъ, что эти невѣжды во многомъ гораздо умнѣе этихъ самыхъ поляковъ. Были тутъ и русскіе, тоже слишкомъ презиравшіе этотъ народъ, — одинъ бывшій офицеръ и два семинариста; Раскольниковъ ясно замѣчалъ и ихъ ошибку.

Его же самого не любили и избѣгали всѣ. Его даже стали подъ конецъ ненавидѣть, — почему? Онъ не зналъ того. Презирали его, смѣялись надъ нимъ, смѣялись надъ его преступленіемъ тѣ, которые были гораздо его преступнѣе.

— Ты баринъ! — говорили ему. — Тебѣ ли было съ топоромъ ходить; не барское вовсе дѣло.

На второй недѣлѣ великаго поста пришла ему очередь говѣть вмѣстѣ съ своей казармой. Онъ ходилъ въ церковь и молился вмѣстѣ съ другими.

Изъ-за чего, онъ и самъ не зналъ того, — произошла ссора; всѣ разомъ напали на него съ остервенѣніемъ:

— Ты безбожникъ! Ты въ Бога не вѣруешь! — кричали ему. — Убить тебя надо.

Онъ никогда не говорилъ съ ними о Богѣ и о вѣрѣ, но они хотѣли убить его, какъ безбожника; онъ молчалъ и не возражалъ имъ. Одинъ каторжный бросился было на него въ рѣшительномъ изступленіи; Раскольниковъ ожидалъ его спокойно и молча: бровь его не шевельнулась, ни одна черта его лица не дрогнула. Конвойный успѣлъ вò-время стать между нимъ и убійцей, — не то пролилась бы кровь.

Неразрѣшимъ былъ для него еще одинъ вопросъ: почему всѣ они такъ полюбили Соню? Она у нихъ не заискивала; встрѣчали они ее рѣдко, иногда только на работахъ, когда она приходила на одну минутку, чтобы повидать его. А между тѣмъ всѣ уже знали ее, знали и то, что она *за нимъ* послѣдовала, знали какъ она живетъ, гдѣ живетъ. Денегъ она имъ не давала, особенныхъ услугъ не оказывала. Разъ только, на Рождествѣ, принесла она на весь острогъ подаяніе: пироговъ и калачей. Но мало-по-малу между ними и Соней завязались нѣкоторыя болѣе близкія отношенія: она писала имъ письма къ ихъ роднымъ и отправляла ихъ на почту. Ихъ родственники и родственницы, пріѣзжавшіе въ городъ, оставляли, по указанію ихъ, въ рукахъ Сони вещи для нихъ и даже деньги. Жены ихъ и любовницы знали ее и ходили къ ней. И когда она являлась на работахъ, приходя къ Раскольникову, или встрѣчалась съ партіей арестантовъ, идущихъ на работы, — всѣ снимали шапки, всѣ кланялись:

«Матушка, Софья Семеновна, мать ты наша, нѣжная, болѣзная!» говорили эти грубые клейменые каторжные этому маленькому и худенькому созданію. Она улыбалась. И всѣ они любили даже ея походку, оборачивались посмотрѣть ей вслѣдъ, какъ она идетъ, и хвалили ее; хвалили ее даже за то, что она такая маленькая, даже ужъ не знали за что̀ похвалить. Къ ней даже ходили лѣчиться.

Онъ пролежалъ въ больницѣ весь конецъ поста и Святую. Уже выздоравливая, онъ припомнилъ свои сны, когда еще лежалъ въ жару и въ бреду. Ему грезилось въ болѣзни, будто весь міръ осужденъ въ жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язвѣ, идущей изъ глубины Азіи на Европу. Всѣ должны были погибнуть, кромѣ нѣкоторыхъ, весьма немногихъ избранныхъ. Появились какія-то новыя трихины, существа микроскопическія, вселявшіяся въ тѣла людей. Но эти существа были духи, одаренные умомъ и волей. Люди, принявшіе ихъ въ себя, становились тотчасъ же бѣсноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя такъ умными и непоколебимыми въ истинѣ, какъ считали эти зараженные. Никогда не считали непоколебимѣе своихъ приговоровъ, своихъ научныхъ выводовъ, своихъ нравственныхъ убѣжденій и вѣрованій. Цѣлыя селенія, цѣлые города и народы заражались и сумасшедствовали. Всѣ были въ тревогѣ и не понимали другъ друга, всякій думалъ, что въ немъ одномъ заключается истина, и мучился, глядя на другихъ, билъ себя въ грудь, плакалъ и ломалъ себѣ руки. Не знали кого и какъ судить, не могли согласился, что̀ считать зломъ, что̀ добромъ. Не знали кого обвинять, кого оправдывать. Люди уби-

вали другъ друга въ какой-то безсмысленной злобѣ. Собирались другъ на друга цѣлыми арміями, но арміи, уже въ походѣ, вдругъ начинали сами терзать себя, ряды разстраивались, воины бросались другъ на друга, кололись и рѣзались, кусали и ѣли другъ друга. Въ городахъ цѣлый день били въ набатъ: созывали всѣхъ, но кто и для чего зоветъ, никто не зналъ того, а всѣ были въ тревогѣ. Оставили самыя обыкновенныя ремесла, потому что всякій предлагалъ свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледѣліе. Кое-гдѣ люди сбѣгались въ кучи, соглашались вмѣстѣ на что-нибудь, клялись не разставаться, — но тотчасъ же начинали что-нибудь совершенно другое, чѣмъ сейчасъ же сами предполагали, начинали обвинять другъ друга, дрались и рѣзались. Начались пожары, начался голодъ. Всѣ и все погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всемъ мірѣ могли только нѣсколько человѣкъ, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый родъ людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигдѣ не видалъ этихъ людей, никто не слыхалъ ихъ слова и голоса.

Раскольникова мучило то, что этотъ безсмысленный бредъ такъ грустно и такъ мучительно отзывается въ его воспоминаніяхъ, что такъ долго не проходитъ впечатлѣніе этихъ горячечныхъ грезъ. Шла уже вторая недѣля послѣ Святой; стояли теплые, ясные, весенніе дни; въ арестантской палатѣ отворили окна (рѣшетчатыя, подъ которыми ходилъ часовой). Соня, во все время болѣзни его, могла только два раза его навѣстить въ палатѣ; каждый разъ надо было испрашивать разрѣшенія, а это было трудно. Но она часто приходила на го-

спитальный дворъ, подъ окна, особенно подъ вечеръ, а иногда такъ только, чтобы постоять на дворѣ минутку и хоть издали посмотрѣть на окна палаты. Однажды, подъ вечеръ, уже совсѣмъ почти выздоровѣвшій Раскольниковъ заснулъ; проснувшись, онъ нечаянно подошелъ къ окну и вдругъ увидѣлъ вдали, у госпитальныхъ воротъ, Соню. Она стояла и какъ бы чего-то ждала. Что-то какъ бы пронзило въ ту минуту его сердце; онъ вздрогнулъ и поскорѣе отошелъ отъ окна. Въ слѣдующій день Соня не приходила, на третій день тоже; онъ замѣтилъ, что ждетъ ее съ безпокойствомъ. Наконецъ, его выписали. Придя въ острогъ, онъ узналъ отъ арестантовъ, что Софья Семеновна заболѣла, лежитъ дома и никуда не выходитъ.

Онъ былъ очень безпокоенъ, посылалъ о ней справляться. Скоро узналъ онъ, что болѣзнь ея неопасна. Узнавъ въ свою очередь, что онъ объ ней такъ тоскуетъ и заботится, Соня прислала ему записку, написанную карандашемъ, и увѣдомляла его, что ей гораздо легче, что у ней пустая легкая простуда, и что она скоро, очень скоро, придетъ повидаться съ нимъ на работу. Когда онъ читалъ эту записку, сердце его сильно и больно билось.

День опять былъ ясный и теплый. Раннимъ утромъ, часовъ въ шесть, онъ отправился на работу, на берегъ рѣки, гдѣ въ сараѣ устроена была обжигательная печь для алебастра, и гдѣ толкли его. Отправилось туда всего три работника. Одинъ изъ арестантовъ взялъ конвойнаго и пошелъ съ нимъ въ крѣпость за какимъ-то инструментомъ; другой сталъ изготовлять дрова и накладывать въ печь. Раскольниковъ вышелъ изъ сарая на самый берегъ, сѣлъ на складенныя у сарая бревна и сталъ

глядѣть на широкую и пустынную рѣку. Съ высокаго берега открывалась широкая окрестность. Съ дальняго другого берега чуть слышно доносилась пѣсня. Тамъ, въ облитой солнцемъ необозримой степи, чуть примѣтными точками, чернѣлись кочевыя юрты. Тамъ была свобода, и жили другіе люди, совсѣмъ не похожіе на здѣшнихъ, тамъ какъ бы самое время остановилось, точно не прошли еще вѣка Авраама и стадъ его. Раскольниковъ сидѣлъ, смотрѣлъ неподвижно, не отрываясь; мысль его переходила въ грезы, въ созерцаніе; онъ ни о чемъ не думалъ, но какая-то тоска волновала его и мучила.

Вдругъ подлѣ него очутилась Соня. Она подошла едва слышно и сѣла съ нимъ рядомъ. Было еще очень рано; утренній холодокъ еще не смягчился. На ней былъ ея бѣдный, старый бурнусъ и зеленый платокъ. Лицо ея еще носило признаки болѣзни, похудѣло, поблѣднѣло, осунулось. Она привѣтливо и радостно улыбнулась ему, но, по обыкновенію, робко протянула ему свою руку.

Она всегда протягивала ему свою руку робко, иногда даже не подавала совсѣмъ, какъ бы боялась, что онъ оттолкнетъ ее. Онъ всегда какъ бы съ отвращеніемъ бралъ ея руку, всегда точно съ досадой встрѣчалъ ее, иногда упорно молчалъ во все время ея посѣщенія. Случалось, что она трепетала его и уходила въ глубокой скорби. Но теперь ихъ руки не разнимались; онъ мелькомъ и быстро взглянулъ на нее, ничего не выговорилъ и опустилъ свои глаза въ землю. Они были одни, ихъ никто не видѣлъ. Конвойный на ту пору отворотился.

Какъ это случилось, онъ и самъ не зналъ, но вдругъ что-то какъ бы подхватило его и какъ бы

бросило къ ея ногамъ. Онъ плакалъ и обнималъ ея колѣни. Въ первое мгновеніе она ужасно испугалась, и все лицо ея помертвѣло. Она вскочила съ мѣста и, задрожавъ, смотрѣла на него. Но тотчасъ же, въ тотъ же мигъ она все поняла. Въ глазахъ ея засвѣтилось безконечное счастье; она поняла, и для нея уже не было сомнѣнія, что онъ любитъ, безконечно любитъ ее, и что настала же, наконецъ, эта минута . . .

Они хотѣли было говорить, но не могли. Слезы стояли въ ихъ глазахъ. Они оба были блѣдны и худы; но въ этихъ больныхъ и блѣдныхъ лицахъ уже сіяла заря обновленнаго будущаго, полнаго воскресенія въ новую жизнь. Ихъ воскресила любовь, сердце одного заключало безконечные источники жизни для сердца другого.

Они положили ждать и терпѣть. Имъ оставалось еще семь лѣтъ; а до тѣхъ поръ столько нестерпимой муки и столько безконечнаго счастія! Но онъ воскресъ, и онъ зналъ это, чувствовалъ вполнѣ всѣмъ обновившимся существомъ своимъ, а она — она вѣдь и жила только одною его жизнью!

Вечеромъ того же дня, когда уже заперли казармы, Раскольниковъ лежалъ на нарахъ и думалъ о ней. Въ этотъ день ему даже показалось, что какъ будто всѣ каторжные, бывшіе враги его, уже глядѣли на него иначе. Онъ даже самъ заговаривалъ съ ними, и ему отвѣчали ласково. Онъ припомнилъ теперь это, но вѣдь такъ и должно было быть: развѣ не должно теперь все измѣниться?

Онъ думалъ объ ней. Онъ вспомнилъ, какъ онъ постоянно ее мучилъ и терзалъ ея сердце; вспомнилъ ея блѣдное, худенькое личико, но его почти и не мучили теперь эти воспоминанія: онъ зналъ

какою безконечною любовью искупитъ онъ теперь всѣ ея страданія.

Да и что̀ такое эти всѣ, *всѣ* муки прошлаго! Все, даже преступленіе его, даже приговоръ и ссылка, казались ему теперь, въ первомъ порывѣ, какимъ-то внѣшнимъ, страннымъ, какъ бы даже и не съ нимъ случившимся фактомъ. Онъ, впрочемъ, не могъ въ этотъ вечеръ долго и постоянно о чемъ-нибудь думать, сосредоточиться на чемъ-нибудь мыслью; да онъ ничего бы и не разрѣшилъ теперь сознательно; онъ только чувствовалъ. Вмѣсто діалектики наступила жизнь, и въ сознаніи должно было выработаться что-то совершенно другое.

Подъ подушкой его лежало Евангеліе. Онъ взялъ его машинально. Эта книга принадлежала ей, была та самая, изъ которой она читала ему о воскресеніи Лазаря. Въ началѣ каторги онъ думалъ, что она замучитъ его религіей, будетъ заговаривать объ Евангеліи и навязывать ему книги. Но къ величайшему его удивленію она ни разу не заговаривала объ этомъ, ни разу даже не предложила ему Евангелія. Онъ самъ попросилъ его у ней незадолго до своей болѣзни, и она молча принесла ему книгу. До сихъ поръ онъ ея и не раскрывалъ.

Онъ не раскрывалъ ея и теперь, но одна мысль промелькнула въ немъ: «развѣ могутъ ея убѣжденія не быть теперь и моими убѣжденіями? Ея чувства, ея стремленія, по крайней мѣрѣ» . . .

Она тоже весь этотъ день была въ волненіи, а въ ночь даже опять захворала. Но она была до того счастлива, что почти испугалась своего счастія. Семь лѣтъ, *только* семь лѣтъ! Въ началѣ своего счастія, въ иныя мгновенія, они оба готовы были смотрѣть на эти семь лѣтъ, какъ на семь дней.

Онъ даже и не зналъ того, что новая жизнь не даромъ же ему достается, что ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великимъ будущимъ подвигомъ...

Но тутъ ужъ начинается новая исторія, исторія постепеннаго обновленія человѣка, исторія постепеннаго перерожденія его, постепеннаго перехода изъ одного міра въ другой, знакомства съ новою, доселѣ совершенно невѣдомою дѣйствительностью. Это могло бы составить тему новаго разсказа, — но теперешній разсказъ нашъ оконченъ.

Конецъ.

PG
3325
A1
1911
t.9

Dostoevskiĭ, Fedor Mikhaĭlovich
Polnoe sobranie sochineniĭ

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY